

Жизнь. Кино



Предисловие

Никаких записок и воспоминаний я писать не собирался. Рейхстага я не штурмовал и никаких судьбоносных перестроек не сотворял. Просто у меня получилась довольно-таки длинная жизнь, но это не моя заслуга.

Однажды домашние попросили меня привести архив в порядок. Разрозненную груду писем, фотографий и всякой бумажной рухляди они величают «архивом». Несколько дней я трудолюбиво перебирал этот архив, но все оставил «на потом». Через год груда бумаг увеличилась, а напор домашних усилился. Тогда я соврал, что буду писать книгу и архив мне нужен в неприкосновенности. И вот, теперь я вынужден писать нечто в чисто воспитательных целях – ведь я всегда говорил внукам, что врать – нехорошо.

Роясь в архиве, я наткнулся на жестяную коробку. На коробке ужасным почерком внука Тёмы было написано: «Дедские значки». Оказывается, внук имел в виду мои личные значки, то есть «дедовские». Здесь лежали значки с кудрявым Лениным (я был, оказывается, октябренок). Более того, я был «ворошиловским стрелком», я был «готов к труду и обороне», я собрал горы металлолома и за это тоже был награжден особым значком. Коробка со значками была тяжелая. Выходит, я славно поработал в жизни. Теперь осталось только выстроить будущую книгу в каком-нибудь порядке. И тут меня одолели неуправляемые ассоциации. «Неуправляемые ассоциации» – это когда пытаешься вспомнить одно, а вспоминается совсем другое.

Среди самых почетных значков, подтверждающих, что я «заслуженный» и даже «народный», бережно хранится медаль нашего семейного пуделя Дарика. У детей и внуков, видимо, своя шкала ценностей. Полное имя Дарика было Эльдар. Его называли так потому, что в пуделином семействе, к которому он принадлежал, имена всех ближайших родственников должны были начинаться с буквы «э». Кроме того, мои дети называли щенка Эльдаром, потому что любили фильмы Эльдара Рязанова. Они думали, что Рязанову будет приятно узнать о таком отличии.

Эльдари-режиссеру я не спешил сообщать об Эльдаре-пуделе. Мы встречались довольно часто. Вместе с Эльдаром-режиссером мы обнаружили в этих встречах даже определенную закономерность. Как только я приезжал в Москву на «Кинопанораму», обязательно помирал какой-нибудь вождь. Кажется, именно в день смерти Брежнева я привез комедию с двусмысленным названием «Здравствуй и прощай». В следующий мой приезд умер Черненко. Каждый раз Москва меня встречала приспущенными знаменами и траурными мелодиями.

– Может, мне вообще не приезжать? – спросил я у Рязанова.

– Что ты! Что ты! – ответил Эльдар. – Приезжай к нам почаще!

Вот такие были времена!

В кино человека, приносящего на съемках всякие неприятности, называют «бодяга». Если несколько дней подряд идет дождь или напивается артист, обвиняют не погоду и не артиста, а «бодягу». Правильно ли было и в этих случаях тоже считать меня «бодягой»? Я надолго задумался над этим вопросом. Потом меня одолели иные неуправляемые ассоциации. В груде бумаг я обнаружил пожелтевшую брошюрку на языке хинди. Я не знал языка хинди, но вспомнил, кто эту брошюрку мне подарил.

Дело было на острове Маврикий. Помню, я долго летел туда через Дакар, Тананариву, что на Мадагаскаре, и прилетел, наконец, на Маврикий. Здесь выяснилось, что меня заслали туда по ошибке. Компетентные органы в Госкино узнали, что на Маврикии затевается какой-то морской праздник. Решено было срочно порадовать островитян советским фильмом на морскую тематику. Послали мой фильм «Выйти замуж за капитана». Но только на Маврикии, в самом центре Индийского океана, обнаружилось, что это фильм о сугубо сухопутном капитане-пограничнике и девушке-фотографе – отнюдь не морячке. Мы с Верой Глаголевой не огорчились и быстро подружились с маврикийской общественностью. Вот тогда-то островитянин Джо и подарил мне свою брошюру. На папины деньги он в этом сочинении от нечего делать прославлял терроризм. Сегодня, через много лет, я полистал страницы с непонятными закорючками и стал гадать, почему он мне это подарил? Видимо, Джо хотел сделать

приятное советскому человеку – между коммунизмом и терроризмом разницы он не видел. Потом вспомнились иные встречи, случаи, лица. И тут я понял, что книжка у меня получится уж очень пестрая и «выстроить» ее невозможно. Но можно свободно и безответственно плыть по волнам памяти, а там – будь что будет.

Санкт-Петербург

07. 11. 2004

Виталий Мельников

Тише, товарищи! Шапки долой!

– Здесь сливаются Шилка и Аргунь! – мать кричала мне в ухо учительским голосом. – Это так называемые «истоки»! – внушала она. У матери было два голоса: один домашний, а другой учительский, особенный, в нем слова и звуки отскакивали друг от друга, как горошины, и оставляли незримые вмятины в памяти «учащихся».

– Здесь! – кричала мать, – начинается уже другая река! Она называется Зея!

Кричать приходилось оттого, что рядом с нами грохотал ледоход. Понять, где тут Шилка, где Аргунь, да еще и какая-то Зея, сейчас не смог бы, наверное, даже лучший мамин ученик! Совершенно одинаковые льдины с гудением и стонами напоздали друг на друга, а потом взрывались и звенели и рассыпались на длинные ледяные иглы. А на смену им, кружась, надвигались и громоздились все новые и новые глыбищи. Они несли на своих горбах следы зимней, не до конца растаявшей жизни: угольные пятна отгоревших костров, вешки, обрамлявшие бывший санный путь, обломки строений и заборов, с корнем вывороченные деревья, на которых плыла захваченная ледоходом врасплох всякая лесная живность.

Мать наказала мне к реке не приближаться, подхватила коромысло с мокрым бельем и пошла к дому. Я был послушным ребенком и к несущимся льдинам не подходил, но рядом, почти на берегу, лежала толстая, ноздреватая неподвижная глыба. Если на нее взобраться, то наверняка можно было бы увидеть и Зею, и много чего еще. Я, конечно, на льдину взобрался, а чтобы увидеть всего побольше, даже подпрыгнул. Подпрыгнул и вдруг погрузился по горло в рассыпающуюся груды ледяных иголок. Я закричал, но голос мой утонул в грохоте ледохода. Уцепиться было не за что, а ледяная каша медленно тронулась и вдруг поползла по скользкой прибрежной глине вниз к реке. Я барахтался, хватал ртом жидкую грязь, но скоро обессилел, оцепенел от холода и замер неподвижно, увлекаемый потоком. Река гремела ближе и ближе, а мне было все равно. Вдруг что-то ударило меня в бок. В это «что-то» я вцепился и прижал его к себе. Это был толстый кол, крепко вбитый на берегу еще с лета – к нему привязывали лодки. Ледяная каша нехотя обтекала, освобождая меня, и уползала вниз, соединяясь с мутным потоком не то Шилки, не то Аргуни. Я постоял на берегу одинокий и свободный, а потом, отцепившись от своего кола, побрел домой.

Способен ли пятилетний человек размышлять о жизни и смерти, справедливости и прочем вечном? Утверждаю – пятилетний человек размышляет об этом постоянно и напряженно. Взрослые – реже. Они не способны подняться над рутинной.

Через день у нас были похороны. Провалился под лед пограничник. Он утонул приблизительно в то же самое время, когда я держался за кол. Прощаться пришли все – и пограничники, и казаки с семьями. Покровка наша была старинная, екатерининских времен, казачья станица. У открытой могилы стоял на козлах красный гроб, а на груди у неподвижного пограничника лежала зеленая фуражка. Играл духовой оркестр, и все плакали. У кладбищенской ограды выстроились казаки с обнаженными шашками. Вперед вышел пограничный начальник и прокричал: «Тише, товарищи! Шапки долой! Красноармеец погиб молодой!» Все женщины заплакали громче, и моя мать тоже. Потом пограничники стреляли залпом.

Мне очень понравилось. Я даже немного пожалел, что тогда уцепился за кол, а не утонул, как пограничник. Мало того что мать отчитала меня учительским голосом, раздела догола и, укрыв толстым одеялом, заставила дышать над кипящим чугуном! Она еще пригрозила мне утюгом! Стоило ли, в самом деле, цепляться за кол? Ведь я знал этот утюг! Утюжище был черный, остроносый, похожий на пароход, но с круглыми дырочками-ноздрями и крышкой. Откинув крышку, мать засыпала в его чрево угли, а потом их поджигала. Она ожесточенно размахивала утюгом, пока в дырочках-ноздрях не появлялось синее гудящее пламя. Тогда мать осторожно прикасалась влажным пальцем к утюговскому брюху, и он угрожающе шипел. Вот этим-то утюгом мать и пообещала прогладить меня хорошенько, чтобы выгнать из меня всю простуду и чтоб я запомнил, как это – лезть без спросу в не то Шилку, не то Аргунь. Сегодня мать про утюг не вспоминала – отвлекли похороны, но кто знает...

А когда-то давным-давно, еще до этого ледохода, мы с матерью каждый день ездили на саночках в Китай. У нас была с китайцами общая прорубь. Казаки и китайцы чистили ее поочередно и ежедневно брали воду. Женщины у проруби обменивались новостями, ссорились, мирились и сплетничали. Но, конечно, не моя мать! В споры она не

вступала, всем улыбалась, и ей тоже все дружно улыбались. Она же была Учительница! Мужчины тоже в разговоры не вступали, только степенно здоровались с китайцами.

Правда, это были не совсем китайцы. Можно сказать, что даже совсем не китайцы, а обыкновенные русские. Мать непонятно объясняла мне, что была гражданская война и в Китай русских китайцев «занесла судьба». У тех, которые оказались в Китае, и у тех, которые жили в Покровке, было много родственников. На Пасху Покровка пустела – казаки отправлялись за рубеж к родственникам – праздновать. Ведь в советской Покровке Пасху не поспразднуешь! Пограничники глядели на все это сквозь пальцы. Зато уж первое мая у нас было необыкновенное: казаки и китайцы, отгуляв Пасху, с песнями пересекали границу и потом дружно отмечали в Покровке День солидарности трудящихся. Демонстрантов у нас на базарной площади всегда было вдвое больше, чем жителей в Покровке.

Меня всеобщее веселье не удивляло. Не удивляла ни демонстрация, ни парад пограничников, ни джигитовка казаков. Ведь первое мая – мой день рождения! А в мой день рождения все должно быть необыкновенным! С утра в доме пахло пирогом и наше принаряженное семейство садилось завтракать. Я не ждал никаких подарков, потому что подарки, поцелуи и другие проявления «мещанства» у нас были не в ходу.

Поскольку отец был лесничим, наше семейство постоянно переезжало из одной глухомани в другую. Из одного казенного жилья в другое. После каждого переезда мать наспех жилье это обставляла. Она обзаводилась оконными занавесками и книжной полкой, размещала единственный, но свадебный подарок отца – швейную машину и расстилала на полу медвежью шкуру – отцовский охотничий трофей. Вторую медвежью шкуру отец прикреплял к стене собственными руками, на этой шкуре он развешивал оружие. Все! На этом очередное новоселье и заканчивалось. Не считая водружения в парадном углу портрета Вячеслава Михайловича Молотова. Непонятно почему, но мать, изъяв из очередной отцовской конторы Вячеслава Михайловича, поселила его к нам навеки. Водружение Молотова в угол стало семейным обрядом. Мать возвела наркомин-дела СССР в ранг хранителя семейного очага. Может быть оттого, что мой отец тоже был Вячеслав?

Так мы и жили: мать учила покровских детей в школе, а отец пропадал в командировках по лесным уделам, засекам и лесничествам. Потом был снова ледоход и снова Первое мая, и оказалось, что мне уже шесть лет.

Пирог был готов и благоухал, накрытый чистым полотенцем, а мы ждали возвращения отца с демонстрации. Отца «повысили», и он теперь должен был стоять на трибуне вместе с другими начальниками посередине базарной площади и помахать рукою демонстрантам. Пришел отец, как всегда, мы занялись пирогом, но мать вдруг подняла голову и спросила:

– Вячеслав! Чем от тебя пахнет?

– Пирогом, – ответил отец.

– Нет не пирогом, – мать деликатно понизила голос, – ты на что-то наступил. Ну-ка! Из-за стола!

Они отошли в сторонку и стали шептаться, потом смеяться, потом ушли в сени и принялись громко хохотать. Вернулись они, вытирая слезы и переглядываясь.

– А если это провокация? – серьезно спросила мать.

– Нормальная, человеческая реакция, – пояснил отец, и они снова засмеялись.

А дело было вот в чем. В Покровке задолго стали готовиться к Первомаю. На базарной площади из свежего желтенького теса воздвигли невиданное сооружение – трибуну. Трибуна оказалась в центре повседневной базарной жизни, и местные жители постепенно стали приспособлять ее к делу. Торговки вбивали в нее гвозди и подвешивали вязанки лука и сушеных грибов, на ступеньках старухи торговали семечками. Здесь же совершались торговые сделки. Если сделка была крупная, ее тут же обмывали. Когда дети просились «пи-пи», их пристраивали под трибуну. Народ, наконец, понял, для чего нужна эта самая трибуна, и теперь все делали под трибуной не только «пи-пи». К трибуне пролегла народная тропа! Это и неудивительно. Воздвигая трибуну, начальство и не подумало о постройке другого, менее помпезного, но крайне нужного сооружения.

Согласно законам природы, на свежем воздухе и морозце последствия всенародного пользования не очень давали о себя знать. Но пригревало весеннее солнышко, и народ близ трибуны стал как-то приноживаться и от нее отдаляться. Первыми отдалились торговки нежным товаром – луком и грибами. Затем переселились на сельповское крыльцо торговки семечками, потом любители выпить и посудачить.

И вот, Первого мая объявились на трибуне принаряженные по случаю солнечного денька и ничего не подозревающие руководители. Они были, конечно, «рабоче-крестьянского» происхождения, люди закаленные и ко всему привычные, но вонь такой весенней силы и концентрации даже их повергла в смятение. Насторожил и напугал также политический резонанс. Демонстранты флажками размахивали, но трибуны сторонились. Между народом и вождями образовалось пустое пространство. Пограничники с винтовками наперевес по уставу печатали шаг, но «равнения направо» не держали – слегка отворачивали носы. Казачий эскадрон, отмахиваясь шашками, промчался мимо трибуны ускоренным наметом. И впервые среди присутствующих на трибуне прозвучало то самое слово: провокация.

Слово это было уже не новое. Не подвезли в Покровку соли – это, ясное дело, провокация. Перешла пограничную

полосу корова – провокация. Вдруг пошел слух, что пользуются трибуной не по назначению именно зарубежные китайцы. Что все у них заранее продумано и предусмотрено, чтобы трибуну осквернить!

С утра я пошел к берегу, туда, где сливаются не то Шилка, не то Аргунь, и увидел, что пограничники с криками загоняют трехдюймовку в открытый за ночь блиндаж. Трехдюймовка повернута была рылом в сторону Китая. И правильно! Нечего устраивать провокации и портить мне день рождения! Я не знаю, как там дальше повернулось дело с провокациями в Покровке, потому что нам, Мельниковым, предстоял очередной переезд – далекое путешествие в большой город Благовещенск, где есть даже настоящие, не игрушечные, автомобили и двухэтажные дома.

Андалузская ночь так была хороша

– Здесь Зезя впадает в Амур! – объявила мать. – Мы уже плывем по Амуру!

Встречный пароход дал гудок. Этот пароход был точной копией нашего «Сергея Лазо» – с таким же огромным гребным колесом на корме. Но на корме трепетал странный, незнакомый флаг, а на носу было название «Верочка» и еще что-то по-китайски. Пароходы сблизилась и склонились друг к другу бортами, потому что все пассажиры столпились на палубах. «Беяки недобитые!» – кричали пассажиры с нашего «Сергея Лазо», а с «Верочки» отвечали, что мы «сволочь краснозадая». Для судоходства на Амуре был общий фарватер и пароходы-близнецы часто встречались. Капитан приказал в жестяную трубу всем покинуть палубу и закрыть окна в каютах.

Мы сидели в запертых каютах, а капитан через свою трубу снова и снова просил нас не выходить и проявлять бдительность, потому что «граница теперь на замке». Родители воспитывали меня поочередно. Мать просвещала меня по части географии, а отец нажимал на политграмоту. «Нужно же ему хоть что-то, хоть как-то объяснять!» – говорил отец. Согласно политграмоте, получалось, что судьба развела не только людей, но и корабли. Когда-то по Амуру плавали два парохода – «Верочка» и «Наденька». Так назвал их богатый купец Чурин в честь своих дочерей. В гражданскую войну (опять гражданская война!) Чурин сбежал на «Верочке» в Китай, а «Наденьку» советская власть переименовала в «Сергея Лазо».

– И вот мы, советские люди, – закончил отец, – плывем теперь на своем пароходе...

– И проявляем бдительность, – добавил я.

– Вечно он все переворачивает, – почему-то рассердился отец, – провокатор какой-то!

– Маленький еще, – заступилась мать.

Но я все-таки спросил про «границу на замке». Я предположил, что она теперь на замке потому, что китайцы так некрасиво поступили тогда с нашей трибуной. Отец сдержался и ровным голосом разъяснил мне «международное положение». Оказывается, виноваты вовсе не китайцы, а японцы. Это они отвоевали себе кусок Китая и назвали этот кусок государством Мань-джо-уго. Теперь они захотели прихватить еще и кусок нашей социалистической отчизны, а мы в ответ закрыли границу на замок.

– А сделал это товарищ Сталин, – добавил отец.

– И наш Вячеслав Михайлович? – спросил я у матери.

– Ну вот! – довольно улыбнулась мать. – Он уже кое-что понимает.

В Благовещенске действительно были двухэтажные дома и целых два трехэтажных: гостиница «Амур» и бывшее ГПУ, а по-новому, НКВД. Были и автомобили. Ведь Благовещенск – город пограничный, и в нем расположилось сразу три иностранных консульства: японское, китайское и этого самого Мань-джо-уго.

Консульства прятались за высокими заборами. Я однажды заглянул через щелочку во двор японского консульства. Там маленькие тоненькие японочки перекидывали через сетку мячик. Толстый японец подошел к щели и показал мне кулак. В городе иностранцы появлялись только раз в пятидневку – в банный день. Тогда городская баня закрывалась, а жители терпеливо поджидали, когда на главной улице имени Ленина появится интересная дипломатическая процессия. Первым выезжал черный автомобиль с японским флажком и открытым верхом. Рядом с шофером-офицером сидел тот самый толстый японец, одетый в черный сюртук и с черным цилиндром на круглой голове. Японец был вылитый буржуй из журнала «Крокодил». На заднем сиденье гнездились штук шесть вывезенных на помывку хороших японочек в ярких кимоно.

За японцами, чуть поотстав, тряся экипаж китайской миссии. Это была линейка – длинная телега с лохматой веревочной упряжью. Телегу тащили две шустрые монгольские лошадки. Китайцы сидели на линейке, свесив ноги, как мальчишки на заборе, и смотрели прямо перед собой, гордо не замечая японцев. Ведь Китай и Япония находились в состоянии войны. Перемирие устанавливалось только на банный день.

Процессию завершала лакированная извозчичья пролетка консула Мань-джо-уго. Он сидел, развалившись на подушках, в клетчатом пиджаке и военной фуражке с высокой тульей. На облучке возвышался бородатый русский извозчик, видимо, нанятый консулом, и непрерывно звонил в большой колокол. Почему он так трезвонил, никто понять не мог. Если консул боялся, что под пролетку нечаянно попадет кто-то из местных жителей, то он напрасно

беспокоился – даже на улице Ленина глубокие колдобины и непролазная грязь гарантировали пешеходам полную безопасность. Когда процессия скрывалась за углом, следом за ней, рыча и разбрызгивая грязь, пронесся черный фторид НКВД – это органы приглядывали за дипломатами.

Мы, наконец, поселились. Отец снял половину маленького домика во дворе, на Октябрьской улице, названной так в честь Великого Октября. В одной половинке дома разместилось многодетное семейство, бежавшее от голода с Украины, а в другой теперь жили мы. Наша швейная машина «Зингер-полукабинет» уже заняла свое место у окна, медвежьи шкуры и отцовское оружие также были пристроены. Вячеслав Михайлович смирно висел над столом. Когда я вышел погулять и поглядеть на новые места, ко мне подошла девчонка моих лет и протянула что-то черное.

– Жмыхов хочешь? – спросила она.

Я повертел жмыхи в руках и отдал обратно.

– Цэ трэба разжуваты, – пояснила девчонка и впилась в черный комок крепкими зубами.

– Это можно есть? – спросил я.

– А як же! – удивилась девчонка. – Мы тильки жмыхи и ядим!

Наша Октябрьская улица вела к сенному базару, потом к монопольке [1 - Винная лавка, монополично торговавшая водкой. – Ред.], а потом на кладбище. Сидеть на лавочке перед нашими воротами было очень интересно. С утра по Октябрьской шли русские хозяйки с корзинами, чуть в сторонке, отдельными кучками шагали китайцы и несли на прямых длинных коромыслах всякую зелень и овощи. У китайцев из-под островерхих шляп свисали косы, а китайки мелко перебирали крошечными ножками. Ступни им с детства туго бинтовали – чем меньше ножка, тем красивее китайка. Потом шли цыганки с цыганятами – поворожить и поглядеть, где что плохо лежит. Потом тряслись телеги с бочками, ведрами и визжащими в мешках свиньями. Потом наступала тишина. Это был кладбищенский час. На извозчике или пешком появлялись музыканты с медными трубами и огромным барабаном. Они торопились на кладбище – оживленно перекликались друг с дружкой и даже бежали, чтобы поспеть вовремя. А потом, чуть позже, издали доносилось печальное пение труб и глухой стук барабана. На Октябрьскую вступала похоронная процессия. Впереди шли музыканты. Теперь лица у них были другие – печальные и торжественные.

Мать очень не любила, когда я сидел на лавочке в предвечернее время, потому что в это время из монопольки по домам разбредались «больные». Они качались, пели хриплыми голосами и засыпали прямо поперек тротуара или в канаве. Мать называла их всех больными, чтобы «уберечь ребенка от этого ужаса», но Верка очень смеялась и все мне объяснила: «яки таки больные? Воны ж пьяные!» Поздно вечером, когда дневная жара спадала, на лавочках располагались женщины поболтать о разных разностях и поглазеть на прохожих. При этом они расчесывали волосы и что-то в них выискивали друг у друга. Было тепло, темно и очень красиво пели лягушки. Их в нашей канаве было видимо-невидимо и лягушачьих детей тоже. Верка мне рассказала, что лягушки так красиво поют потому, что нынче у них народились «гарны головастики».

У нас появился новый член семьи. Однажды отец разбудил меня рано и велел побыстрее одеваться.

– Мы идем на базар, – сообщил он.

– Без мамы? – удивился я.

– У нас важное мужское дело. Поторапливайся!

На базаре, как всегда, было крикливо и людно. Отец тащил меня за руку и пробирался в ту сторону, где мычали коровы и ржали лошади. «Сюда, Вячеслав Владимирович!» – окликнул нас какой-то дядька и нырнул под телегу. Мы с отцом нырнули следом. Поодаль к возу с сеном была привязана угольно-черная коровенка, один рог у нее был кривой. «Вот! – торжественно сказал дядька, – не пожалеете, Вячеслав Владимирович! Зовут Чернявка! Из хороших рук! С рекомендацией, можно сказать!»

Первой у ворот нас встретила Верка.

– Чого ж вона така криворогая? – причитала Верка, – и вымячко в ей маленько! Пидманулы! Ох, пидманулы вас, Чеслав Владимирович!

За отцовским плечом появилась мать.

– И правда, Вячеслав, – неуверенно сказала она, – конек-горбунок какой-то.

В Благовещенске было голодно. Через весь город отец привозил нам на велосипеде причитавшийся ему казенный обед. В жестяных судках плавали останки рыбьих голов – это «на первое» и пшенка, сдобренная вонючим говяжьим жиром, – это «на второе». Во время обеда отец проводил со мной политбеседы. Он говорил про «границу на замке», про голод на Украине и про другие временные трудности. В конце концов, он однажды явился домой пешком без судка и без велосипеда. Оказывается, временные трудности возросли, казенные обеды отменили, а велосипед пришлось временно продать и купить криворогую Чернявку. Чернявка нас не подвела. Поначалу я сомневался, будет ли молоко у такой черной коровы достаточно белым, но оно оказалось и белым, и вкусным. Мать выгоняла корову к стаду, вечером ее встречала, говорила ей ласковые слова и старательно доила. Чернявка благодарно мычала, а на столе у нас стали появляться всякие полезные и питательные продукты. Мать хлопотала по хозяйству и

пела. Она хорошо пела, но стеснялась. А при мне не стеснялась. Она пела про девицу, которая жадно глядит на дорогу, про бродягу, который переехал Байкал, а особенно часто и красиво она пела про андалузскую ночь, которая «так была хороша», а «девица поджидала милого». Почему-то как раз на словах: «это он, это он! О, мой рыцарь, мой князь!» с работы возвращался отец. Отец время от времени ворчал, что он теперь не лесничий, а канцелярская крыса, но все-таки ему нравилось, что вот уже почти год он живет с семьей и почти что в собственном доме. «Даже корова есть!» – говорил отец и смеялся.

Каждую пятидневку мы ходили в кино. На улице Ленина было два кинотеатра. Один был государственный и назывался «Гигант», а второй – частный, нэповский, под названием «Мираж». В «Гиганте» крутили «Турксиб» и «Путевку в жизнь», а в «Мираже» я быстро засыпал, потому что кино там было немое, да еще и про любовь. Но зато перед сеансами там продавались «коммерческие» пирожные без карточек!

Вечерами родители поочередно читали вслух «новинки». При чтении они спорили или смеялись. Они очень смеялись, когда Алексашка Меньшиков и царь Петр протаскивали через щеку иголку с ниткой. И очень спорили, будет или не будет революция в Японии, когда читали книжку «На Востоке» какого-то Павленко. Отец говорил, что японцы политически не созрели, а мать, что созрели: «не дураки же они, ей-богу!». Когда родители думали, что я уже сплю, они переговаривались шепотом. Отец часто рассказывал о каком-то «амурзейлестресте», где многих «взяли» неизвестно за что. Мать ахала, а отец говорил, что это «очередной перегиб» и «недоразумение».

Однажды отец пришел с маленьким черным ящичком и треногой. «Это «фотокор», – сказал он, – будем осваивать!» Прежде всего, отец решил освоить автоспуск, чтобы мы сфотографировались все вместе. С той поры, каждый вечер мы с отцом проводили в подполье. При свете красного фонаря мы проявляли и закрепляли. Чаще всего в ванночке на листе фотобумаги не проявлялось ровно ничего или появлялось что-то смутно-расплывчатое. Но, в конце концов, совершилось чудо! Однажды я, не особенно надеясь, глядел на мокрый лист фотобумаги, и вдруг на дне ванночки, словно из ничего, медленно-медленно возникли лица матери и отца, а посерединке улыбался я. Снимок этот я храню много лет. Мы на нем все вместе, нам хорошо и весело. Такого снимка у нас уже никогда не будет.

Недоразумение

Я бежал домой сказать, что идет стадо и пора встречать Чернявку, но у крыльца остановился, как вкопанный – на ступеньках сидел незнакомый человек в военной фуражке с малиновым околышем.

– Тебе кого? – спросил малиновый.

– Это наш дом, – ответил я.

– Ваш дом? – переспросил малиновый. – Тогда входи!

Я вошел и не узнал нашего дома: все вещи были сдвинуты, все дверцы распахнуты. На полу валялись книги и бумаги. Даже Вячеслав Михайлович на стене висел как-то криво. Второй малиновый по-хозяйски рылся в ящичках материнского «Зингер-полукабинета» и вынимал горстями лоскутки, пуговицы и другую мелочь. Я не сразу увидел родителей. Они сидели в сторонке, у стены, с неподвижными лицами. Я еще никогда не видел у них таких лиц.

– Это кто? – спросил второй малиновый.

– Сын, – ответил отец, – можно ему сесть?

Малиновый хмыкнул утвердительно. Тогда я потихонечку сел на табуретку, которая стояла посреди комнаты. «Виталий, – ровным голосом сказал отец, – у нас обыск. Сиди и смотри!» И я смотрел, как совсем чужие люди перетряхивали нашу одежду, читали наши письма и отцовские бумаги, как перепуганные Веркины родственники-«понятые» дрожащими руками подписывали что-то. А потом мне было разрешено проводить отца до ворот. У ворот малиновые остановились.

– Посреди дороги положено водить, – сказал один.

– Так ведь грязь, – возразил другой.

– Ведите по тротуару. Куда я тут сбегу? – пожал плечами отец.

Так они и уходили по дощатому узкому тротуару. Отец шел первым, а за ним, переговариваясь о чем-то своем, шли малиновые. Отца я больше никогда не видел. И, сколько я помню, мать больше никогда не пела. Ни про «андалузскую ночь», ни про «рыцаря и князя». Теперь по ночам она что-то писала, я находил скомканные и перечеркнутые тетрадные листочки и все про одно и то же: «Дорогой Иосиф Виссарионович! – писала мать. – Произошло ужасное недоразумение!» Она носила передачи, ждала казенных ответов, темными вечерами к ней приходили знакомые жены арестованных мужей и они долго обсуждали что-то. Помню, одна из них принесла «хрустальный» шар и положила его на черную бархотку. А потом они зажгли свечи, уселись тесным кружком вокруг шара и долго на него смотрели. Кто-то им пообещал, что если на этот шар долго смотреть и при этом загадать желание, то они увидят своих мужей в их тюремных камерах. Но с гаданием что-то не получилось, и мать опять проплакала всю ночь. А на утро я снова нашел много скомканных листков.

Не знала мать, а я и подавно, что многие тысячи матерей и жен во всех концах страны пишут Иосифу Виссарионычу, Лаврентию Палычу и прочим об «ужасных недоразумениях», случившихся с их близкими. Мать пыталась устроиться на работу, но никто ее не брал, потому что «жена врага народа не должна работать в советской школе». Однако матери повезло – жена другого врага народа (та, что с шаром) пристроила мать учетчицей по сбору утильсырья. Мать приходила поздно, очень усталая, потому что шла с другого конца города. Запершись на кухне, она долго отмывалась и меняла одежду. Теперь она не плакала по ночам, и лицо у нее было упрямое. С таким же упрямым лицом она поднималась утром, кормила меня и отправлялась учитывать утильсырье.

Ту ночь я запомнил на всю жизнь. Мы услышали тихий стук в окно, и мужской голос позвал: «Гутя, Гутя!» Так называл маму только отец. За окном белело чье-то лицо.

– Гутя, я от Вячеслава, – сказал голос.

Мать кинулась к дверям. В комнату вошел небритый человек в мятой шинели и летном шлеме.

– Не бойтесь меня, – быстро сказал человек, – Вячеслав просил передать... уезжайте отсюда к вашему отцу.

Человек протянул узкую полоску бумаги. Мать схватила записку и впиалась в нее глазами.

– Это не Вячеслав писал, – сказала она.

– Писал Вячеслав, но до этого его... его допрашивали.

Человек сел и замолчал. Мать ждала.

– Мы с Вячеславом однокамерники... Я – военный летчик... Меня сегодня выпустили. А его вот... пока нет. – Гость вдруг поднялся. – Уезжайте поскорее, Гутя, вас могут разлучить с сыном. Обо мне ни с кем не говорите. Счастливого.

И летчик ушел. Мы с матерью долго разглядывали записку. Бумажка была помятая, с оборванными краями, а написано карандашом, вкривь и вкось, словно бы детской рукой.

С утра мать заварила клейстер и мы пошли по Октябрьской расклеивать на заборах объявление: «Срочно продается корова. Кличка – Чернявка. Недорого». Мать плотно прижимала листки к столбам и доскам, а лицо у нее было упрямое.

Дед Данило Фомич приезжал к нам недавно погостить и поглядеть, как мы устроились в Благовещенске. Он любил мою мать – старшую дочь Августу, а всего их у него было пять: от первой жены Фелицаты – три, от второй – Александры – еще две, а от третьей, неизвестной нам Марии Исааковны, проживающей ныне в Омске, дед получил в приданое еще двух готовеньких приемных дочек. Так что всего получилось семь! «В этом бабском царстве ты один – моя надежда, – внушал он мне. – Да и то, ты не Трапезников, а какой-то Мельников!» После первой рюмки дед сразу начинал рассказывать про русско-японскую войну. Тридцать лет назад он воевал в Манчжурии, неподалеку от Благовещенска. Ему здесь так понравилось, что после войны он выписал сюда Фелицату и здесь укоренился. Он говорил про эту войну так, будто она закончилась вчера. Он поносил русских генералов и пересказывал армейские прибаутки. «Куропаткин в Ляояне, как тетеря в гаоляне!» – кричал дед, ожидая веселой реакции слушателей. После второй рюмки Данило Фомич исполнял свою любимую песню:

Раз полоску Маша жала,
Золоты снопы вязала,
Молодая! Эх! Молодая!
В это время из похода
Шел солдат шастого года
Из Китая! Иэх! Из Кита-ая!

На этом месте мать всегда пыталась деда остановить, но остановить его было невозможно.

Парень видит: баба пышет,
Рубашонку грудь кольшет
Молодая! Иэх! Молодая!

После этого куплета меня обычно отправляли погулять.

Рассказывая о своих подвигах на сопках Манчжурии, дед как-то перескакивал еще через две войны – через мировую и через гражданскую – и плавно переходил к мирным временам. На то были причины. Крестьянина Данилу Трапезникова забривали на войну многократно. И если с русско-японской все было понятно, то дальше начиналась путаница. Его мобилизовали и демобилизовали: царское правительство, временное правительство, колчаковское правительство, советская республика, дальневосточная республика. Сколько раз в его село Видоново Тобольской губернии входили очередные победоносные войска, столько раз победители и зачисляли крестьянина Трапезникова в свои ряды. Конечно, когда «разгромили атаманов, разогнали воевод», советская власть объявила

всеобщую амнистию, но дед, понасмотревшись на всякие власти и правительства, тихо поселился в сторонке – в Омске. «Совью свое гнездо!» – объявил дед, зазывая нас в гости. И вот мы теперь спешно пакуем медвежьи шкуры и «Зингер-полукабинет». Мать аккуратно обшивает мешковиной швейную машинку – отдельно и кружевной чугунный станок – отдельно. Химическим карандашом она выводит: «Станция назначения – ст. Омск».

Но дед Данило Фомич так и не свил своего гнезда. Мы приехали в Омск на Тверскую улицу восемьдесят «а» и увидели мазанковую халупу в два окошка с недоделанной свежей пристройкой и нарисованной на ней большой буквой «А». Было раннее утро. С полу уставилось на нас множество женских и детских глаз. Никогда не думал я, что у меня столько теток и двоюродных сестер. Родные дочери деда уже народили своих дочерей, а две дочки неизвестной нам Марии Исааковны еще по две девчонки. Из них одна пока не умела говорить, а другая вообще была глухонемой. И все это семейство кричало, мычало, непрерывно требовало поесть, пописать и покакать.

А деда Данилу в разгар достройки задуманной пристройки пришли и арестовали малиновые «за сотрудничество с адмиралом Колчаком». Приговор: десять лет «без права переписки». Мы тогда еще не знали, что на языке малиновых это означает «расстрел».

Дедовское гнездо с шумом и плачем поднималось и с такой же суетой и криками устраивалось на ночлег. Это было нелегкое дело, потому что на полу нашей хибары нужно было расположить еще и мужей, возвращавшихся вечером с работы. Никто нас здесь не ждал, но и уехать отсюда мы тоже не могли – мать боялась потерять связь с отцом и боялась малиновых. Оказывается, прав был летчик: таких, как мы, приказано было разделять. Ребенка – в детдом, мать – в ссылку.

В школе на самой окраине Омска требовался библиотекарь. Мать согласилась взять временно, на полставки, без отметки в паспорте. Мы стали жить в библиотеке – приходили на Тверскую только ночевать. Брели в темноте по колено в снегу, потому что уже наступила зима. Мы приходили в храпящую и сопящую хибару, и мать в запечном закутке потихоньку стирала и гладила, для того чтобы наутро в школе и библиотеке мы «выглядели прилично».

Явление Оверьки Чижика

В нашем библиотечном сидении мать все чаще вспоминала свое детство, дедовское село Видоново и многочисленную сибирскую родню. Я узнавал всякие интересные истории про Трапезниковых и Трусихиных.

Трапезниковы занимались хлебопашеством, извозом, держали почтовых лошадей, а прадед Фома Иваныч даже построил отдельный просторный дом – «фатеру» – для всякого проезжего начальства. Трусихины, родня по женской линии, разводили птицу – кур, гусей, уток – и гнали зимой обозы с мороженой птицей на дальние сибирские ярмарки в Ишим, Ирбит и даже в Семипалатинск. Здесь они обменивались товарами с кочевым народом – киргизами и казаками. Получилось так: у Трусихиных был товар, а у Трапезниковых лошади, чтобы этот товар перевозить. На том они познакомились, подружились, а потом и породнились. Доходило до того, что если в роду Трапезниковых рождалась девочка и ее называли Августой, то и новорожденную девочку из Трусихиных тоже называли Августой.

Многочисленный, трудолюбивый и сплоченный клан Трусихиных-Трапезниковых задавал тон в Видонове. Мать рассказывала и про других видоновских жителей. Неподалеку от Видонова, за рекой Ишим, жила, к примеру, семья местного колдуна и конокрада Гришки Распутина. Гришка притащился в Питер, заколдовал царя с царицей, а потом никак не мог расколдовать. Он даже приезжал в Видоново, каялся всенародно и подарил жене шаль с царицына плеча. Потом он все-таки опять потащился в Питер, снова принялся за свое, и его, слава богу, утопили. Такова была видоновская версия.

– Жили здесь сытно и привольно, – говорила мать, – бедствовали только уж совсем ленивые.

Мать рассказывала про какое-то семейство по кличке Чижики. Чижики не сеяли, не пахали, летом попрошайничали, а всю зиму сидели на печи, потому что порток у них не было.

– Это сказка? – спросил я.

– Самая настоящая быль, – ответила мать.

Теперь у нас с матерью появилась цель и мечта: когда весной вскроются реки, мы поедем в Видоново. Столько там родни! Найдется и для нас уголок.

– А как же папа? – спрашивал я.

– Мы обязательно встретимся и найдемся! – Лицо у матери становилось привычно упрямым.

– Расскажи мне тогда про Мельниковых, – требовал я.

И мать рассказывала, как дед Владимир Мельников с женой Евдокией и четырьмя детьми жили на горных золотых приисках, как мой отец – Вячеслав – стал лесничим и как они с матерью познакомились.

– А почему он Вячеслав? – допытывался я.

– А потому что, когда-то очень давно, Мельниковы дружили с семьей ссыльных поляков. И тогда польского мальчика они сговорились назвать Владимиром, а русского – Вячеславом.

– Тогда уже были ссыльные? – удивлялся я.

– Ссыльные были всегда, – заключила мать.

Мы ждали весны! Все дозволенные мне по возрасту книжки в нашей родной библиотеке были уже прочитаны, и теперь я читал, что попало. Особенно я любил рыться в куче потрепанных книжек с ятями и твердыми знаками. Там я нашел «Вечера на хуторе близ Диканьки», которые были списаны в утиль за «мистицизм и мракобесие». Таких слов я не знал, но, прочитав «Вечера», уже сознательно искал книжки Гоголя. Я никогда не читал и не чувствовал ничего подобного. Было страшно и смешно, больно и радостно погружаться в «Это»! И я никак не мог понять, как он «Это» делает? Мой затрепанный, списанный Гоголь!

Мы с матерью пошли к Иртышу поглядеть на ледоход. Наконец-то он начался! По сравнению с Зеей или Амуром, ледоход был так себе – жиденький, но мы побывали в затоне и убедились, что пароходы уже почти готовы к навигации. Там подкрашивали и прихорашивали «Софью Перовскую», «Клару Цеткин» и «Розу Люксембург». У нас на Амуре был «Сергей Лазо». С ним все было ясно – он прославился тем, что японцы его сожгли в паровозной топке. Но что сделали со всеми остальными женщинами, включая Веру Засулич? Их тоже сожгли? Когда я спросил об этом у матери, она засмеялась и ответила, что я весь в отца. «А все эти женщины – прославленные революционерки», – объяснила мать. Потом мы стали обсуждать, как нам получше упаковать вещи, если мы отправимся в Видоново.

Во дворе нас встретила глухонемая Виктория. Она мычала, разводила руками, изображая что-то огромное, и тащила меня за руку в дом. У нас был гость. Это был действительно большой и толстый человек со значком «Осоавиахима» на мятом пиджаке. Он сидел на почетном месте, в окружении всех наших женщин.

– Этот товарищ из Видонова, – сказала Мария Исааковна.

– Оверька! – закричала мать. – Это ты?

Человек встал и указал на мать пальцем:

– А ты Гутька Трапезникова! Правильно? Ну что, бабы? С приятной встречей?

Но встреча получилась совсем не приятная. Вечером подвыпивший Оверька, то ругаясь, то всхлипывая, рассказывал видоновскую историю. Года полтора назад всех крепеньких видоновцев, включая, конечно, и Трапезниковых с Трусихиными, без барахла и одежды – в чем были – погрузили в открытые баржи, дали на каждую семью по мешку муки, по топору и пиле и отправили в устье Иртыша, в гиблые места под Остяко-Вогульск.

– Но ведь ты бедняк и всегда был бедняком! – восклицала мать.

В ответ Оверька зло смеялся.

Когда в Видонове стали прижимать «мироедов», нищие, никчемные Чижики оказались на виду, их повдвигали в комбеды [2 - Комитеты бедноты. Распределяли помещичьи земли и инвентарь, вместе с продотрядами и местными советами проводили продразверстку и набор в Красную Армию. – Ред.], и они почувствовали себя почти что начальством. Тогда Оверька Чижик и решил приударить за Августой Трусихиной – маминой двоюродной сестрой. Трусихины, стиснув зубы, терпели Оверькины ухаживания, но время было непонятное, шаткое, и Трусихины дали согласие на брак. При составлении черных списков Оверька автоматически оказался «членом семьи мироедов». При раскулачивании его вместе со всеми Трусихиными загнали на баржу и, словно в издевку, назначили старшим, как «заслуживающего доверия социально близкого». И вот теперь Оверька прибыл в Омск выбивать для Остяко-Вогульска не то лопаты, не то дефицитные продольные пилы. Паспорта у него, как и у всех Трусихиных, не было, и числился он спецпереселенцем. Всю ночь поселенный на чердаке нашей халупы пьяный Оверька пил, разговаривал сам с собой, возбужденный воспоминаниями, кричал: «любовь зла!» и хохотал на всю Тверскую улицу. Тем не менее, при всяком удобном случае, Оверька называл Остяко-Вогульск лучшим местом на земле и звал мать приехать.

Однажды мать провожала меня до школы и вдруг спросила:

– А как ты думаешь, сынок, не уехать ли нам отсюда в Остяко-Вогульск?

– В ссылку? – удивился я.

Мать пожала плечами:

– Просто переедем из Сибири в Сибирь.

– На барже?

– Почему же? На пароходе! Мы ведь пока что свободные люди. И там у нас родственники. Валериан Прохорович разузнает, можно ли к ним туда приехать.

Мы долго шли молча. Потом мать сказала:

– Ты уже большой и должен понимать, что деваться нам некуда. Вот освободится отец и нас найдет. И, пожалуйста, не называй Валериана Прохоровича Оверькой!

Перековка

Через месяц пришла чудная телеграмма: «Ждем на жоресе зпт гутя тчк». Это означало, что мы приедем на пароходе под названием «Жорес», а Гутя – это Августа Трусихина – двоюродная сестра матери и жена Оверьки, то есть Валериана Прохоровича.

«Жорес» был замызганный однопалубный пароходишка. Очень старый. Я бродил по пароходу и разглядывал медные позеленевшие буквы: «Господь пассажировъ четвертаго класса просять на палубу не выходить». Мы как раз и ехали «четвертым классом». Это был узкий проход вдоль отгороженного решеткой машинного отделения. Проход до самого верха был завален «швырком» – толстыми поленьями дров, которые, по мере надобности, перетаскивали вниз, в кочегарку. Надобность могла возникнуть и днем и ночью – в любое время, и тогда «господь пассажировъ» сгоняли со штабелей. А, как только надобность пропадала, каждый заново сооружал себе гнездо для ночлега и дневного пребывания. Путь был не близким – «по воде», то есть по течению, – дней восемь, а против воды и того больше. Каждый запасался едой на всю дорогу. Запасались и всякими подстилками, чтобы уберечь бока от сучковатых поленьев. Чего здесь было вдоволь, так это воды, как забортной, из Иртыша, так и кипятка из кочегарки.

Я поднялся на палубу, и никто меня не остановил, как сделали бы, наверное, в царское время. На палубе было полно народу. Тут расположились «палубные пассажиры», которым ехать было не долго, дня два-три – не больше. Они пели, играли на гармошках и ели. Это были обыкновенные русские люди, но они говорили на «о», свою одежду называли «лопотинной», а ругались и удивлялись очень смешно. Они громко и часто повторяли: «На, ляшак! На, ляшак! На, ляшак!» Или: «На, бяда! На, бяда! На, бяда!» Берегов не было видно, и казалось, что мы плывем по морю. Кое-где над водой торчали островерхие тесовые крыши и колокольни со сбитыми крестами – еще не схлынуло весеннее половодье. Из ниоткуда время от времени появлялись лодки и причаливали к пароходу. С лодок на ходу выгружали баб, детей, курей в корзинах и всякий скарб. К наводнению здесь относились спокойно, привычно и бедствием, похоже, не считали.

В конце концов, «Жорес» наш оказался у очередного устья – там, где сливаются Иртыш и Обь. Доплыли мы, как утверждали коренные чалдоны, до того самого места, где когда-то причалили челны Ермака и дружина его призадумалась. Если поглядеть с самаровской горы, отделяющей старинное село Самарово от строящегося Остяко-Вогульска, то понять растерянность Ермака можно было вполне. Впереди расстилалось безбрежное плоское пространство, и не было никаких ориентиров, чтобы пространство это можно было с чем-то соизмерить. Это был типичный и ярко выраженный конец света. Увидеть такую бесконечность и не ужаснуться было бы странно. Именно с этого места, по утверждению чалдонов-старожилов, ермаковцы, от греха, повернули обратно, и как раз в этом месте причалила лодка, груженная нашим «Зингер-полукабинетом».

Родственники четко делились на темноволосых Трапезниковых и на сплошь белобрысых Трусихиных. Оверька, все в том же мятом пиджаке, но при галстукe, нас знакомил и объявлял степень родства. В стороне стоял и застенчиво улыбался еще один родственник.

– А это Франц – подкидыш, вроде меня, – пояснил Оверька. – Опять-таки жертва несчастной любви!

По случаю нашего приезда Оверька был уже навеселе. Дядя Евграф – мой двоюродный дедушка по трусихинской линии – взялся за вожжи, и мы тронулись. Пока я знакомился с сибирскими братьями и сестрами, Оверька рассказывал про Франца. Во время первой мировой войны Франц попал в плен к русским. Война была кровопролитная, русские деревни пустели – некому было пахать и сеять. И тогда было решено отправлять пленных немцев и австрийцев в русские деревни в качестве работников. Из отдаленных селений, особенно сибирских, бежать пленному было невозможно. Так в Видонове, в семье Трусихиных, и появился работник Франц.

Война тянулась и тянулась, а жизнь шла своим чередом, и одна из видоновских девчонок Лида Трусихина в этого Франца влюбилась. Франца тоже подкосил любовный недуг. Никакие мольбы и угрозы родственников не помогли – влюбленные были неразлучны. Окончилась война мировая – началась гражданская. Колчаковцы сменились белочехами. Тут бы и бежать Францу с чешскими эшелонами на отчизну, в Австрию, но Франц – ни в какую. А для надежности Франц с Лидой родили ребеночка. Семейный совет развел руками и решил: «женить их, раз такое дело». Пришли Советы. Мироедов Трусихиных отправили на баржу. Ну и «мироед» Франц отправился туда же. И теперь он со своей застенчивой улыбкой на устах корчует пни у нас под Остяко-Вогульском, откуда даже Ермак сбежал.

– А вот и наша Перековка! – показал кнутом двоюродный дед Евграф. Внизу, под самаровской горой, дымило множество костров, копошились люди с топорами и лопатами. Среди вывороченных огромных пней с растопыренными корневищами желтели кое-где свежетесаные срубы.

– Это место Перековкой названо, чтобы кулаки и мироеды перековались здесь для новой жизни! – злорадно объяснил мне Оверька.

– Сам дурак! – откликнулся Евграф. – Ты, Витёк, вон туда гляди! Во-он моя конюшня!

Мы остановились у сколоченного из горбыля сарайчика. Рядом аккуратно сложены были заготовленные бревна, и откуда-то из-под земли шел дым.

– Моя земляночка, – объяснил Евграф, – здесь буду зимовать, а к весне сруб поставлю. Лошадь у меня уже есть – у

чалдонов на самовар сменял.

– Вот кулачье, вот мироеды! – кричал Оверька, – через год его опять кулачить надо!

Родственники наперебой пересказывали матери свои заботы и планы. Августа Трусихина объединилась с Трапезниковыми и уже подвела дом под крышу. В этом новом доме и произошло празднество в честь нашего приезда. Собравшиеся видоноvcы вспоминали незнакомое мне прошлое, подвыпив, смеялись, потом плакали, потом красиво и слаженно пели протяжные сибирские песни. Евграф подсел ко мне и долго рассказывал, какие замечательные лошади были у моего прадеда Фомы, а также о том, как обмененная на самовар лошадка ожеребится и постепенно у него, Евграфа, расплодится табун и будут у него снова тройки почтовых, и обозы с товарами пойдут в дальние края. Празднество испортил явившийся без приглашения местный малиновый. Он вежливо спросил, по какому случаю торжество, поздравил мать с приездом и попросил предъявить паспорт. Мать сказала, что приехала сюда в отпуск. Малиновый полистал паспорт, удивился и посоветовал отдыхать южнее – где-нибудь в Крыму. «А у нас тут комары и спецпереселенцы», – пошутил малиновый. Оверька объяснил, что моя мать – сестра его жены и что она ненадолго.

– На сколько? – поинтересовался малиновый.

– На месячишко, – заверил Оверьян.

Когда малиновый ушел, все стали обсуждать, что теперь с нами делать.

– Ты что сболтнул? – говорила Августа Оверьке, – он же проверит!

– А что я мог? Гутя первая сказала про отпуск!

После долгого совещания решили искать для нас местечко у чалдонов – подальше от спецпоселений.

Дальше мы передвигались на рыбнице – деревянной толстобрюхой посудине со слабеньким, надрывно пукающим движком. Рыбница тянула за собой на буксире еще три прорези – лодки для перевозки живой рыбы. Нас пристроили в глухую деревеньку Цынгалинские Юрты. Малиновые редко сюда забредали – наверное, отпугивало негостеприимное название с намеком на цыngu. Для матери место учительницы здесь нашлось. Мимо нас проплывали нежилые таежные берега. Выли комары. Наш «Зингер-полукабинет» на замызганой палубе рыбницы смотрелся загадочным марсианским сооружением.

Но ничего ужасного мы в этих Цынгалах не обнаружили. Все знакомо, все похоже. И казалось: вот-вот выедет на лесную дорогу отец на выючной лошадке и возвратится к нам после скитаний по засекам и просекам амурской тайги. «Как он нас теперь отыщет, как найдет?» – спрашивала мать, обустривая нашу очередную «фатеру». Мы поселились в новой чистой избе с выскобленными добела полами и кружевными занавесками. Это был дом сельповского кладовщика Николая Степановича.

По цынгалинским меркам, кладовщик – это большой начальник. В его руках и под его присмотром все поступающие в сельпо товары. Он знает, когда и что в Цынгалы завезут, какая предполагается нехватка, чтобы предусмотреть и впрок закупить все необходимое. Особенно рыболовные снасти и охотничьи припасы. С Николаем Степановичем здоровались уважительно, почти как с Васей-партизаном. У Васи была репообразная голова и маленькие хитренькие глазки. Вася-партизан никогда партизаном не был, но из-за его хромоты прицепилось к нему такое прозвище. Когда Вася с берданкой на плече выходил, прихрамывая, из лесу после очередной охоты, у него был вполне партизанский вид. А по социальному своему положению Вася был продавец в сельпо. Еще неизвестно, кто главнее в деревенской жизни – кладовщик или продавец!

К нам в избу под разными предложениями с первого дня потянулись цынгалинцы – поглядеть на приезжих и познакомиться. Первым прихромал Вася-партизан, якобы обсудить сельповские дела с коллегой-кладовщиком. Выяснив имя и отчество новой учительницы, Вася пообещал свою поддержку по части обустройства на новом месте. Потом спросил деликатно про мужа. Мать ответила, что сейчас он на Дальнем Востоке, но надеемся, что скоро придет. Вася ничего не понял, но уважительно покивал. Знакомство состоялось.

После начальства как ближайшая соседка пожаловала Таня-Маремьяна. Татьяна была из местных, которых советская власть почему-то переименовала из остяков в национальность ханты. Таня-Маремьяна с мужем Ваней жили оседло, среди русских чалдонов, и занимались рыболовством в местной артели. На вопрос, почему она еще и Маремьяна, Таня ответила, что не знает, потому что поп крестил, да пьяный был. Ваня согласно закивал, словно был свидетелем на крестинах собственной жены. Потом Ваня намекнул, что с приезжих причитается «со знакомством». Хозяйка Татьяна Васильевна посоветовала соседей не приваживать, потому что они «попивают». Ваня возмутился и заявил, что пришли они от чистого сердца и не пустые. Он похлопал по грязной, лоснящейся от рыбьей чешуи, малице [3 - Малица – мужская одежда ненцев и части хантов и коми (оленоводоv), длинная без разреза рубаха с капюшоном из оленьих шкур мехом внутрь. – Ред.] и достал из-за пазухи извивающуюся живую стерлядку.

– Ну, – сказала хозяйка, – Ваня с дарами пришел. Придется тебе, Даниловна, уху варить и подносить Ване «со знакомством».

Соседи быстро развеселились, Ваня пел, а Таня-Маремьяна танцевала остяцкий – он же хантский – танец. Хозяйка нас остерегла, что прерывать их нельзя, а то они обидятся. Таня танцевала долго, потом к ней присоединился еще и

трехгодовалый Ваня-младший. Ваня-старший дал отхлебнуть из своей рюмки Ване-младшему и веселье возобновилось. Поздно вечером довольные соседи повели нас в свой дом. На почерневших от копоти бревенчатых стенах висели рыболовные снасти: переметы, самоловы, остроги и прочее. Никакой мебели не было, потому что все спали на печи, а ели на полу. Впрочем, пола тоже не было – под ногами хрустел толстый слой всякого мусора и рыбьих костей. По всему видно было, что хозяева от юрты отказались, а к избе не привыкли. Со стены, рядом с острогами и сетями, Ване и Тане улыбались наш старый знакомый Вячеслав Михайлович и герр Рибентроп, германский министр иностранных дел. Как раз, в нынешнем, сороковом году они здорово подружились и сфотографировались на память для журнала «Огонек».

Наступила осень, и все в деревне готовились к зимовке: утепляли оконные рамы, поправляли завалинки, конопатили стайки для скотины, чтоб не дуло зимой коровам, пороссятам и курам. По сибирскому обычаю жилой дом и скотный двор помещались под одной крышей – так сподручнее ухаживать за скотиной, а в лихую погоду можно неделями отсиживаться от вьюг и морозов. В таком доме, как в крепости!

Цынгалы – это десятка четыре потемневших от непогоды бревенчатых крепостей, рассыпанных на полоске земли между берегом Иртыша и тайгой. Плюс – сельповский магазинчик, плюс – аккуратная часовенка, плюс – длинная изба-пятистенка – Цынгалинская неполная средняя школа. Вот, кажется, и все. Пароходы здесь пристают редко – только, когда запасаются дровами. Электричества нет. Почту сбрасывают с пароходов на ходу. До ледостава всякая связь с внешним миром прекращается. Когда лед окрепнет, по Иртышу накатывают санную дорогу, и по ней от Омска и Тобольска тянутся обозы и мчится почта. Такую почту называют «веревочка», потому что обозы в пути вытягиваются на узкой санной дороге в длинную цепочку. Через деревеньки и села почта проскакивает со звоном колокольчиков, лихим гиканьем и свистом, а потом снова вытягивается в «веревочку» на белых просторах замерзшей реки. Цынгалинские школьники все знали и понимали про «колокольчик однозвучный» и про «глушь и снег навстречу мне». Знали не по книжкам, а по жизни. Так было при Пушкине, так было при двоюродном моем деде, лошадишке Евграфе, так было и при нас, в одна тысяча девятьсот сороковом году.

Роньжа

Ближе к первому сентября в Цынгалы стала съезжаться местная интеллигенция. Однажды, когда я шел мимо школы, меня окликнул с лестницы толстый человек в перепачканной известью ситцевой рубахе.

– Ты ученик? – спросил он меня.

Я сказал, что ученик.

– Тогда лезь ко мне! – и толстяк стал карабкаться на крышу.

Я полез за ним. Когда мы добрались до конька, толстяк отдышался и объявил: «Считай, что у нас сейчас урок труда – будем трубу белить!» Это был преподаватель истории и географии Григорий Григорьевич Григорьев, а сокращенно – Гри-Гри. Утром я проснулся оттого, что кто-то с улицы меня негромко окликает: «Ученик! Эй, ученик!» Под окном опять стоял Гри-Гри в старом ватнике и с берестяным коробом за плечами. Из окна выглянула мать, и историк церемонно поклонился. Они познакомились, и я получил разрешение на совместную с Гри-Гри ознакомительную прогулку.

Прогулка началась с того, что мы набрали полный короб спелой черемухи. Лазал по деревьям я, потому что Гри-Гри мешала полнота. Потом он отдыхал на пеньке, а я ел малину. Увлеченный этим приятным делом, я не сразу почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Из сумрака кустов уставились на меня два блестящих глаза. Мы долго смотрели друг на друга – два глаза и я. Потом я отступил, и под ногой хрустнула ветка. Надо мной вдруг выросло что-то огромное и мохнатое. Мохнатое заревело, открывая розовую пасть. И тут же я услышал голос Гри-Гри. Он громко кричал нехорошие слова, которые мне запрещено было произносить. Мохнатое отступило, не то застонало, не то захрюкало и кинулось прочь, ломая кусты. Гри-Гри даже не слез с пенька.

– Ты матери не говори, что я тут ругался, – попросил Гри-Гри, – медведи, видишь ли, матерщины боятся!

– Это был медведь? – испугался я.

Историк равнодушно кивнул.

От малинника в лес тянулась желтая полоска чего-то жидкого.

– Это его от страха медвежья болезнь прихватила, – пояснил Гри-Гри, – а пошли-ка на Чугас-гору! Там интересно!

С Чугас-горы видно было, как извивается Иртыш и теряется в бесконечности лесов, как плывут по нему словно из спичек связанные плоты и одиночные, совсем игрушечные, лодки. Но интереснее всего было у подножия Чугаса, на остяцком кладбище. Остяки здесь зарывали своих покойников, а на могилах оставляли все необходимое для будущей загробной жизни. У могил на деревьях висели рыболовные снасти, полуистлевшие звериные шкуры и малицы. Лежали проржавевшие ножи, наконечники копей и острог. И даже старинное кремневое ружье лежало! Чуть ли не времен Ермака! Были здесь и женские бусы, ожерелья, посуда... Здешние жители – и остяки, и русские никогда ничего не трогали на этом кладбище. Даже мальчишки! Гри-Гри рассказывал, как жили эти люди. Как они

охотились и ловили рыбу, во что верили и как храбро защищались от казаков Ермака. Он бегал среди могил, размахивал руками и наглядно изображал, как и что происходило много лет назад. В эти минуты он совсем не казался толстым и смешным.

Началась учеба. Директор Трофим Моисеевич произнес речь о пользе учения, о том, как нас всех любит дорогой товарищ Сталин, и еще о том, что бродяжничать в тайге без спроса, да еще целыми неделями, нехорошо – Сталин нас за это не похвалит. При этом директор поглядывал на задние ряды, где обосновались ребята ханты и манси. Как рассказывал Гри-Гри, эти ребята имели обыкновение сбегать на охоту или рыбалку в процессе обучения, прямо с урока, иногда даже через окно. «Особенно, с уроков истории», – огорчился Гри-Гри.

Потом директор обратился к новичкам. Он назвал мою фамилию и сообщил, что я приехал с Дальнего Востока, где наши пограничники ежедневно бьют японских самураев. Все головы повернулись ко мне. Я встал и сказал, что видел одного японца, и он погрозил мне кулаком. «Молодец, Мельников!» – почему-то похвалил меня директор. Знал бы я, к чему это приведет!

На каждой перемене меня обступали ребята и требовали всяких боевых подробностей. Чтобы их не огорчать, я эти подробности выдумывал. Тогда они стали требовать продолжения. Наступили для меня тяжелые времена. Каждый раз, собираясь в школу, я мучительно вспоминал, что врал накануне. Я должен был держать в голове кучу выдуманных мною подробностей и продолжений, чтобы меня не уличили. Кроме того, мне тут же прилепили прозвище «самурай»! Оно держалось до тех пор, пока ко мне не привыкли.

В своей торжественной речи Трофим Моисеевич особо обратился к группе совсем взрослых девчат и парней. У одного даже были усы. Новички приехали из дальнего лесного урочища и говорили, как моя подружка Верка, на «мове». Но Верка была «голодающая», а новички были спецпереселенцы. Новички в школе никогда не учились и теперь должны были начать с первого или второго класса. Директор сказал, что он за них поручился и что «сын за отца не ответчик».

В их спецпоселение ездила мать по поручению директора, а меня взяла с собой. Это был самый настоящий украинский хутор, как у Гоголя! Хутор стоял в глухом урмане [4 - Урман (тюрк.) – темнохвойный лес (пихта, сосна кедровая, ель). – Ред.], на расчищенном от деревьев пятатке. На этом пятатке лепились беленькие хатки, их окружали плетни, на плетнях – глиняные горшки, а за плетнями – подсолнухи. Живя в лесу, переселенцы бревенчатых домов не строили, а лепили глинобитные хаты, как делали их деды-прадеды на теплой степной Украине. А еще глубже в тайге жили какие-то молокане. Они всех сторонились и детей в школу не пускали. Год назад к молоканам прибыли малиновые для установления личностей. Но молокане заперлись все в одной избе, а избу подожгли.

Выспрашивать, кто ты, откуда и почему здесь объявился, в наших краях было не принято. Все друг о друге, конечно, узнавали, но не сразу, а постепенно. Вот Роньжу, например, аж из самой Москвы завела в Цынгалы большая любовь. Все это знали. Про это рассказала сама переполненная чувствами Роньжа случайной попутчице, с которой они вместе плыли на пароходе «Третий Интернационал». Роньжа и думать забыла про этот разговор, но попутчицей оказалась фельдшерица из соседней деревеньки со смешным названием Семейка. Семейкинская фельдшерица тут же рассказала все бакенщику, который перевозил ее с парохода на берег. А бакенщик, как известно, зажигает сигнальные огни по всему фарватеру. И получилось, что, когда Роньжа прибыла в Цынгалы, про ее любовь знали все, даже Таня-Маремьяна и Ваня-маленький. Сама виновата! Не откровенничай с первым встречным – это тебе не Москва!

Теперь нужно, наверное, объяснить слово «роньжа»? В Сибири есть такая птица – кедровка, но, по-местному, она называется роньжа. Она рыженькая, вертлявая и у нее над круглыми глазками тоненькие, словно рисованные, бровки. Наша Лидия Андреевна была вылитая роньжа. Цынгалинцы не понимали, почему в Москве нарисованные брови считаются лучше настоящих. В той же самой Москве, по слухам, началась и непостижимая для цынгалинцев любовь Роньжи и Вадим Вадимыча. Роньжа преподавала русский, а Вадим – рисование и пение. Непонятно было, отчего видный, здоровый мужик занимается такими пустяками. Но потом все привыкли и поняли: Роньжа – большая выдумщица. Она выдумала себе жизнь и Вадимыча тоже выдумала. Выяснилось, что Вадим умом не отличался, рисовать не умел и петь тоже. В прошлой московской жизни он был скромным школьным завхозом, а Роньжа полюбила его за то, что в профиль он был похож на Печорина и Онегина одновременно, не говоря уж о его имени: Вадим!

Поначалу столичные коллеги Лидии Андреевны с пониманием отнеслись к этому роману, но нарушился учебный процесс: Лидия Андреевна на уроках языка и литературы говорила только о Вадиме, сравнивала его то с Печальным Демонем, то почему-то с Павкой Корчагиным и перечисляла всенародно его милые домашние привычки и склонности. Состоялся педсовет. Влюбленной деликатно намекнули, что она ведет себя непедагогично. Роньжа вспылила, заявила в ответ, что «рожденные ползать летать не могут» и что ей чужды предрассудки, а с Вадимом она готова уехать от всей этой пошлости «на край света». После этого Роньжа и уплыла в Цынгалы, прихватив с собой Вадима.

И вот, теперь ветреными сибирскими вечерами Вадим покорно гуляет с Роньжей по берегу Иртыша, а она непрерывно читает ему стихи. Еще она попробовала сделать из Вадима смелого добытчика, как в книгах Джека Лондона, и велела ему заняться рыбной ловлей. За известное вознаграждение Ваня-старший соорудил Вадиму отличный перемет на пятнадцать крючков. В тот же день мальчишки нашли Вадима на берегу Иртыша. Он бился, запутавшись в леске, а в разные места одежды и тела впились крючки. Хуже всего было то, что один крючок зацепился за мочку уха. Так, на крючке, его и вели мальчишки через всю деревню к Устинье Гавриловне.

Гавриловна была высокая, худая и суровая старуха. Она размашисто вышагивала по деревне с видом хозяйки. Да она и была здесь, в Цынгалах, подлинной хозяйкой. За отсутствием попа, сосланного куда-то в Салехард, она служила в часовне, крестила и отпевала цынгалинцев, а также оказывала первую медицинскую помощь. На чердаке у нее уже много лет стоял гроб, заботливо приготовленный на случай собственной кончины. Но окончательно помирать она, вроде бы, не собиралась и пока хранила в гробу березовые веники. Осмотрев ухо, Устинья Гавриловна принялась точить сапожный нож, потом она наклонила вадимову голову над тарелкой и он испугано задергался. Тогда Гавриловна схватила его за ухо, обмакнула нож в водку и резанула мочку – о тарелку звякнул выпавший крючок. Гавриловна орудовала спокойно и привычно. С нашими ребятами на рыбалке такое случалось не раз.

Когда начались школьные занятия и приехали ребята-спецпереселенцы, в классах стало тесно. Учителя долго обсуждали, как нас всех теперь размещать. И получалось, что есть только одно подходящее место – часовня. Никто, конечно, не решался говорить об этом с Гавриловной. Боялись еще и, как говорил директор Трофим Моисеевич, «нежелательных последствий». Народ здесь ненадежный, ссыльно-каторжный, да и от местных всего можно было ожидать. Подумали и решили вызвать кого-нибудь из малиновых. Приехал малиновый, собрал учителей.

– А какой тут вопрос, товарищи? – удивился он. – С утра будем ломать.

– Как ломать? – сказал Гри-Гри, – нам нужно помещение для школы!..

– Да вы поймите, – рассердился малиновый, – это же такой удобный случай ликвидировать последнюю церковь в районе!

– А школа? – снова спросил Гри-Гри.

– Проведем разъяснительную работу, – упрямо решил малиновый.

С утра к часовне согнали школьников, притащились плачущие старухи и мрачные учителя. Малиновый уже приготовился говорить разъяснительную речь. Но в это время в конце улицы появилась Устинья Гавриловна с лучковой пилой и веревкой. Она прошагала мимо примолкших цынгалинцев и взобралась на крышу, аккуратно обмотала крест веревкой и принялась пилить. Она пилила долго под всхлипывание старух, и, наконец, крест повис на веревках и медленно пополз к земле. Здесь Устинья Гавриловна взвалила его на спину и медленно пошла прочь по грязной деревенской улице. «Как Иисус, наша Гавриловна», – сказал кто-то громко в толпе. И больше никто ничего не говорил, а все только смотрели ей вслед.

Лед на Иртыше давно уже окреп, и пришла пора добывать налима. Мы с Николай Степанычем прорубили пешней лунки и принялись поднимать переметы. Налимы сначала извивались на крючках, а потом застывали и каменели. Они падали в мешок с деревянным стуком – на реке было очень холодно и ветрено. По льду шли двое с котомками за спиной, в красноармейских шинелях и ботинках с обмотками. Лица они кутали в какое-то тряпье.

– Вы чьи, ребята? – окликнул их Николай Степаныч.

– Реполовские! – отозвался один.

– Откуда чапаете? – спросил Степаныч.

– Из Тобольска!

– Откуда? – переспросил он.

Степаныч позвал красноармейцев погреться и похлебать налимьей ухи. Прохожие оттаяли и разговорились. Идут они после демобилизации с финской войны. Попали в осеннюю распутицу и теперь вот, после ледостава, решили добираться домой на своих двоих. – Полтыщи верст! – всплеснула руками хозяйка Татьяна Васильевна и кинулась подливать гостям.

Они рассказывали такое, про что в нашей газете «Сталинская трибуна» ни слова не написано. Говорили они, что наших в войне полегло многие тысячи, а еще больше померзло в лесах и погигло безымянно и безвестно. Потом они показали нам цветные, красивые открытки из Финляндии. Там были снега и леса, очень похожие на наши, а вот дома были другие – веселенькие и чистенькие.

– И вот эдак-то люди там и живут? – охала Татьяна Васильевна. – А мы в дерьме маемся!

Николай Степаныч вдруг стал серьезным:

– Вот что, ребята, – сказал он, – вы отогрелись, отдохнули и айда домой, в Реполово. И лишнего не болтайте. Счастливо!

Зимняя жизнь в Цынгалах была однообразная и на новости скупая. Раз или два в месяц приходили с «веревочкой» письма и газета «Сталинская трибуна» величиной с развернутый тетрадный листок. В газете перечислялись имена

разных победивших передовиков и стахановцев, а также обязательства других передовиков работать еще лучше. Мать, конечно, ждала хоть каких-нибудь вестей от отца, но вестей не было.

Роньжа затеяла поставить в школе спектакль – пьесу Лермонтова «Маскарад». Учителя оживились. Роньжа назначила себя режиссером и с выражением прочитала пьесу. Для начала, она сыграла за всех: и за Арбенина, и за князя Звездича, и за Шприха, и за баронессу Штраль. На роль Нины она назначила себя, а на роль Арбенина, конечно, Вадима. Плясать на балу, обниматься и целоваться с мужчинами мать отказалась наотрез, и ее определили в суфлеры. На роль князя Звездича назначили молодого математика Александра Ильича – он подходил по возрасту и у него был черный пиджак, который можно было выдать за фрак. Затруднения возникли с Гри-Гри, потому что на него ничего невозможно было натянуть, кроме его собственной ситцевой косоворотки. Решено было подумать и поискать по домам. Спор возник также из-за роли Шприха. Роньжа предложила сделать Шприхом учителя физкультуры, недавно высланного к нам из Ленинграда.

Ихо Тойвович был финн по национальности, а в финскую войну таких из Ленинграда высылали. Говорил Ихо с очень сильным финским акцентом. Роньжа заявила, что нам просто повезло – Шприх, как раз, и может говорить с акцентом. Это очень украсит роль. Стали выяснять, с каким именно акцентом должен был говорить Шприх. У Лермонтова Шприха зовут Адам – стало быть, он поляк. Но, по словам того же Лермонтова, он мог оказаться и евреем. Решили сохранить у Ихо финский акцент, тем более что он по-другому говорить и не умел.

Спектаклем заинтересовался Вася-партизан. Он бесплатно притащил в школу здоровую жестянку с керосином и теперь репетиции шли до поздней ночи. Учителя жаловались на чрезмерную требовательность Роньжи – то и дело она кричала на своих коллег «не верю!», почти как настоящий Станиславский.

Спектакль назначили после нового, сорок первого, года и ближе к Рождеству, чтобы заодно отвлечь цынгалинцев от чрезмерного пьянства и вредной привычки колядовать. Прежде такого за цынгалинцами не водилось, но переселенные сюда хохлы перетаскивали с собой и обычай колядовать. Жители натягивали вывороченные вверх овчиной шубы, мазались сажей и ходили из дома в дом. Ребятишки с нетерпением ждали колядок, а взрослые – с некоторой тревогой. Иногда ряженые вели себя мирно – плясали и пели, а иногда буянили и требовали выпивки. Были и такие, кто говорил всякие дерзости нелюбимым соседям. Колядок остерегались малиновые, потому что под маской, да еще в подпитии много чего говорилось лишнего.

И вот, настал день, когда в самом большом классе сколотили подмостки и повесили занавес. Вася-партизан керосина не пожалел – было очень светло и жарко от натопленных печей. В школу набились стар и млад. Хоть артисты и говорили стихами, но зрители все поняли и очень переживали. Таня-Маремьяна плакала в голос, когда Нина-Роньжа ела отравленное мороженое. На самом деле, Роньжа ела из рюмки ложечкой обыкновенный снег и потом подхватила ангину. Вадим-Арбенин показывал зрителям свой профиль и сердито кричал на Роньжу: «Послушай, Нина, я рожден с душой кипучею, как лава!» Ему тоже все очень сочувствовали, а прежде над ним смеялись.

В Цынгалах наступила полоса везенья – прошел слух, что «по кольцу» к нам приближается кинопередвижка и скоро мы посмотрим кино. Какая будет картина – неважно. Нас репертуаром не баловали. Кино было немое, потому что электричества в Цынгалах не было. Для таких глухих точек, как наша, к обычным звуковым копиям изготавливали еще и надписи. Киномеханик читал зрителям вслух эти надписи, а мальчишки по очереди крутили ручку динамики. После каждой части – перезарядка. Пока мальчишки сменялись и отдыхали, зрители спрашивали у киномеханика про непонятные или пропущенные из-за бесконечных склеек места, а механик разъяснял, как умел, содержание.

Все бы ничего, но где-то в районе лучшие кинокартины припрятывали, а нам, в глушь, присылали, в основном, фильмы-оперы: «Запорожец за Дунаем» или «Наталка-Полтавка». Поскольку в опере главное – музыка, из фильмов для краткости удаляли и надписи. Смотреть, как запорожцы долго и беззвучно разевают рты, было скучновато, но ничего, терпимо. Ведь можно разглядывать еще декорации, сабли и жупаны, а механик, в конце концов, все объяснит и растолкует. Однажды нам показывали грузинский фильм «Арсен из Марабды». Это был необыкновенный, красивый фильм со стрельбой и скачками. И все происходило в высоких, скалистых горах. И люди были тоже необыкновенно красивые и смелые. В перерыве между частями я пробрался поближе к экрану. Я никогда не видел его так близко. Это была обыкновенная белая тряпка. Я, конечно, это знал, но все же отогнул угол полотнища. Я увидел там обшарпанную стену нашего класса и больше ничего – ни горной сказочной страны, ни гордых всадников... Мне было очень грустно.

Роньже понравилось быть режиссером, и она решила организовать концерт с участием теперь уже не учителей, а учеников. Я должен был изобразить в «злободневном скетче» злющего польского помещика, который всячески угнетает батрачку из западной Украины. Но в самый драматический момент появляется Красная армия и батрачку освобождает. Освобожденных украинцев играли настоящие украинцы, только ссыльные, из лесного хутора. Одетые в дедовские свитки и шаровары, они кричали «хай живэ», а дивчины размахивали платочками, сохранившимися со

времен их прежней жизни. Батрачка преподнесла красноармейцу хлеб-соль на красивом рушнике, который тоже был расшит еще до ссылки. Роньжа была довольна: все было очень убедительно – почти как в опере «Запорожец за Дунаем».

Если завтра война

В Цынгалах начиналось что-то похожее на весну. Появились и защebetали птички. На завалинках с солнечной стороны кое-где протаяла земля. На обсохших бугорках мальчишки пробовали играть в бабки и чижа. Потом просохли уже целые полянки – настало время футбола и лапты. Вася-партизан был главным футбольным болельщиком, но болел он по-своему. На всю деревню имелся единственный футбольный мяч. Покрышка еще ничего, а вот камера – латаная-перелатаная. «Эй, ребя, полегче!» – кричал Вася в самые острые голевые моменты.

И вот, вскрылся Иртыш – все стали ждать путины. У сельповского крыльца народ уже загодя занимал очередь на товары, которых еще не привезли. По вечерам в очереди бабы перекликались и отмечались. Было весело. Играла гармошка. Бабы перемывали друг другу косточки. Ребята и девчата постарше кучковались и перешучивались отдельно. Когда подвалил потребсоюзский катер с баржой, нагруженной товарами, мужики бросились помогать с разгрузкой, а бабы выстроились в длинный хвост, приготовившись стоять в очереди всю ночь. Всем нравилось это стояние. По мере разгрузки, поступали противоречивые и заманчивые сведения о товарах. Серьезный, загадочный Вася-партизан прохаживался вдоль очереди, как генерал перед войском. Настал главный Васин день!

Цынгалинцы бойко раскупали товары. Брали не то, что нужно, а что кому досталось. Главным и дефицитным товаром была мануфактура, то есть ткани. Вася заказывал ткани в районе на свой вкус. Уже через неделю женщины в деревне красовались в одинаковых платьях, а мужчины в одинаковых рубашках Васиных любимых расцветок. Материнский «Зингер» крутился изо всех сил, превращая мануфактуру в штаны и рубашки. У матери начались тяжелые дни, но отказать соседям было невозможно.

Пришло, наконец, и Первое мая с гармошками, гулянками и гостеваниями. В одном конце деревни кричал новый патефон Николая Степаныча, а в другом – Васи-партизана. Присутствие патефона в доме означало, что живут здесь основательные, обеспеченные хозяева.

– Броня крепка, и танки наши быстры! – гремело в доме кладовщика Симонова.

– И кто его знает, на что намекает? – откликнулся патефон продавца.

Мы с матерью строили планы на лето. В учительские каникулы мы решили ехать в самую Москву и добиваться приема у Всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина. Ходили в народе слухи, что он человек добрый и справедливый. Уж он-то разберется и выручит нашего ни в чем неповинного отца! Оставалось только ждать парохода «Карл Либкнехт». Он зимовал в Салехарде и ожидался первым пассажирским в сезоне.

Сесть на пароход в Цынгалах было делом не простым. Уже за несколько дней до отъезда мы постоянно ждали далекого гудка – не приближается ли «Карл Либкнехт»? Во всех прибрежных деревнях обычно узнавали пароходы по голосу. Заслышав знакомый гудок, нужно было заранее погрузиться в лодку и ждать. По маневрам приближающегося парохода следовало угадать, пристанет ли он на правом берегу и будет запастись дровами или причалит на левом – в Цынгалах. Чаще всего пароход шел просто по фарватеру, чуть замедлив ход. Тогда его нужно было вовремя перехватить, причалить и перегружаться на ходу. У нас операцией руководил сам Николай Степаныч и посадка прошла благополучно.

На пароходе мы оказались в совсем другом, красивом и шумном, мире. По белым палубам прогуливались нарядные красивые женщины и веселые мужчины в светлых костюмах. Гремела радиоло. Это ехали с Севера на отдых в теплые края счастливые, денежные отпускники. Даже мы с матерью не ютились на дровах, а спали на чистых простынях в третьем классе. Веселое путешествие продолжалось недолго. Где-то под Тобольском радиоло смолкла, и мы услышали голос нашего старого знакомого Вячеслав Михалыча Молотова. Началась война. Все на пароходе как-то поскущнели, нахохлились и молча слушали громкоговоритель.

Теперь пароход причаливал у каждой пристани и на белые палубы, под крики команд и гром оркестров, поднимались мобилизованные. Когда пароход отходил, вдоль берега долго, до потери сил, бежали бабы, старики и ребяташки, а потом, отдаляясь, неподвижно застывали в безнадежности. Объявлено было, что пароход пойдет по особому расписанию. Желаящим ехать в сторону Омска и железнодорожной магистрали следовало высадиться и оформлять специальные пропуска согласно законам военного времени. Особое расписание на деле обернулось тем, что «Карл Либкнехт» пошел снова на север, чтобы подбирать по деревням и пристаням людей, еще не охваченных мобилизацией. Никакого спецпропуска у нас, конечно, не было. Мать сказала, что теперь мы с «Карлом Либкнехтом» попутчики и взяла билеты на обратную дорогу. В дороге мобилизованным выдавали какие-то сухие пайки, а нам этого не полагалось. Ресторанная буфетчица нас пожалела и продала нам засохший пирог с рисом. Пять дней мы ели этот довоенный пирог, пока не оказались снова в Цынгалах. На этом путешествие и закончилось.

Цынгалы заметно опустели: взяли на фронт Гри-Гри, Вадима, Николай Степаныча и многих, многих других.

Пришла беда – отворай ворота! Сибиряки привыкли к весенним половодьям, но на этот раз Иртыш залил все огороды, вода пришла даже в поле, с трудом отвоеванное цынга-линцами у тайги, и теперь все прибывала. Как жить без мужиков, с разоренными огородами, без корма для скота? Такого бедствия не могла припомнить даже Устинья Гавриловна. По ее совету решили насыпать вал вдоль берега Иртыша.

Работали стар и млад, днем и ночью – при свете костров. Таскали землю на носилках, в ведрах, корзинах, а женщины, бывало, и в подоллах. Приходила Гавриловна с шестом, измеряла вал, говорила: «ишшо», и работа продолжалась. Мы не ходили, а ползали от усталости вдоль этого проклятого вала. Гавриловну поносили ведьмой и старой дурой – ну возможно ли с бабами да ребятишками устоять против такой реки! Но однажды ранним утром пришла Гавриловна с шестом и велела отправляться по домам – отсыпаться. «Выше не пойдет!» – объявила Устинья. И действительно – выше вода не поднялась, а стала понемногу отступать. Открылись затянутые илом неживые грядки, разверзлись воронки на месте хозяйственных построек. Люди принялись обустраивать свою землю и добро. Готовиться к суровой военной зиме.

С началом ледостава всякая связь с миром, как всегда, надолго прервалась и возобновилась, только когда надежно окреп лед и накатали санную дорогу. С «веревочкой» пришла первая почта. В «Сталинской трибуне» были сводки Совинформбюро. Мы взяли школьную карту и принялись расставлять флажки, как в одном фильме про войну. Флажки у нас передвигались все время на восток. Пришел директор Трофим Моисеевич и карту у нас отобрал. «А как же учить географию?» – недоумевали мы. Пришло еще письмо-треугольник от Николая Степановича Симонова. Он написал из какой-то Коноши, что находится на переформировании. «Живой! Слава богу! Слава богу!» – обрадовалась наша хозяйка Татьяна Васильевна. Только потом оказалось, что Николай Степаныч уже давно убитый. И пошли с каждой «веревочкой» похоронки то в один двор, то в другой. По зимней уже дороге через нашу деревню в тайгу прошел длинный обоз. Из таежного поселка стали вывозить молодых спецпереселенцев на фронт «кровью смывать свои ошибки». Какие у них ошибки, никто не знал и спецпереселенцы тоже. «Ничего, потом разберемся», – пообещал сопровождавший обоз малиновый. Теперь похоронки пошли и к нам в Цынгалы, к свободно проживающим людям, и в поселок спецпереселенцев. Война всех сравняла!

Впрочем, не всех! Не всех она сравняла! Получилось так, что после гибели кладовщика Николая Степаныча никто кроме продавца Васи-партизана не знал, какие еще сохранились в сельпо довоенные товары, распроданы ли они или списаны Васей под наводнение и по всяким военным причинам. Хотели было вызвать ревизоров, но передумали – приедут чужаки и растащат последнее. Пусть уж лучше свой покомандует!

Так и стал Вася-партизан единственным полномочным хозяином в Цынгалах. Чем дольше длилась зима, тем быстрее исчезали всякие необходимые товары: соль, крупы, керосин... о муке и сахаре уж и не вспоминали. Жили при лучинах и в домах, и в школе. Вместо хлеба – лепешки из рыбной костяной муки, поджаренные на рыбьем жире. Каждое утро мы с Татьяной Васильевной выходили на Иртыш долбить проруби, проверять переметы и самолосы. Рыба, во всех видах, стала единственной едой. Надеяться было не на что и ждать помощи неоткуда. Кто вспомнит о каких-то Цынгалинских Юртах, когда идет такая война! Всеми силами старались уберечь скотину, сохранить ее до весны. С ивы и кустов понежнее скоблили кору, запаривали ее в кипятке и тем скотину кормили. Некоторые, например, Ваня-старший, даже коров пытались кормить рыбой. В сильные морозы телят и поросят затаскивали в избы и жили неделями вместе – люди и скот.

От такой жизни многие срывались. В халупе Вани-старшего взорвалась печка. Соседи решили узнать, кто по ночам ворует дрова из поленниц, и в одно полено подложили порох. Ваня сознался быстро и объяснил свой поступок просто: у вас вон сколько дров-то, а у меня совсем нет. Но с тех пор дров друг у друга в деревне никто не крал. Сложили Ване новую печку те же соседи – пожалели – не умеет Ваня сам печки класть. Пока печку клали, Ваня по-соседски переселился к нам. И стали мы жить, как в сказке про теремок: Татьяна Васильевна с дочерью Шуркой, мы с матерью, один теленок, три поросенка и все семейство Тани-Маремьяны.

На исходе зимы в деревне случилось несчастье – умерла жена Васи-партизана Зинаида. Зина была женщина тихая, болезненная, и Вася обратил на нее внимание, только когда она умерла. Вася очень горевал, казнил себя за такое равнодушие и решил устроить покойнице пышные похороны. Траурная процессия должна была пройти с еловыми венками в руках через всю деревню, аж до самого остяцкого кладбища. Потом предстояло подняться на Чугас-гору и там, на самой верхотуре, похоронить Зинаиду под печальную музыку. Вот как раз с печальной музыкой и возникли сложности. Духового оркестра в Цын-галах, конечно, не было, потому что не было никогда. Сперва решили хоронить Зинаиду под патефон, даже под два патефона для торжественности. Два паренька покрепче должны были возглавить процессию, неся перед собой патефоны. Однако выяснилось, что в деревне нет двух одинаковых пластинок. Могли, конечно, патефоны петь и одновременно, но только про разное. Вася от такого предложения отказался наотрез. И тогда вспомнили, что в школе есть собственный струнный оркестр.

Еще до войны Гри-Гри обучил Борьку Косоротова играть на старой пузатой мандолине, а я кое-как аккомпанировал ему на гитаре. В нашем репертуаре были только «Ох, вы, сени, мои сени» и «Располным-полна моя коробочка», но исполнять эту музыку на похоронах мы не решились. Был у нас еще военный репертуар, который мы

разучили самостоятельно – «Землянка» и «Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой». В одной говорилось, что «на поленьях смола, как слеза», а в другой, про чарочку, содержался прямой намек на поминки. Мелодии в этих песнях были лирические, то есть жалостливые, и с некоторой натяжкой их можно было считать похоронными.

Мы с Борькой возглавили процессию. За нами несли Зинаиду, после шел безутешный вдовец, а следом, утопая в весенних сугробах, пробиралась траурная вереница цынгалинцев с венками. Когда мы с Борькой грянули «Землянку», бабы, по обычаю, завывали, а Вася-партизан рыдал в голос. Шли мы долго. Руки от мороза заковенели, пальцы нас не слушались, и звуки мы издавали недоброкачественные. Когда мы поднялись на Чугас-гору, уже стемнело. Вася произнес хорошую речь о том, как он не уберег свою жену, и под песню «Налей, дружок, по чарочке» Зинаиду похоронили. Растроганный Вася нас благодарил, сказал, что век нас не забудет за нашу музыку, и позже слово свое сдержал.

На дверях селы висело объявление. Написано было красиво, с завитушками. Так умела писать только Роньжа. Все объявления про кино или школьный концерт Вася-партизан теперь поручал писать только ей. И вообще, с некоторых пор в Васе проснулась тяга к прекрасному. Он всегда сидел в первом ряду и первым начинал аплодировать по любому поводу. На этот раз объявление гласило:

Сегодня в школе концерт!

1. Артистка Ляля Белая споет популярные песни.
2. Встреча с фронтовиком тов. Зиновьевым Ф. И. из района.
3. Кинофильм «Свинарка и пастух».
4. Начало в семь часов. Просьба не опаздывать.

Какие там опоздания! Люди занимали места еще засветло. Народу было полным-полно. Первой выплыла Роньжа в новом платье с хвостом. Она представила артистку Лялю Белую. Ляля была худенькая, в обычном платье без хвоста и тащила на плече огромную сверкающую гармошку – аккордеон. Затем вышел Зиновьев Ф. И. из района. Он был лысоватый, в застиранной гимнастерке. На гимнастерке нашивки за ранения и новенькая медаль «За отвагу». Пустой рукав заправлен за ремень. Потом Ляля запела. Хоть на артистку она не была похожа, но голос у нее был какой-то теплый, задушевный, словно пела она не для толпы, а для каждого в отдельности – только для тебя и ни для кого другого. И пела-то она знакомые песни – ту же «Землянку» или «Огонек», но получалось что-то новое, ни на что не похожее и очень для каждого важное. Женщины, конечно, плакали. Вася-партизан плакал и одновременно аплодировал. Он вышел к артистке и преподнес ей большую копченую нельму и меховые рукавицы. Вася добавил, что такой артистке он до войны преподнес бы отрез на платье, но сейчас война и отрезвов нету.

Потом была встреча с фронтовиком Зиновьевым Ф. И. Он рассказал, что на фронте его отправили в разведку. Они с напарником добрались до первых немецких окопов и стали ждать, когда какой-нибудь подходящий немец отойдет в сторонку. Так его сподручнее было украсть для допроса. Ждали долго, до самого ужина. Один немец с котелком и ложкой сел на край окопа. Тут Зиновьев с напарником его схватили и утащили. Немец отбивался и никак не хотел отдавать котелок – наверное, с перепугу.

– Есть вопросы к товарищу Зиновьеву? – спросила Роньжа.

Тогда поднялся Ваня-старший и спросил, что было у немца в котелке на ужин?

– Это не суть важно! – прервала его Роньжа. – Пусть лучше товарищ расскажет, за что его наградили медалью «За отвагу»?

– Да вот, за это самое и наградили, – ответил фронтовик, – но, если по совести, наградить бы следовало напарника, только его убило.

– А рука где? – спросили из толпы.

– В пи... де! – зло выкрикнул Зиновьев Ф. И.

Роньжа поспешно зааплодировала. Ее поддержал Вася-партизан, а за ним и весь народ. Ведь все понимали, что человек с фронта и очень нервный.

После фильма я перетащил коробки девчонке-киномеханику Катьке и стал откреплять динамку. В это время подошел Вася-партизан и поманил меня пальцем. Мы пошли к нему в избу. Там сидела за столом Ляля Белая и, как обычный человек, хлебала уху. Здесь же была и Роньжа.

– Вот, этот и есть Виталий, – сказал Вася, – советую его с его другом Борькой Косоротовым.

– Серьезные, дисциплинированные ученики, – добавила от себя Роньжа, – активисты драмкружка, увлекаются литературой.

– А что нужно делать? – спросил я.

– Грести! Веслами! – пояснил Вася. – А за это тебе полкило масла и кило сахара! Приварок твой!

– Позвольте, – остановила его Роньжа, – я сейчас все объясню понятнее, Виталий! Вся страна напрягает силы, чтобы разбить подлого врага! В нашем районе решено создать специальную агитбригаду, чтобы агитировать население и тем помогать фронту! В бригаду войдут артистка Ляля Белая, киномеханик Катя и Федор Иванович Зиновьев из района, но, обрати внимание: Катя и Ляля – женщины, а Федор Иванович без руки.

– Грести надо! – повторил Вася-партизан.
– И не только грести! – подхватила Роньжа. – Вам с Борисом будут поручены драматические роли!
– Виталий успешно справился с ролью польского пана, – обратилась Роньжа к артистке, – а Борис убедительно сыграл красноармейца. А злободневный скетч мы освежим!
– Ну, вот и договорились, – завершил беседу Вася-партизан.

На лодке-ангарке с Катькиной кинопередвижкой и Лялиным аккордеоном мы должны были плыть вниз по Иртышу от селения к селению и крутить там «Свинарку». Ф. И. Зиновьев будет рассказывать про свои подвиги, а Ляля Белая петь песни. Кстати, выяснилось, что Ляля Белая никакая не Белая, а просто Ольга Сергеевна Корешкова. А псевдоним Белая она взяла потому, что в Госконцерте уже есть известная артистка Ляля Черная.

– А зачем тогда псевдоним? – спросил я.
– А по глупости, – сказала Ольга и рассмеялась.

Агитбригада «Бей врага»

Перед самым отплытием прибежала запыхавшаяся Роньжа, принесла «освеженный» скетч и рулон собственной рукою нарисованных афиш. Согласно тексту скетча, я теперь должен был вместо злого польского пана изображать мальчишку-партизана, который ловко обманывает тупого немецкого офицера и, в конце концов, берет его в плен. Борька будет играть уже не красноармейца, а немца. На Роньжиной афише старательно был изображен большой красивый партизан и маленький скрюченный фашистик темно-зеленого цвета.

Мы с Борькой бодро взялись за весла. Берег отдалялся очень медленно. Над нами клубилась туча комаров. Они жрали нас беспрепятственно, потому что руки были заняты веслами. Катька обмахивала нас косынкой, но скоро устала. Дальний поворот реки все не приближался. Мы с Борькой разозлились и поднажали. Поднажали и вспотели. Тогда комары заинтересовались нами еще больше. На ладонях вспучились волдыри, руки дрожали, а поворот был все там же. «Вот что, ребята, – сказал Федор Иванович, – так не пойдет дело! День еще начинается, а вы уже скисли. Нужен порядок!» И Федор навел порядок: работать веслами – один час. Потом плыть по течению, самотеком и отдыхать – полчаса. Если нужно по нужде, приставать к берегу без всяких стеснений и ломаний – дело обыкновенное. Если что добудем из съестного или добрые люди дадут – все в общий котел. «Кто – «за»?» Федор поднял единственную руку. Все проголосовали «за».

– Теперь, чтоб не забыть, сразу сообщаю, что я назначен при вас для охраны. Места здесь такие, что и дезертиры попадают, и всякое другое, а я все-таки милиционер, хоть и однорукий. Служил в органах до ранения, – Федор достал из-за пазухи кисет, а потом револьвер, завернутый в большой носовой платок. – Вы не пугайтесь. Штатное оружие. Положено по службе.

Дальше мы долго плыли молча. Уже стало темнеть, и на далеком берегу замерцал огонек.

– Деревня Слушка! Население – три двора! – объявил Федор.

На берегу нас поджидало все население: девять взрослых и три бесштаных пацана. Горел костер, и в котле что-то варилось.

– Ну, как там война? – крикнул мужик еще издалека. – Не победили ишшо?

– Нет пока что, – откликнулся Федор.

– А мы вас завидели и уху сварганили, – сказала молодуха. – Милости просим!

Мужики за*ensored*ли штаны и взялись вытаскивать нашу ангарку на берег.

– А это у вас что? – спросил первый мужик.

– Кино вам будем показывать, – ответила Катерина.

– Кино? – поразился мужик. – Мы такого здесь и не видавали!

На самой большой в Слушке простыне мы готовились показать «Свинарку и пастуха». Народ принарядился, на пацанов надели штаны. Все с уважением разглядывали Катькину аппаратуру.

– Да вы не туда глядите! На простыню глядите, – посоветовала Катька.

По простыне поплыли высокие столичные дома, нарядные люди и сверкающие автомобили. Зрители глядели, не шелохнувшись, и даже не сразу поняли, что следить нужно за свинаркой и пастухом. А уж когда поняли, заволновались, стали за них переживать. Фильм был, как всегда, немой, свинарка и пастух пели, беззвучно разевая рты, но все сразу догадались, что они скоро поженятся.

После кино был общий ужин. Главный мужик рассказал нам, отчего деревня так называется.

– У моего деда была привычка, к каждому слову он прибавлял «слушай-ка». «Слуш-ка, парень, подмогни! Слуш-ка, жана, тащи обед!» Дед мой был известный в округе человек. Вот он уже помер, а место наше и по сей день зовется «Слушка», – рассказывал он. – Напечатали тут недавно карту, все на ней есть – и Салехард, и Ханты-Мансийск! А пониже – точка и под ней написано: «дер. Слушка!» Вот как мы прославились, – похвастался мужик.

На столе появилась четвертая бутылка с чем-то мутным. Все выпили за Слушку. И мы с Борькой тоже выпили для компании. Мне вдруг стало весело, хорошо, все мне стали нравиться – и лысый однорукий Федор, и разговорчивый мужик, и пацанята. Особенно мне понравились молодуха и Ольга, которые пели вдвоем старинные сибирские песни, а Федор старательно гудел – подпевал им басом. Пели они про то, про что всегда поют подвыпившие сибиряки – про бродягу, который Байкал переехал, и еще про то, что «жена найдет себе другого, а мать сыночка – никогда». Нас поместили в избу, самую новую из трех, и мы спали на полу вповалку. Только Ольгу, из уважения, положили на печке.

Ранним утром мы взялись за весла. День был солнечный, дул легкий ветерок, и комары не приставали. Хозяева смазали наши волдыри салом и натянули брезентовые рыбацкие рукавицы. Приветливая деревня Слушка постепенно удалялась и растаяла в тумане.

Когда солнце поднялось выше, Ольга, по городской привычке, устроилась загорать. Катька, девчонка деревенская, загорать стеснялась и только приоткрыла чуть выше колен свои белые ноги.

– Вы бы, девки, не заголялись особенно-то, – сказал Федор, – плывем к спецпоселку Урманному.

– Ну и что? – спросила Катька.

– А здесь молокане живут. У них строго. Нагляделся я на них еще на милицейской службе.

И Федор рассказал нам про молокан, что народ чистый, трудолюбивый, не курит, не пьет. Собираются – молятся, поют, а про что поют и во что верят, никто толком не знает. Но люди работающие и непьющие!

– Я бы пол-России к молоканам отослал, на перевоспитание! – заключил Федор.

Урман – это, по-сибирски, непроходимая чащоба. Так, наверное, было, пока не выслали сюда молокан. Теперь здесь вдоль берега выстроенные ровной цепочкой сложенные из толстых бревен ладные дома, а вокруг каждого дома – высокий заплот [5 - Заплот – глухой забор. – Ред.], тоже из бревен, но заостренных сверху. В поселке не видно было ни души. Даже не лаяли собаки. Мы подтянули ангарку и пошли к ближайшему дому. Федор постучал в калитку. Тишина.

– Хозяева! – позвал Федор.

И снова ни звука.

– Есть кто живой? – спросила Катька.

И снова никто не откликнулся, только истошно трещали сороки. Они так всегда предупреждают о появлении чужаков.

– Откройте! Мы из района! – потребовал Федор.

Что-то шевельнулось, хрустнуло и в щели между бревнами блеснул чей-то глаз.

– Мы от властей! – настаивал Федор. Калитка отворилась, и перед нами предстал огромный седобородый старик в холщовой самотканой рубахе и штанах. В руке он держал топор. Старик долго разглядывал нас, и взгляд его остановился на Федоре.

– Это ты власть? – спросил старик.

– Ну, я, – подтвердил Федор.

– А рука твоя где? – усмехнулся старик.

Федор не стал отвечать про руку, как тогда в Цынга-лах, и промолчал.

– Всякая власть от дьявола! – поучительно сказал старик. – Дьявол дал – дьявол взял!

– Нельзя же так, товарищ! – возмутилась Ольга. – Мы – агитбригада. Кино вам хотели показать, а потом я вам спою.

Старик на Ольгу даже не взглянул.

– Ты же знаешь, начальник, что кина вашего мы не глядим. Если приказано казать, то вон сарай. Туда идите!

Мы пришли в сарай, предназначенный для молотбы. Пустой сарай, твердый, глинобитный пол, в углу составлены лавки.

– Вот здесь они и собираются, и поют про свое, – объяснил Федор.

Мы повесили на стену экран, расставили лавки и стали ждать. Никто не появлялся, только по-прежнему трещали сороки. Борька потел в самодельной немецкой форме, и у него расплылись рисованные усы.

– Ой! Мы же афиши не расклеили! – спохватилась Ольга.

Тогда мы с Борькой прилепили две афиши – одну на калитку старика, а другую у колодца. И снова стали ждать. В соломе возились мыши. Хотелось есть и пить. В дверях сарая возникла девчонка-подросток, в такой же холщовой рубахе, белом платке и лапоточках. Она поставила у наших ног деревянное долбленое корытце с горячими картошками.

– Ешьте, – сказала девчонка, повернулась и ушла.

Федор задумчиво поглядел на корытце.

– А ведь в этом корыте, – сказал Федор, – они картохи мнут для поросят.

Опять возникла девчонка, но уже с крынкой кислого молока.

– И пейте, – добавила она и ушла.

Так до вечера никто и не явился. Плыть дальше, на ночь глядя, нам было не с руки. Проситься здесь на ночевку – бесполезно. Хотели было переночевать в сарае, но женщины забоялись мышей.

И мы решили, из гордости, расположиться на ночлег прямо перед домом зловредного старика. Развели костер и просидели у огня до утра. За всю ночь никто к нам не подошел и даже не выглянул.

– Куда же они всех собак-то подевали? – удивлялся Федор.

Утром, когда мы грузились обратно в лодку, Федор обратился к безлюдному поселку Урманному.

– Ну, уж нет, – сказал он, – не буду я пол-России к вам, молоконам, отправлять на перевоспитание!

Впереди по курсу нас ожидало большое село Реполово. Много домов, пристань, лесопилка и красивая церковь без креста. В ней нас и поместили. Церковь здесь превратили в клуб. На месте царских врат соорудили сцену с настоящим занавесом. Над занавесом помещался лозунг со словами: «Все для фронта!». Отовсюду со стен на нас глядели святые и мученики. Первым пришел начальник лесопилки. Он был в кителе, сапогах и фуражке-«сталинке». Начальник поздоровался с нами за руку и долго рассматривал документы. У него были глазки-бусинки, длинный нос и маленький стерляжий круглый ротик. Точь-в-точь стерлядь, только в фуражке! «Ну, что же, товарищи, – сказал начальник, – располагайтесь, а я мобилизую население».

Народу в церкви собралось полным-полно. Над нашим скетчем про глупого фашиста все очень смеялись. Федор тоже не подкачал со своим рассказом. Ольга Сергеевна пела замечательно, и ее голос под сводами церкви звучал особенно красиво. Перед фильмом, когда мы возились с аппаратурой, нас обступили местные ребята и попросились крутить динамку. «А что нам за это будет?» – спросил Борька. Ребята наташили нам орешков, ароматной серы для жвачки, а один даже отдал мне рогатку с ценной красной резиной. Потом ребята по очереди крутили динамку, а мы, как свободные люди, сидели в зале, щелкали орешки и в который раз смотрели «Свинарку и пастуха». Все сложилось хорошо, кроме неприятностей с Федором Ивановичем и Борькой. После кино к нам за сцену пришел начальник лесопилки благодарить за «полезное мероприятие».

– Молодец, партизан! – сказал мне начальник и погладил меня по голове. – Так держать!

Потом он обратился к Федору Ивановичу с критикой:

– Про какие немецкие похлебки ты нам рассказываешь? Народ ждет подвигов, а ты чего плетешь?

– А ты на фронте был? – спросил Федор Иванович.

– Я пока на брони, но это не имеет значения! – ответила стерлядь.

– Тогда пошел ты на... – и Федор применил к начальнику нецензурное выражение. Поздно вечером Федор пришел мрачный и подвыпивший, чего с ним никогда не бывало. А в тот же вечер, когда Борька выскочил из церкви по нужде, его подкараулили местные ребята и с криками «бей фрица!» здорово отмолотили. Борька кричал, что у него такая роль, но его никто не слушал. Наутро у Борьки образовался синяк и заплыл глаз. Как ему дальше изображать немецкого офицера, было непонятно. Пришлось добавить в скетч слова с намеком на то, что офицер этот и раньше участвовал в рукопашных схватках с партизанами.

На следующий день нас прицепил катер и потащил ангарку в районный центр Самарово. Мы даже подстричься не успели в местной парикмахерской, нас сразу доставили в клуб рыбокомбината. Здесь нам поменяли «Свинарку» на другую картину под названием «Боевой киносборник номер шесть», сделали профилактику кинопроектору и выдали, согласно договоренности, по полкило масла, по кило сахару и дали еще буханку хлеба. С новой картиной и кинопередвижкой мы потряслись по бревенчатой мостовой обратно к пристани. Здесь нас ожидал сюрприз. У пристани нашей ангарки уже не было, а вместо нее нас поджидал большой многовесельный неводник. Над неводником была построена будка из крашеной фанеры. На одном боку у будки написано было огромными буквами «Бей врага!», а на другом – «Агитбригада». Сооружение напоминало мне китайскую джонку, каких я немало повидал на Амуре. Так и чудилось, что вот-вот выйдет из будки китаец в конической шляпе и с бамбуковым шестом в руках.

К пристани подвалил чистенький катерок с надраенными поручнями, и к нам вышел сам начальник рыбокомбината. Он тоже был в кителе, сапогах и «сталинке». И глаза у него были такие же стерляжьи. Начальник по-военному козырнул и представился. Он сказал, что у нашей агитбригады сменился шеф. Прежде над нами шефствовала милиция, а теперь вот рыбокомбинат, и мы будем культурно обслуживать прежде всего рыбаков, а потом уже другой остальной народ. Поскольку на рыбацких станах бытовые условия неважные, для нас построили каюту. Федор заметил, что каюта, пожалуй, великовата. Начальник возразил, что сооружение одобрено самим предриком, то есть, председателем райисполкома, – Валерианом Прохоровичем Чижовым, после чего озабоченно удалился по делам. И тут взбунтовался Федор Иванович. Он заявил, что он не клоун какой-нибудь, чтобы людей развлекать и пустым рукавом хвалиться.

– Но вы же герой, Федор Иванович, – убеждали мы, – у вас медаль «За отвагу»!

– Таких героев-медалистов теперь в тылу пруд пруди! – отбивался Федор. Наконец, мы ему сказали, что нехорошо нас оставлять беззащитными и безоружными, и Федор сдался.

Катерок вытащил нас в безбрежное море, которое образовалось здесь от слияния Иртыша с Обью. Дул сильный ветер, и катерок то взлетал на волнах, то скатывался в ложбины. Он еле тянул наш неводник. Будка срабатывала, как парус, то и дело разворачивая джонку боком к волне. Нас жестоко болтало, по каюте перекачивались жестяные коробки с пленкой и наше мелкое барахло. Конца этому путешествию, казалось, не будет. Наконец, за длинной песчаной косой показалась избушка и снасти, развешенные для просушки. Катерок совершил маневр и подтянул нас поближе. Что дальше делать, мы не знали. Вытащить громоздкую джонку на берег нашими силами было невозможно. Мужская половина коллектива сняла штаны и попрыгала в холодную воду. После некоторого колебания, к нам присоединилась и команда катера. Мы кое-как пришвартовались и закрепились. Команда забралась в катерок, он зарычал, развернулся и ушел в бесконечность. На берегу было пустынно и безлюдно. Поскольку мы все равно были голые, то принялись вброд перетаскивать наше имущество на берег.

Избушка была жилая – на пороге сидел кот и с отвращением глядел на связки вяленых стерлядок. Рыба была повсюду: в бочках, чанах, уже распластанная и подсоленная. А также сушеная, в больших рогожных мешках. Вскоре из-за отмели показался такой же неводник, как наш, но только без будки. Он был завален сетями, поплавками и прочей рыболовной снастью. На веслах дружно работали рыбаки, а правильнее сказать, рыбачки. Женщины в неуклюжих робах и бахилах с криками и визгом попрыгали в воду, вытянули неводник, а потом вытащили нашу джонку вместе с Катькой и Ольгой. Не обращая на нас никакого внимания, они скинули рабочую одежду и в таком виде побежали к сараю с жестяной трубой – видимо, в коптильню. У костра, огороженного жердями, остались сушиться заскорузлые, блестящие от рыбьей чешуи ватники и брезентовые штаны.

Потом из коптильни, уже приодетые и сухие, появились рыбачки. Впереди шла высокая, фигуристая бригадирша. Бригадирша извинилась, за то что они выскочили в таком виде – они просто привыкли, потому что живых мужиков здесь не видели уже два месяца. Губы и брови у бригадирши были чем-то подкрашены. Вперед выступил Федор Иваныч и с шуточками и прибаутками объяснил, кто мы такие. Рыбачки со смехом отвечали. А девчонки – наши сверстницы – для практики строили нам с Борькой глазки.

Уже стемнело, и кино решили показывать прямо на берегу, прикрепив экран к стене избушки. «Боевой киносборник» состоял из нескольких смешных коротких фильмов, вроде нашего злободневного скетча, но, конечно, получше, потому что в фильме снимался знаменитый артист Тенин. Привлеченная белым мерцающим экраном, налетела мошкара. Она облепила нас так плотно, что невозможно было открыть глаза и даже дышать – в рот и в нос втягивалась мошкара. Рыбачки досмотрели фильм до конца, похвалили и сказали, что лучше бы, конечно, если б фильм был про любовь. Война всем надоела!

Стали устраиваться на ночлег. В нашей будке, которую воздвиг «сам предрик» Валерий Прохорович Чижов, спать было нельзя из-за гнуса. Решили в тесноте, да не в обиде устраиваться в самой избушке. У рыбачек над каждой постелью устроен был марлевый полог от мошкары. Стали распределяться под пологами. Ольга и Катька – под одним, мы с Борькой – под другим, А бригадирша пригласила Федор Иваныча к себе, посоветоваться о завтрашнем дне. Гудела мошкара, шептались и хихикали рыбачки. Потом Ольга предложила им спеть. Я не знал, что Ольга так хорошо поет и романсы тоже. Под слова «на заре она сладко так спит» из-под пологов раздалось сопение и похрапывание рыбачек. Они смертельно устали, им было не до романсов.

Только мне не спалось. Я размышлял, о том, какой же идиот додумался построить агитбудку на неводнике? И вдруг меня осенило: Валериан Чижов – это же не кто иной, как Оверька Чижик! До нас доходили слухи о том, что Оверька, как ценный «кадр», бронирован и теперь где-то начальствует. Все сходилось! Будку мог придумать только «кадр» с мозгами Оверьки. Ночью я проснулся от шепота и шевелений. Из-под полога, где спал Федор, крадучись, выбралась женщина, но это была уже не бригадирша, а другая – худенькая и рыженькая, которая требовала картину про любовь.

На заре рыбачки снова натягивали свои ватники и штаны, отправлялись на тоню, тянуть невод, добывать рыбу для фронта и победы.

Прежде чем с нами распрощаться, рыбачки столкнули наш корабль на чистую воду и рассказали, как нам добраться до следующего рыбацкого стана. Это недалеко – по воде за полдня догребете, успокоили они нас. Мы надеялись, что подойдет рыбкомбинатовский катер и нас отбуксирует, но катер, конечно, не пришел. Мы отправились в путь самостоятельно. На тяжелом неводнике мы с Борькой с трудом выгребли на стремнину, надеясь, что быстрое течение нам поможет. Так и вышло – мы спускались по течению, подгоняемые ветерком, довольно быстро. Как заметил Борька, «даже слишком быстро». Настроение было хорошее. Ольга опять приготовилась загорать, но все вдруг мгновенно изменилось. Вода потемнела, покрылась рябью и белыми барашками. Дунул еще совсем недавно приятный для нас ветерок и развернул неводник поперек волн. Все происходило быстро и в то же время замедленно, как в кино. Под порывом ветра неводник с дурацкой будкой накренился и от будки себя

освободил – будка со скрежетом и хлопанием отделилась и закачалась в волнах, быстро от нас удаляясь и показывая, время от времени, мокрый бок с надписью «Бей врага!».

От неожиданности мы с Борькой бросили весла, и теперь они тоже быстро и безнадежно от нас отдалялись. Лодка беспорядочно вращалась и неслась по волнам. Федор пытался править, поворачивая рулевое весло одной рукой. Но ничего из этого не получалось. Оставалось только тупо глядеть друг на друга и на далекий берег, который, кренясь, поворачивался к нам то одной стороной, то другой. Потом мы почувствовали сильный толчок и едва успели ухватиться за борт. Лодку выкинуло на отмель. «Все хватай и за мной!» – крикнул Федор. Мы ухватились, кто за что мог, и забегали от лодки к отмели и снова к лодке. Неводник трещал и методично бился днищем о гальку. Когда мы сложили наше добро в кучку, волна приподняла неводник и положила его к нашим ногам, рядом с имуществом. Стихия действовала последовательно и с чувством юмора.

Опомнившись от потрясения, мы стали изучать обстановку. Кинопроектор и другое оборудование были упакованы в специальные крепкие ящики и они не пострадали. А вот с «Боевым киноборником» дело обстояло не так хорошо – в железные коробки, яуфы, попала вода. Размеры бедствия можно было выяснить, только открывая и осторожно, чтобы не повредить эмульсию, разматывая ленту, ролик за роликом. Адская работа! А в наших условиях – почти невозможная! Мокрая Екатерина сидела на своих ящиках и рыдала.

– Костер надо бы развести, – сказал Федор.

– Да ведь пленка-то горячая-ая, – выла Катька.

– Ты думаешь, я твою пленку на костре буду сушить? – сказал Федор. – Сперва сами обогреемся.

Федор пошел по отмели, а мы с Борькой за ним. Отмель тянулась далеко, это была цепочка островков, разделенных промоинами.

– Молись, ребята, сказал Федор, – чтоб не задуло снизу, против течения. Тогда вода поднимется и нам – каюк!

Но пока что мы стали подбирать плавник и ветки посуше, а Федор что-то выискивал в гальке. Он нашел подходящий кремь и сунул его в карман. Екатерина безутешно рыдала, неподвижно сидела, нахохлившись, Ольга с аккордеоном на коленях.

– А ну, девки! Айда собирать былинки-хворостинки! – скомандовал Федор.

Потом он достал кисет, а из него тонкую курительную бумагу. Федор вынул патрон из револьвера, сорвал пулю и высыпал порох на бумажку. Ударил кресалом об кремь – порох вспыхнул. На нашей необитаемой земле появился костерок. Потом общими усилиями мы развели и серьезный костер. Повеселела даже Катька. «Робинзоны, – смеялась Ольга, – самые настоящие Робинзоны!» Про нижний ветер мы им не говорили, чтобы не пугать. Честно заработанный нами сахар растаял в обской воде. Туда же канул и хлеб с маслом. Сохранилась связка вяленых отборных стерлядок, преподнесенных на прощанье рыбаками.

«Пароход! Пароход!» – вдруг запрыгал и закричал Борька. Сравнительно недалеко от нас действительно шел большой, красивый пароход. Мы кричали, размахивали руками и всячески пытались обратить на себя внимание. С палубы нам тоже кто-то приветственно махнул платком. Потом корабль показал нам корму и пошел своим путем. Катька заявила, что если даже какой-нибудь пароход здесь вдруг и причалит, она, Екатерина, все равно, с места не сдвинется, пока не выяснит, что с «Боевым киноборником». Позже можно было наблюдать следующее: на пустынной отмели посреди реки стоял на треноге кинопроектор, а зареванная Катька осторожно поворачивала ручку, словно показывая неизвестно кому какое-то странное, замедленное кино. До самой темноты, ролик за роликом, мы пропускали через проектор «Боевой киноборник», проверяя и просушивая подозрительные места с помощью лампы проектора. Мы поели вяленой стерляди, запили ее обской водой и поддерживали наш костер до утра. Утром нас снял почтовый катер. О нас вспомнили, только когда выловили из Оби агит-будку с призывом «Бей врага!». С тех пор я возненавидел стерлядь во всех видах, но, когда говорю об этом, все думают, что я шучу.

Молодым везде у нас дорога

После сидения на отмели мы уже не решались путешествовать самостоятельно. Да и не на чем было – неводник пришел в негодность. Нас перевозили на катерах, буксирах и даже лесосплавщики на плотах. Мы побывали во многих богом забытых деревеньках и поселках. Ольга Сергеевна пела свои песни, фронтовик Федор Иванович складно и привычно рассказывал про войну, но количество плененных немцев у него понемногу возрастало, а о напарнике упоминать он иногда забывал. Так мы жили почти два месяца, пока не начались осенние непогоды.

Когда я вернулся в Цынгалы, мне все показалось здесь маленьким и скучноватым. Сказывалась привычка к постоянному движению и переменам. Мать долго меня рассматривала и объявила, что я повзрослел. Мы поглядели друг на друга, и мать ответила на мой главный, невысказанный вопрос: «Нет». Никаких извещений и писем от отца не было. А нам предстоял новый переезд. Мать взяли на работу в район, и теперь я буду учиться в средней школе в Самарово.

По местным меркам, это было очень большое село. На высокой горе, отделяющей старинное Самарово от

новостройки – Ханты-Мансийска, стояли сибирские дома-крепости, а в болотистой низине кучковались, разбросанные без всякого порядка, глинобитные хижины сибирских татар. Низина утопала в черном, бездонном торфяном болоте, и потому дороги-улицы в селе вымощены были толстыми бревнами. Под тяжестью конных подвод и под ногами прохожих, бревна погружались в болотную жижу и с вязким чмоканьем всплывали. В Самарово была парикмахерская, в которую мы в прошлый раз не попали, столовая и раймаг. В столовой кормили по карточкам и только супом из рыбьих голов. Полки в рай-маге были идеально пустыми. Но я еще помнил, как в начале войны на этих полках стояли пирамидки крабовых консервов и бутылки шампанского. Стояли они довольно долго, потому что сибиряки с подозрением относились к незнакомой еде и к шипящей жидкости в толстых бутылках. Все это исчезло, когда пришел первый пароход с эвакуированными.

Вторжение чужаков преобразило жизнь в Самарово. Подскочили цены, изменились нравы на патриархальном самаровском базаре. Местных обижало, настораживало высокомерие и напористость приезжих. Встречали эвакуированных, как своих, родных, пострадавших, а кто тут истинно пострадавший, было пока непонятно. Здесь оказались эвакуированные москвичи и ленинградцы, беженцы и ссыльные из западной Украины и Прибалтики, сектанты и староверы, поволжские немцы и калмыки, а также спецпереселенцы и неблагонадежный люд всех прочих национальностей, веры и происхождения. Все это пыталось внедриться в незнакомую сибирскую жизнь, добыть себе пропитание и крышу над головой. Каждый в глубине души считал, что он здесь находится временно и потому распродал последнее, сбивая цены и не заботясь о будущем. А будущим для них оказалась долгая война и крутые сибирские зимы.

Надеждой и опорой самаровцев, коренных и временных, был рыбокомбинат. Комбинат построил здесь жилье – длинные бараки для сезонных рабочих, провел электричество для своих специалистов. Даже общественная баня принадлежала рыбокомбинату. И клуб, откуда мы брали фильмы, тоже был рыбокомбинатовский. Когда началась война и комбинат погнал свои консервы на фронт, отпала надобность в красивых этикетках – армия поела все без разбора. Запасы этикеточной бумаги переданы были в распоряжение местных властей. Теперь хлебные карточки печатали на обороте узеньких этикеток от «Ерша в масле», более обширные казенные документы – на широких этикетках «Ухи из осетра». Лично у меня аттестат зрелости и школьная характеристика исполнены были от руки на этикетке «Муксун в томате». Эти документы сыграли в моей жизни, быть может, решающую роль. Но об этом речь впереди.

Мы поселились в избе наших дальних родственников, в закутке, за печкой. Жилье в Самарово, заполненном приезжими, стоило очень дорого. Только через несколько месяцев нам дали «школьную фатеру» – покосившийся, вросший в землю домишко в два окна. Мать очень гордилась этим, почти что собственным, жильем, вымыла и выскребла здесь все, что можно. Мы водрузили полку для книг и вскоре, на школьной подводе, доставлен был из Цынгалов «Зингер-полукабинет». Начиналась новая жизнь. К нашему домику приволокли и оставили под окнами толстенное, в два обхвата, бревно – это был запас дров на зиму. Мне предстояло отпилить от бревна чурбаны и колоть их по мере надобности. Общественный колодец был далеко, поэтому завхоз торжественно вручил мне коромысло и два казенных ведра с надписью «щи». Поскольку наш дом к рыбокомбинату отношения не имел, электричества у нас не было, но зато, к моей великой радости, была радиорозетка и наушники. Теперь я мог целыми днями слушать передачи из Москвы и Новосибирска, сводки информбюро, радиоспектакли и все, все, все!

Произошло еще одно важное событие – к нам пожаловал сам предрик, Валериан Прохорович Чижов. Это, конечно же, был Оверька Чижик, но совершенно преображенный. Он, разумеется, был в кителе, сапогах и фуражке-«сталинке». Он даже отпустил усы, но на Сталина все же не походил, потому что был от природы курносый и белобрысым. Оверька обращался с нами приветливо, но как-то сдержанно. Он не смеялся беспричинно и не размахивал руками, как бывало прежде. Оверька рассказал про наших видоновских родственников. Старик-лошадник Евграф помер, жена Оверьки, трусихинская Августа, теперь стала завмагом в Ханты-Мансийске и «материальное положение нашей семьи, в данный момент, удовлетворительное», – зачем-то добавил он. Австрияк Франц с первых дней войны услан был в спецлагерь, на лесозаготовки, «где ему и следовало быть», – присовокупил Оверька. Уходя, Валериан Прохорович пообещал как-нибудь к нам заглянуть и, между прочим, заметил, что с раскулаченными родственниками нам следует встречаться пореже, а сам он очень занят, потому что идет война и у него много ответственной работы.

Первого сентября я пришел в школу и познакомился с одноклассниками. Они были, в основном, переростки. Военные передраги и эвакуации прервали учебный процесс. Девочки уже были почти тетями, а мальчики говорили баском. Я выглядел среди них мальчишкой. Первым ко мне подошел тощий носатый парень.

– Ты москвич? – спросил он.

Я сказал, что нет.

– Уже хорошо, – одобрил парень.

– Почему? – поинтересовался я.

– Не люблю москвичей! Ты что, не знаешь, как они драпали шестнадцатого октября?

– Куда? – спросил я.

– Из Москвы, в сорок первом! Ты и вправду не знаешь? Ты откуда такой прибыл?

Я сказал, что из деревни Цынгалы.

– Ссылный?

– Нет, мы сами сюда приехали, а ты кто такой? – спросил я.

– Леонард Тринель! – представился парень, – немец – перец – колбаса – кислая капуста! Заходи как-нибудь, если не боишься.

– Боюсь? – удивился я.

– Так ведь я немец!

Лео жил здесь же, в школе. Для них с матерью и сестрой в конце школьного коридора отгородили комнатку. Мать Лео преподавала немецкий язык. Пока мы шли по этому коридору, Лео рассказывал про наш класс. В нем учились поляки, бессарабские евреи, ссылные прибалты, нелюбимые Лео москвичи и детдомовские ленинградцы. А недавно на нескольких баржах в Самарово привезли чуть ли не всю калмыцкую республику во главе с верховным советом.

– Они Гитлеру белого жеребца подарили, – сообщил Лео.

Я уже слышал историю про белого жеребца. Ею объясняли прибытие в наши края сначала карачаевцев и чеченцев, потом крымских татар, а затем греков и караймов. Наверное, у Гитлера в тесном «волчьем логове» уже возникли проблемы с содержанием такого большого табуна!

– Зато здесь педагоги первоклассные, университетские, – сообщил Лео, – из Ленинграда, Киева, Одессы, даже из Дерпта! Слышал про такой древний университет?

Я был подавлен осведомленностью Лео, а также необходимостью учиться у профессоров. Я представлял их не то чтобы облаченными в парики и мантии, но какими-то особенными. И подозревал, что и требования у них будут ко мне особенные, непосильные.

В комнатке, где жил Лео, на полу была разостлана карта Африки. На карте, группами и в россыпь, стояли тщательно выточенные из белого металла макетики танков.

– Анализирую положение на африканском театре военных действий, – пояснил Лео, – вот здесь Бизерта и англичане, а здесь танковый корпус Гудериана. У Гудериана сейчас преимущество.

– Он же фашист! – закричал я.

– Он не фашист, а талантливый генерал, – спокойно ответил Лео, – образование он получил в Советском Союзе. Генерал Роммель тоже...

Лео вдруг замолчал. В комнату вошла его мать – высокая и какая-то усохшая женщина. Не обращая на меня внимания, она стала что-то раздраженно говорить сыну по-немецки. Он ей дерзко улыбался. Тогда мать отбросила ногой карту и по комнате рассыпались макетики танков. Я потихоньку вышел в коридор. Там как раз началась перемена. Мальчишки и девчонки громко кричали, смеялись и дрались, ударяясь о тонкую фанерную стенку, за которой жило семейство Лео.

Университетские светила преподавали нам без париков и мантий. Например, ленинградский доцент Рекин облачен был в золотые бриджи с солдатскими обмотками, но под засаленным пиджаком носил галстук, как знак его ученого достоинства. Две сестры-одесситки, старые девы – Мария Карловна и Екатерина Карловна, одеты были в чинные учительские платья с кружевными воротничками, но наряд завершался солдатскими кальсонами, заправленными в галоши. Кальсоны стали в войну универсальным женским бельем, а теплыми, байковыми премировали учительниц на Восьмое марта. Война застала всех этих людей врасплох, оставив без одежды и крова. И никогда, наверное, жизнь не свела бы именно этих людей и в этом месте. Но война их столкнула и повязала. И часто они не знали, как относиться друг к другу. Кто друг? Кто враг? А кто – просто так!

Лео заходил к нам довольно часто – поиграть в шахматы или поболтать. К нему в школе никто не подходил и не заговаривал. Он отвечал высокомерной улыбочкой, но, по всему, чувствовал себя неудобно. С началом войны поволжских немцев разделили: мужчин – в трудовую армию, то есть, в лагерь, а женщин и детей на поселение. Матери Лео повезло, она была учительницей немецкого, а в то время такие учителя были нужны.

– Ничего, жить можно, – рассуждал Лео, – но вот Лорка меня беспокоит. Лорхен у нас невеста, ей за двадцать. А женихи где? Местные от нее шарахаются, хоть и сами тоже ссылные. Лорхен бесится и плачет по ночам. Я ей советую: ползи по-пластунски через фронт – там женихов много!

Неделю спустя, когда занятия в школе уже шли полным ходом, в классе появился Лео с голубым пороховым ожогом на щеке. Точно такой же ожог, но на другой щеке, был у ленинградца Веньки Палея. На вопросы они отвечали, что обожглись у печки. Никто, конечно, не верил. Правду знал только я. Однажды на большой перемене Венька обозвал Лео фашистом. Лео предложил ему драться на дуэли. Венька рассмеялся и сказал, что мы не мушкетеры. Тогда Лео сказал, что да, конечно – евреи мушкетерами не бывают. «Я тебе покажу, какие бывают евреи, – обозлился Венька, – выбирай оружие!» От секундантов для конспирации они отказались и позвали меня в

посредники, поскольку я не еврей, не москвич и не похож на немца. Стали вместе обсуждать детали. Холодного оружия у нас не было. Лео предложил изготовить пистолеты.

Делали пистолеты все вместе – два противника и посредник. Конструкция была общеизвестная: к медной трубке с расплюснутым концом прикрепляли деревянную рукоятку, насыпали порох и заряд с одного конца, а с другого, расплюснутого, сверлили дырку. Вплотную к дырке крепили спичечную головку – получался запал. Для выстрела достаточно было чиркнуть коробкой о спичку. Место дуэли избрали, как и полагается, укромное – за школьным сортиром. По моему счету противники сошлись. Это было похоже на игру, но лица у них были такие, что, если бы я их остановил, они стреляли бы в меня. Тогда я скомандовал: «Пли!» Дыму было много. Оба пистолета дружно взорвались, и пламя ударило в сторону стрелков. Дуэлянтам повезло – глаза не пострадали, опалило только щеки, а у Веньки обожгло руку. «Теперь помиритесь», – предложил я. Лео и Венька неохотно пожали друг другу руки. Это была не игра.

Постепенно ребята в классе стали привыкать друг к другу. Столичные задавалы поняли, что и местные чалдоны тоже кое-что знают и понимают, а умеют уж точно больше. И мы узнавали друг про друга всякие мелочи, всякие человеческие подробности. Поляк, калмык, хохол, еврей превратились просто в Стаса, Ваньку, Гната, Веньку. И только Лео всегда оказывался в стороне. Особенно, когда радио стало приносить нам вести о наших наступлениях и победах. Теперь уже никто не отнимал у нас карты. Огромная карта, утыканная флажками, красовалась в нашем классе, и утром, после очередного радостного сообщения, мы переставляли флажки и бурно обсуждали подробности. Хохлы измеряли, сколько еще километров нужно пройти войскам до Киева и Одессы, а поляки – до Варшавы. Но как обсуждать это с Лео? Утром Лео приходил в класс последним и перед самым уроком занимал последнюю парту. Ко мне он все-таки заходил – поиграть в шахматы, а мать потихоньку его подкармливала. На сытый желудок он любил порассуждать. Узнав об офицерском заговоре против Гитлера, Лео заявил, что он жалеет военных, что войну они проиграли, потому что послушались «этого идиота».

– А если бы не послушались, что было бы? – спросил я.

– И Гитлер идиот, – после паузы ответил Лео, – и все мы немцы – самонадеянные кретины.

Ясно было, что Лео совсем запутался. Из затруднительного положения его выручила моя мать, заглянувшая к нам в комнату.

– Ты заходи завтра, Лео, – сказала она, – я тебя пельменями с медвежатиной угощу.

Мать теперь работала школьным инспектором и неделями пропадала в командировках. Для зимних поездок ей даже полагалась специальная одежда: малицы, кухлянки [6 - Кухлянка – верхняя одежда из оленьих шкур. – Ред.], топоры – огромные меховые сапоги. Мать из-за маленького роста передвигаться в них не могла, и возчик переносил ее на руках в сани. Так и возили эту меховую куклу-инспектора из одного школьного «куста» в другой. Больше всего мать боялась при быстрой езде вывалиться ночью в сугроб. Одна, в таком одеянии, она была совершенно беспомощна.

Возвращаясь из таежных поселков, мать иногда привозила оленину, дикий мед, а однажды явилась с огромным куском мороженой медвежатины. Когда Лео, угостившись материнскими пельменями, узнал, что это медвежатиная, он пришел в восторг и вообразил себя древним тевтоном в суровых альпийских лесах. По этому случаю он долго, с увлечением рассказывал нам, как жили древние германцы, какие они были воинственные и мужественные. Много всего знал Лео. Он любил свою выдуманную Германию и ненавидел ее и стыдился немцев за то, что они творили в войну.

– После войны все изменится, – ободряла его мать.

– После войны, – отвечал Лео, – нас отсюда не выпустят, мы будем гнить в этих лесах. И поделом!

Лео был недалеко от истины. После войны его из ссылки не выпустили и он спился в маленьком таежном поселке Кедровое, где преподавал ссыльным ребятишкам никому там не нужный немецкий язык. Сколько невероятных историй пришлось мне услышать от разнообразных эвакуированных и этапированных. Никакое приключенческое кино с их рассказами не сравнится. И каждая человеческая жизнь – трагедия, если только не трагикомедия.

Что-то вроде трагикомедии произошло и в нашей родственной среде. Однажды, после крупной победы – освобождения Киева, совпавшей, к тому же, с октябрьскими праздниками, в нашу халупу пришел Оверька Чижик. Он пришел узнать, как мы тут живем, и поздравить с праздниками. Оверька поставил на стол большую консервную банку с иностранной этикеткой. К банке прикреплен был ключ. Таких банок я никогда не видел. Оверька объявил, что это колбаса, полученная им по ленд-лизу от американских союзников. Оверька по-хозяйски уселся за стол, вынул пачку сигарет с верблюдом и задымил. По комнате распространился несказанный аромат. Я уже тайком покуривал, сворачивая цыгарки с самосадам или с лжетабаком, который назывался «феличевый». Это была жуткая дрянь – самокрутка при каждой затяжке воняла и стреляла искрами. И вот теперь рядом со мной сидел небожитель Оверька и благоухал. Небрежно отделив от банки ключ, Оверька повертел его в руках – крышка отвалилась – помещение заполнил головокружительный аромат ленд-лизовской колбасы.

– А что, Гутенька, не найдется ли у тебя?.. – и Оверька звонко щелкнул пальцами у горла.

Мать сказала, что найдется. Привыкшая к суровой экономии, мать сберегала все, что выдавали нам по карточкам. Так же хранила она и спиртное. В большую бутылку она аккуратно сливала водку, выданную в сентябре, портвейн, выданный в октябре, и туда же добавляла спирт, сухое вино, кагор и прочее, и прочее. Мать никогда даже не пробовала спиртного, а отец пил только пиво. Все спиртное мать именовала одним словом «водка». Накрыв на стол, мать оставила бутылку в полном распоряжении Оверьки. На вопрос, что в бутылке, мать ответила, что это водка. Оверька наполнил стакан странной розоватой жидкостью, выпил за освобождение Киева, потом за годовщину Великого октября. «Водка» материнского изготовления Оверьке очень понравилась. Хорошенько закусив лэндлизовской колбасой, Оверька, стоя, выпил за товарища Сталина и сразу же понес чушь. После тоста «за победу», он выпил за самого себя. Он сказал, что правда все равно победит. Так же, как победил и он – бедняцкий сын, женившийся по ошибке на кулацкой дочери Августе Трусихиной.

– Ведь кто я? – рассуждал Оверька, – юридически, я – кулацкий прихвостень и *censored*n сын! А фактически, я достиг высокого положения. Партия разглядела во мне мою бедняцкую суть! Правда победила!

Оверька долго молчал, улыбался самому себе и покачивал головой. Потом он взглянул на меня, отложил колбасу и тихо сказал:

– Виталий! – сказал Оверька. – Слушай важное! Ты мог бы стать моим сыном! Ошибка не в том, что я женился на кулацкой Августе, а в том, что я женился не на той Августе! – Оверька повернулся к матери и неожиданно встал на колени.

– Августа Трапезникова! Гутька! Гутенька! – торжественно объявил Оверька. – Сколько лет я об этом думаю и забыть не могу!

Мать сказала, что Оверьян выпил лишнего и ему, наверное, следует проспаться. Но Оверька горестно покачал головой и ответил, что не в водке дело, а дело в чувствах.

– Ты, Гутька, никогда меня не понимала! С самого моего бедняцкого детства! – Оверька снова сел за стол и выпил материнского зелья.

Мы с матерью ушли в другую комнату, долго сидели и не знали, что с ним делать. Сидели, пока из соседней комнаты не послышался храп. «А ведь все сходится, – подумал я, – и настойчивые приглашения Оверьки переехать в Ханты-Мансийск, и всякие другие знаки внимания, которых я прежде не замечал». Утром на столе стояла порядком опорожненная бутылка и записка: «Извиняюсь. Валериан. П. Чижов».

Близился конец войны. И Победа! И какая-то новая, взрослая, жизнь. Однажды я встал на лыжи и отправился в Ханты-Мансийск. Если пойти ближней дорогой, через гору, то получалось километров десять. Я пришел в городскую библиотеку, и мне выдали затрепанный «Справочник для поступающих в вузы» за 1939 год. Я решил внимательно ознакомиться с этим справочником и определить свою судьбу. Главное, сделать правильный выбор! Ведь в конституции и даже в песнях сказано: молодым везде у нас дорога. То же самое писали во всех газетах и журналах. Будем выбирать!

«Пятьсот веселый»

Я уезжал из Самарово на том же самом «Карле Либкнехте», который в июне сорок первого так и не довез нас с матерью до цели, не обеспечил нам свидания в столице с самим Михал Ивановичем Калининным. За четыре военных года пароход облупился и поизносился. И пассажиры уже были другие: командированные офицеры, демобилизованные солдаты, перемещенные гражданские лица. Все, что двигалось когда-то на восток, теперь устремилось на запад. Устремилось с новыми послевоенными надеждами и с новыми песнями. Радиола гремела, не смолкая. Победные марши перемежались довоенными фокстротами, а знакомые фронтовые мелодии вытеснялись новомодными солдатскими песенками союзников. «В путь далекий до милой Мэри, в путь до Англии родной!» распевали наши подвыпившие демобилизованные лейтенантики, ожидая скорой встречи со своими родными Цынгалами или Слушками. Они обменивались фронтовыми воспоминаниями и трофеями. Так стыдливо называлось вывезенное из освобожденной Европы шмотье и барахло. Лейтенантики имели право веселиться и радоваться, потому что уцелели в чудовищной войне и еще потому, что перед ними приоткрылась совершенно неизвестная, праздничная жизнь в краях, которые они освобождали. Оказывается, можно жить в чистоте и в изобилии, как живут те, освобожденные. Значит, и мы сможем! Мы же победители!

Я попал на пароход только в конце августа. У всех отъезжавших были какие-то особые документы и права на внеочередной выезд. У меня ничего такого не было. Я устроился все в том же четвертом классе на дровах, взяли меня с условием, что я буду помогать на всех погрузках и выгрузках. Мать основательно собрала меня в дальнюю дорогу. Она даже изготовила походный тюфячок, чтобы мне было комфортнее лежать на сучковатых дровах. Были заготовлены и продукты для долгого автономного питания в условиях всеобщей послевоенной голодухи. Деньги, которые мать копила все эти годы, были положены на аккредитив, а те, что предназначались для повседневных трат, мать спрятала под стельками новых, к отъезду справленных, сапог. В сверхсекретном кармане пиджака лежали

документы. Мне уже исполнилось семнадцать, и полагалось иметь паспорт. Но получить его в наших ссыльных краях было почти невозможно. Не без Оверькиной помощи мне неохотно дали временное удостоверение личности сроком на полгода. Мы с матерью рассудили так: за полгода я уеду достаточно далеко от этих мест, а дальше – видно будет!

Я окончил самаровскую школу с золотой медалью. Собственно, никакой медали не было, ее еще не изготовили. Медали были учреждены только в этом, победном, году. Зато я вез с собой аттестат зрелости, каллиграфически исполненный на обороте этикетки «Муксун в томате», и несколько копий на тетрадной бумаге, исполненных похуже – это на всякий случай. Изучив основательно «Справочник для поступающих», я после длительных раздумий и колебаний остановился на Всесоюзном государственном институте кинематографии. Представление о кинематографе у меня было самое смутное и ограничивалось светлыми воспоминаниями об агитбригаде. Я решил стать директором кинокартины, потому что фамилия директора в фильмах всегда написана крупными буквами.

С тем я и ринулся в неизвестность. Штабеля дров на пароходе постепенно уменьшались, а после Тобольска я спал уже на пустом и горячем металлическом полу машинного отделения. Пол мелко дрожал, из-под него рвался несмолкаемый грохот шатунов. Но зато теперь меня уже не заставляли грузить дрова – пароход шел по безлесной местности. Когда «Карл Либкнехт» преодолел реку Тобол и двинулся по узенькой Туре, возникло ощущение, что он плывет прямо по степи. Крутые берега поднимались до высоты палубы, и совсем рядом бежали наперегонки с пароходом перепуганные овцы, лаяли овчарки и тряслись на лошадках чабаны в островерхих казахских шапках. Когда пароход причаливал у горсточки юрт, начиналась торговля. Лейтенантики меняли трофейные побрякушки на овец. Овец тут же резали и свежевали. Казашки зазывно приподнимали подола – под подолами, укрытые от степного зноя, стояли бутылки с кумысом. Почему женщины не охлаждали кумыс в речной воде, было непонятно – сказывалась, наверное, привычка постоянно пребывать в безводных местах.

В Тюмени меня встречала одна из материнских сестер – Шура. В войну она овдовела и с двумя детьми, в поисках лучшего, перебралась из дедовской омской халупы в Тюмень. Я переночевал у нее в точно такой же халупе, только уже не омской, а тюменской. Похоже, тетка сменила «шило на мыло». Наутро я решил приобщиться к цивилизации. По тем временам, это означало – посетить рынок. На тюменском рынке меня остановил самый натуральный городской из фильма «Юность Максима». Городовой в мундире, при шашке и с малиновым шнуром на шее, строго спросил у меня документы. Жалкий провинциал, я и не знал, что всех милиционеров недавно переодели в новую, то есть, старую полицейскую форму. Это сделали с одобрения товарища Сталина – значит, так надо?

На рынке торговали невиданными товарами. Толстая тетка рядом с банными венниками продавала, например, фарфоровую кофемолку с надписью «Гутен морген!» Тут же мирно соседствовали немецкие и советские ордена. Я впервые увидел фашистские деньги. На них был изображен рабочий с молотом и крестьянка со снопом. Получалось, что у них тоже рабоче-крестьянская власть? Как же так?! Здесь же шла бойкая торговля перешитыми из советских и немецких шинелей курточками и пальтишками. Советские шинели ценились выше, потому что были теплее. Безногий инвалид торговал сигарами. На тряпице, в деревянной красивой коробочке лежали рядком толстенькие коричневые палочки с золотой опояской. О таком я только читал в книгах. А еще на карикатурах буржуев изображали с точно такими же сигарами в зубах. Поторговавшись, я купил себе сигару, а инвалид уговорил меня взять еще и зажигалку.

Я отошел в сторонку и решил раскурить сигару, но зажигалка не действовала. Продавец заявил мне, что зажигалку нужно было сначала опробовать, а купленный товар обратно уже не принимается. У другого инвалида (без руки) я прикурнул свою сигару от его самокрутки. Впечатление было сильное. Казалось, горло и легкие обожгло кипятком, а потом туда еще подсыпали металлические опилки. Наивный провинциал, я не знал, что вместе с трофеями, на российские базары прибыла и германская эрзацпродукция. Оскудевшие в войну немцы придумали себе заменители. Они ели эрзацхлеб и мазали на него эрзацмасло. Созданные таким способом эрзацбутерброды немцы запивали эрзацкофеем. Весь этот суррогат тщательно и заманчиво был упакован в золотые бумажечки и коробочки. А сигары были, конечно, не из табака – их делали из каких-то лопухов, пропитанных никотином.

Потом я с волнением посетил вокзал. Отсюда должно начаться мое главное путешествие в Москву. Вокруг вокзала расположились лагерь пассажиры. Оказалось, поезда здесь останавливались только для высадки. А на запад из Тюмени отправлялся раз в неделю один-единственный прицепной вагон. Мимо вокзала со свистом и грохотом проносились с дальнего востока воинские эшелоны – только что закончилась победоносная война с Японией. Я побродил по лагерю перемещенных лиц. Многие, с семьями и скарбом, жили здесь месяцами. Среди них я встретил и старых знакомых. Это были эвакуированные, отъехавшие из Самарово по особым пропускам значительно раньше.

Они рассказали много интересного. Мало того что на Москву идет один прицепной вагон, нужно еще получить вызов-подтверждение, что в Москве, и, вообще, в месте назначения, тебя ждет родня или казенная надобность. Дождавшись вызова, нужно ждать двухнедельного оформления пропуска. Получив пропуск, следовало еще пройти обязательную санобработку.

Процедура такова: отстояв предварительно в многодневной очереди, обладатель пропуска снимает с себя всю

одежду и сдает ее на прокаливание и прожаривание в специальную камеру. Пока в этой камере прокалывают и прожаривают вшей, будущий пассажир, голышом, зажав в кулаке пропуск, отправляется на помывку. Ему дают кусочек дегтярного мыла, пассажир отмывается, а в это время его доверенное лицо – жена, а может статья, что и соседка по очереди, хранит в кулаке пропуск. Я не оговорился – нередко обезумевшие от этой процедуры голые люди, из боязни потеряться или потерять свою очередь, мылись все вместе, без различия пола, а только в порядке очереди.

И, наконец, пропуск и справка у вас уже в руках. Остается пустяк – нужно раздобыть билет в единственный московский вагон, который цепляют раз в неделю. Между тем, в справке о санобработке мелким шрифтом написано, что справка эта действительна только на день отъезда – пока ты «свежеобработанный».

Раздавленный новостями, я побрел по Тюмени куда глаза глядят и добрел до двери с табличкой: «Тюменский обком комсомола». Я был, конечно, комсомольцем. В пять лет меня сделали октябренок, после пятого класса – пионером, а в четырнадцать – комсомольцем. В наших краях на происхождение закрывали глаза, потому что все мы здесь были, в принципе, неблагонадежными и социально чуждыми. Я пришел в обком комсомола уже под вечер, прошел по пустынному коридору и толкнул первую попавшуюся дверь. За столом сидел молодой парень и быстро писал.

– Ты ко мне? – спросил он, не поднимая головы.

Я сказал, что да.

– Ну?

– Мне надо в Москву, – сообщил я.

– Показать? – спросил парень. – Знаешь, как Москву показывают?

Я знал, как это делают, еще с детства. Если в школе к тебе подходит старшеклассник и ласково спрашивает, не показать ли тебе Москву? – быстро отвечай: «нет»! Если, по незнанию, ты скажешь «да», старшеклассник стиснет тебе голову и начнет тебя медленно приподнимать. Это очень больно, и ты кричишь: «нет!» «То-то же!» – говорит старшеклассник и, довольный, уходит.

– Мне очень нужно в Москву, – повторил я.

– Рассказывай, – сказал парень и писать перестал.

Тогда я объяснил комсомольскому вожаку, что намерен учиться в институте кинематографии, а институт находится в Москве.

– Ты уверен, что он находится в Москве? – спросил вожак. – А может, его куда-нибудь эвакуировали или расформировали? Война же была!

– Вот я как раз хочу поехать и проверить, – возразил я.

– А кто тебя туда приглашал, кто вызывал? Комсомольский билет предъяви! – потребовал парень.

Комсомольский билет я предъявил и копию аттестата тоже. Парень поглядел на аттестат, потом на меня и задумался.

– Глупость ты придумал, уважаемый медалист, – заключил он, – в этот институт попадают только наркомовские дети или гении. Ты про кино хоть что-нибудь знаешь? Кто такой сценарист? А кто мультипликатор, например?

– Вот приеду и узнаю, – повторил я.

– Слушай, друг, а у тебя по химии что? – вдруг спросил вожак.

– Я медалист, – напомнил я.

– Тогда спрошу по-другому: ты науку химию любишь?

Ответить на этот вопрос было непросто. Науку химию я любил, потому что ее преподавала неистовая старая дева, одесситка Мария Карловна. Всю свою нерастрченную любовь она вложила именно в химию и заразила ею своих учеников. Если в школе происходил какой-нибудь взрыв или возгорание, виновников искали только среди учеников Марии Карловны. Но, с другой стороны, сестра Марии, старая дева Екатерина Карловна, с такой же яростью внедряла в нас любовь к слову и к сочинительству. Все ее ученики, и я тоже, были подающими надежды графоманами и стихоплетами.

– Ну, конечно, я люблю химию, – неуверенно сказал я вожаку.

– Так вот, во ВГИК никто тебя не возьмет, а в Менделеевку таких, как ты, даже приглашают.

– Кто? – удивился я.

– Факультет 138 приглашает!

– А чему там учат? – осторожно поинтересовался я.

– Вот приедешь в Москву и узнаешь. Главное, вызов есть! – парень показал мне роскошную, глянцевую бумагу. На бланке было написано: «Московский химико-технологический институт имени Менделеева». А пониже значилось: «Вызов-приглашение гр-ну...» и зиял пробел для фамилии приглашенного.

– Повезло тебе, медалист, прислали одно место на всю область! – позавидовал вожак.

– А, все-таки, что же это за факультет? – повторил я.

– Так заполнять на тебя или нет? – рассердился парень.

– Заполнять, заполнять, – поспешил я.

Уже у выхода из кабинета я вдруг остановился, потому что вспомнил о неразрешимой проблеме с санобработкой.

– Ну, это пустяки, – успокоил комсомолец, – это мы решим. Главное, чтоб было красиво напечатано! – парень подмигнул и заправил лист в пишущую машинку.

– Народ верит печатному слову! – вожак выдернул лист из машинки, быстро расписался и подал бумагу мне. На бумаге было напечатано крупными буквами: «Справка. Тов. Мельников В. В. обработку прошел. Зам-Тюмень-Сан». И далее, в скобках, меленькими буквами: «Желдорга». Внизу стояла неразборчивая подпись.

– Чем непонятнее, тем лучше, – объяснил мой благодетель, – нужную дату проставишь сам. Эту справку я успешно предъявлял потом во всех инстанциях в Тюмени. Предъявлял ее милиционерам, военным патрулям, в поездах, на станциях и полустанках. А позднее, я предъявлял ее и в Москве. Выяснилось, что Москва только слезам не верит, а липовым справкам она свято верит, как и вся Россия.

Я пришел к знакомым в лагерь перемещенных лиц уже другим человеком. Человеком с Пропуском! Все поздравляли меня, завидовали и давали советы. Я поделился радостью и с самаровским знакомцем Колей. Он был значительно старше меня, но в войну от армии был освобожден, потому что с детства прихрамывал. Я даже не знал его фамилии. В Тюмень Коля приехал по каким-то своим делам. Все мужчины после войны донашивали военную форму и прихрамывающий Коля с медсанбатовской палочкой ничем не отличался от фронтовиков-инвалидов. Инвалидов жалели и побаивались, так как среди них попадались контуженные и психически неуравновешенные. Коля по секрету сообщил мне, что знает тупик, в который перед отправкой всегда ставят московский вагон.

Мы тут же разработали замечательный поэтапный план. Первый этап – покупка билета. Сначала мы осмотрели место действия. Билетная касса на тюменском вокзале – это глубокий тоннель-бойница, завершающийся глухой дверцей. Дверца открывается только перед прибытием поезда. Подойти к кассе вне очереди невозможно. У кассы денно и ночью стоят, сидят и лежат безбилетные пассажиры. Они живут у кассы неделями, знают друг друга в лицо и в час открытия окошечка очень агрессивны.

Решили действовать так: я со своими вещами буду стоять неподалеку, а Коле вручу деньги и документы. Когда час икс наступит и безбилетники столпятся у окошечка, Коля начнет размахивать палкой и закричит дурным голосом: «Разойдись! Убью!» Я, со своей стороны, буду кричать: «Контуженный! Контуженный!» Первый этап прошел успешно. Народ шарахнулся, а Коля оказался первым у кассы. Вскоре он вынырнул из толпы встрепанный и красный, в кулаке у него был билет.

– Теперь я – к вагону, а ты – на платформу! – крикнул Коля, схватил мой узел и исчез. В узле из полосатого тика у меня было одеяло, бельишко и главная ценность – зимнее пальто. Согласно второму этапу, я должен был освободиться от неудобного, громоздкого узла, а Коля, проникнув через окно в пустой вагон, должен занять для меня место. И вот, я на платформе. Жду поезда. Звонит колокол. Паровоз «Иосиф Сталин» свистит и приближается к платформе. Из зеленых вагонов выскакивают с чайниками дальние пассажиры. Скоро произойдет самое главное – прицепят наш вагон.

Наконец, вагон цепляют, к нему кидается толпа с детьми, узлами и чемоданами. Но происходит какая-то заминка. На подножке стоит милиционер с малиновым шнуром на шее и кричит в толпу одно и то же, как заведенный: «Вагон укомплектован! Вагон укомплектован!» Через вагонные окна видны люди, много людей – лица, головы, рты. Люди спрессованы в единую шевелящуюся массу и беззвучно друг с другом переругиваются.

Не одни мы с Колей, оказывается, были такими умными – к тупику пробрались и другие. Они набились в вагон и выходить не пожелали. Тогда вагон объявили «укомплектованным», а двери проводник запер на ключ. Звякнули буфера. Прозвонил колокол. Далеко впереди откликнулся паровоз. Вагон медленно поплыл. Проплыл в окне и мой полосатый узел, и Колино лицо. Коля изображал отчаяние, но как-то неубедительно. Ни узла, ни Коли я больше никогда не видел.

Я стоял на платформе с одним заплечным мешком и дико озирался. Подошел милиционер, потребовал документы. Я объяснил, что меня обокрали. Милиционер ознакомился со справкой о том, что я «обработан» и рассмеялся: «Это уж точно, что обработан! Не зевай – сам виноват!» К тетке я не вернулся, чтобы избежать ее причитаний, и отправился к перемещенным лицам. Там жила семья моего одноклассника – ссыльного поляка Стасика Закревского. Вся семья была дома, т. е. у костра. Они пекли картошку на ужин. Поляки долго ахали и лопотали по-своему. Потом Стасик перевел, что все они советуют мне попробовать ночью влезть в «пятьсот веселый». С детьми и вещами они сами не решаются, а вот я, поскольку оказался теперь без вещей, может быть, налегке и проскочу.

Я слышал уже про «пятьсот веселый». Это состав, сформированный из солдатских теплушек, в них перевозили войска на фронт и с фронта. После окончания военных действий такие составы стали использовать для перевозки штатского населения, чтобы разгрузить сумасшедший послевоенный пассажиропоток. Поначалу эти поезда пробовали включать в регулярное движение, их нумеровали: «пятьсот первый, пятьсот второй» и так далее, но вскоре теплушечных составов стало много и они стали передвигаться по стране без всякого порядка и расписания. С

тех пор, их и стали звать «пятьсот веселыми». Можно было во Владивостоке влезть в «пятьсот веселый» и беспрепятственно эдак через месяц доехать до Москвы. В вагонах сохранились солдатские нары, а пассажиры сами обеспечивали себя удобствами – запасались соломой для мягкости, а также едой и водой в меру предприимчивости. Никаких документов и билетов здесь никто не спрашивал. Про санобработку даже и не слыхивали. Поезда эти останавливались, как правило, на отдаленных путях, и, когда будет прибытие-отправка, толком не знал никто.

Мне посоветовали ждать «пятьсот веселого» сегодня ночью, на подъездных путях у входного семафора. Пробираясь в темноте, спотыкаясь о рельсы, подлезая под вагоны, было страшновато. То и дело с грохотом проносились мимо военные эшелоны. Вдалеке иногда постреливали. Это патрули отпугивали желающих поживиться казенными грузами. Почти перед рассветом я оказался у входных семафоров. Когда один из них поднял со скрипом железную руку, вдали показался теплушечный состав. Паровоз, пуская пары, остановился как раз около меня. В передних теплушках раздвинулись двери, и из них посыпался народ. Женщины и дети выпрыгивали по одну сторону вагонов, а мужчины – по другую. Сотни людей тут же принялись торопливо справлять большую и малую нужду.

Я подошел к одной из теплушек и влез в открытую дверь. Никто меня не окликнул и даже не пошевелился. Я влез на нары, в самый темный и дальний угол и зарылся в солому. Послышался паровозный гудок, потом раздались голоса возвращающихся пассажиров. Кто-то рядом толкнул меня в бок. Я не шелохнулся. Тогда этот кто-то просто меня отодвинул и лег рядом. Лязгнули буфера, и вагон медленно тронулся.

Факультет 138

Я долго лежал неподвижно и ждал, но, в конце концов, уснул и высунул голову из соломы, когда уже было светло. Поезд шел быстро. В открытых дверях теплушки мелькали деревья и столбы. Рядом со мной на нарах сидел пожилой мужик в ватнике и косоворотке. Он вдумчиво ел вареную картофелину и запивал из жестяной кружки.

– Ночью сел? – спросил мужик.

– В Тюмени, – ответил я.

– А куда?

– В Москву.

– Я тоже в Москву. Ты к старшему подойди, предьявись – у нас такой порядок.

Я подошел к парню в офицерском кителе без погон и рассказал о себе.

– Слушай внимательно, – сказал старшой, – не курить! Везде солома. Вспыхнет на ходу, и всем конец. Я назначаю дневальных – за кипятком бегать и за барахлом присматривать. Приказы исполнять! О чужих сразу докладывать. Все!

Сосед в ватнике оказался более словоохотливым. Он рассказал, что едет уже пятый день от самого Челябинска, что он литейщик с «Серпа и молота», вернее, был литейщиком, а теперь отпущен из трудармии по болезни. Я спросил у литейщика, где находится в Москве киноинститут.

– Вроде, где-то за сельхозвыставкой, – ответил литейщик, – но ты туда не поступай, институт не солидный, а поступай лучше на «Серп и молот» – я посодействую.

В вагоне народ гадал, каким маршрутом пойдет наш «пятьсот веселый» – через Казань или через Ярославль. Всех это очень волновало. От маршрута зависели дальнейшие пересадки и другие дорожные мытарства. У меня в вещмешке была купленная на тюменском базаре буханка хлеба, два огурца и приобретенная за бешеные деньги банка американской тушенки. Я отрезал ломоть хлеба, вскрыл тушенку и предложил соседу. Сосед наотрез отказался. «Это хорошо, что угощаешь, – похвалил литейщик, – только больше этого не делай – кто знает, какая будет твоя дорога. В пути все бывает!» В том, что жизнь непредсказуема, я убедился еще в Тюмени, когда перед походом на рынок проверил свою наличность. Сняв сапог, я вытащил стельку, под которой хранились деньги. Но от долгого хождения по Тюменским станциям красненькие тридцатки стерлись и профиль вождя на многих из них непоправимо поблек. Я обеднел примерно наполовину, а приобретение тушенки разорило меня окончательно. На будущее, по совету литейщика, я стал делить свою провизию на маленькие порции и ел только раз в день. Сколько таких порций у меня получится и сколько дней еще предстоит провести в теплушке, я не знал.

«Пятьсот веселый» пошел не через Казань, а через Буй – Ярославль. Одни пассажиры горевали, другие радовались. «А нам с тобой все равно, – сказал литейщик, – в России все дороги на Москву!» Странясь Ярославля, наш поезд миновал желдорзел Всполье и прямым ходом устремился к столице. Мы сидели в дверях теплушки, и литейщик, как знающий человек, рассказывал мне всякую всячину. «Сейчас будет Александров, – говорил сосед, – сто первый километр! Сюда ссылают всяких мазуриков и оппортунистов!» Кого называл оппортунистами мой знающий попутчик, было непонятно.

В Москву «пятьсот веселый» пришел, конечно же, ночью. Мы с литейщиком долго плутали в неразберихе станционных путей и составов. Потом мы неожиданно и как-то сразу вышли к платформам Казанского вокзала.

Москвичи спешили к утренним электричкам. «Господи! Москва!» – сказал литейщик и заплакал. Про меня он сразу же забыл и пропал в толпе. Я пристроился на длинной скамье в переполненном зале ожидания и стал обдумывать свои планы. Прежде всего, нужно было отыскать Менделеевку. Я подошел к справочному бюро и неожиданно для самого себя спросил: «А как проехать к институту кинематографии?» Мне дали бумажный квадратик с адресом, и я поехал через огромный незнакомый город разыскивать безвестную улицу Текстильщиков.

Я долго трясся в набитом москвичами утреннем трамвае. На приезжего в мятой одежде и с остатками соломы на спине поглядывали с брезгливой осторожностью. От Рижского вокзала и к Ярославскому шоссе трамваи почему-то не ходили. Тогда я пошел пешком. Трамваи не ходили, оказывается, потому что большой пустырь перед сельхозвыставкой и до самого села Алексеевского заставлен был солдатскими палатками, танками и пушками. Здесь шла подготовка к параду в честь победы над Японией. К вечеру я, наконец, добрался до этой самой улицы Текстильщиков и отыскал дом номер один «бэ». Среди окраинных заборов и складов высилось серое здание с квадратными колоннами. У входа была надпись: «Киностудия Союздетфильм». Я обошел дом и нашел другой вход. На стене висела табличка: «Всесоюзный Государственный институт кинематографии». Входные двери были забиты фанерой. Я, на всякий случай, по фанере постучал. Дверь неожиданно открылась, и вышел старик в поношенной милицейской шинели.

– Чего? – спросил старик.

– Мне нужно в киноинститут, – сказал я.

– Осенью приходи!

– Так уже осень!

– Значит, через год приходи. С эвакуации еще не вернулись! Не видишь, что ли?

И сторож захлопнул дверь. Каким все же дальновидным оказался тюменский комсомольский начальник! Поздней ночью я брел по тверским-ямским переулочкам к Менделеевке. У фундаментальной проходной я позвонил. Отворил охранник в добротной форме с малиновыми петлицами.

– Приезжий? Факультет 138? – спросил охранник.

Я кивнул. Охранник провел меня по коридору и впустил в комнату, где стояли по-армейски заправленные койки.

– Выбирай любую и ложись, – приказал охранник, – явка в приемную к девяти ноль-ноль!

Ровно в девять я был уже в деканате факультета 138. В комнате ожидали будущие студенты. Все это были приезжие парни. Девчонок не было. Меня вызвали третьим.

– Мельников? Тюменская область? Документы!

Я предъявил человеку с малиновыми петлицами мои бумаги. Столичный малиновый внимательно просмотрел приглашение, копию аттестата и мое временное удостоверение личности. Удостоверение он рассматривал долго. Потом, наконец, отдал бумаги пожилому дяденьке в штатском. Штатский встал и вручил мне уже заполненный студенческий билет: «Поздравляю тебя, Мельников Виталий Вячеславович, с зачислением на первый курс нашего факультета 138. Желаю всяческих успехов! Направление в общежитие и продовольственную карточку получишь в комнате сорок один! Второй этаж!» Я молчал, потому что рассчитывал все-таки узнать, чему учат на факультете 138. «Что же ты стоишь? Ступай! Действуй!» – приказал штатский.

Я поселился в длинном шестиэтажном корпусе студ-городка в Головановском переулке. Всю войну корпуса эти простояли пустыми, потому что студенты воевали. Теперь в общежитии делали срочный косметический ремонт и завозили кровати. Всюду пахло скипидаром и масляной краской. Заселением и ремонтом шумно распоряжался комендант Повидло. Фамилия у него была другая, но студенты с первого дня закрепили за ним такое прозвище. Это был бодрый усач с замашками ротного старшины. Говорил он с сильным южнорусским акцентом. Сейчас все свои силы и энергию Повидло отдавал борьбе с клопами. Учебный процесс пока пришлось вообще приостановить. Оголодавшие за время войны и впавшие в спячку клопы очнулись от ремонтных запахов и учуяли появление молодых полнокровных студентов. В первую же ночь клопы устроили пиршество. Искусанные студенты не спали и чесались до утра. Комендант принял меры и залил керосином все подозрительные щели. Он также засыпал все и вся антиклопиным порошком «перетрум».

Но передышка была короткая и временная. Видимо, клопы из нашего корпуса подали весть собратьям из соседних, пустующих корпусов. В следующую ночь началась вакханалия. Все преграды, отравы и ловушки, которые приготовил для клопов Повидло, враги обходили с легкостью. Например, хитрый Повидло придумал ставить ножки наших кроватей в консервные банки и наливать туда керосин. Так он предполагал лишить этих тварей возможности перебираться с пола по кроватным ножкам в постели. Но клопы, пережившие войну, проявили смекалку. Они подползали по потолку и, выбрав позицию, пикировали на вкусных студентов сверху. Доведенный до отчаяния студент Лёша Петровский густо посыпал «перетрумом» простыню, плотно закрылся с головой и попытался уснуть. Его увезли на «скорой помощи» с «опасным для жизни токсикозом». А клопы, как ни в чем не бывало, жили прежней деятельной жизнью. Тогда бессонные студенты переселились на плоскую крышу корпуса. Осень выдалась теплая, студенты – народ неунывающий, и поэтому с крыши всю ночь теперь несло хоровое пение. Потом кто-то

придумал танцы под радиолу, а тут уж было недалеко и до аморалки.

Однажды ранним утром на крышу общежития поднялась специальная комсомольско-профсоюзная комиссия. Она застала возмутительную картину – утомленные ночным бдением студенты и студентки спали на крыше вповалку, без различия полов и факультетов. Тогда явилась еще одна комиссия. Она состояла из солидных, ученого вида товарищей, вперемешку с малиновыми.

– Ну уж, твои-то с клопами покончат. И не только с клопами! – сказал мне Лёша Петровский.

– Кто это «мои»? – удивился я.

– Да, твои, со спецфака 138! Своих не узнаешь?

Таким неожиданным образом я познакомился со спецификой родного факультета. Здесь готовили будущих специалистов в области создания и производства ОВ, т. е. отравляющих веществ. Теперь многое становилось понятным: и посулы тюменского вожака, и повышенная стипендия, и набор студентов из отдаленных областей. Столичные мамы и папы быстро распознали бы, что к чему, и не отдали своих деток на эдакое дело.

Между тем, начался учебный процесс. Я добросовестно преодолевал начерталку, сопромат, усиленный курс химии. Учился я, по инерции, хорошо, как мама велела. В комнате мы жили вчетвером. У одной из кроватей всегда стояла сияющая кожей и никелем нога, а над другой висела скрипка. Владельцем протеза был фронтовик Михаил, а с помощью скрипки терроризировал общежитие Лёша Петровский. Он был скрипач-любитель. У меня личного имущества не было по известным причинам. Все, что считал ценным третий сосед, Коля Грешищев, всегда заперто было в его тумбочке на аккуратный замочек. По ночам Коля отпирал тумбочку и что-то жевал под одеялом. Жадность свою Коля не скрывал и даже гордился ею. О себе он говорил стихами: «Русский я мужик простой – вырос на морозе!» Была еще одна койка – пустая. Она числилась за профсоюзным активистом Борькой Гуттенбергом. Он появлялся у нас, извлекал из толстого портфеля всякие профподачки: плитки гематогена, талончики УДП – усиленного дополнительного питания, и с деловым видом снова исчезал. Жил он под Москвой, в Подольске, с мамой и папой.

Однажды, когда я вечером готовился к семинару по химии, а в комнате мы были только вдвоем с Михаилом, он вдруг спросил:

– Ну что, букварь, стараешься?

Букварями в Менделеевке называли первокурсников. Я кивнул утвердительно.

– Я бы на твоём месте не переутомлялся.

И Михаил, где намеками, а где и впрямую, объяснил, что меня ждет на спецфаке.

– Во-первых, – пообещал он, – после первого семестра тебя засекретят, возьмут подписку о неразглашении, присвоят воинское звание и ты, согласно твоей специальности, поедешь вдыхать иприты с льюизитами, куда Макар телят не гонял. Ты зачислен по направлению?

– По комсомольскому, – подтвердил я.

– Тогда дело обстоит еще хуже. Если ты теперь откажешься, могут пришить и политику. У тебя как с соцпроисхождением? Учти, что при засекречивании перетрясут всех твоих родственников до седьмого колена. А если что не так или что-нибудь ты утаил, тебя просто посадят и тогда ты, все равно, поедешь вдыхать тот же иприт, но уже как заключенный.

– А как же быть? – потрясенно спросил я.

– Прежде всего, не высовываться!

– Не посещать занятия?

– Такое здесь не проходит! Но ты постарайся учиться похуже, потом еще хуже, потом – совсем плохо. Если повезет, могут отчислить. Тупицы и на спецфаке не нужны!

Через месяц меня вызвали в деканат и сделали предупреждение за небрежное исполнение лабораторных работ. Вскоре на меня пожаловалась англичанка – у меня было карикатурно-плохое произношение. Ей даже показалось, что я ее передразниваю. Постепенно за мной установилась репутация ленивого среднячка-недотепы.

– Для изгнания со спецфака этого мало! – инструктировал меня Михаил.

– Может, слиться с октябрьской демонстрацией? – предложил я.

– Нет! Только не это! – ужаснулся он.

Между тем, систематически уваливая от занятий, я оказался в рядах отстающих уже естественным путем. Через месяц меня лишили стипендии за неуспеваемость.

– Молодец! – похвалил меня Михаил и одолжил денег.

Одолженные деньги быстро кончились, а стипендию мне не восстановили. У Михаила была невеста Вера. Она жила в нашем общежитии, но на другом этаже. Заботливая Вера постоянно варила для Михаила суп и оставляла кастрюлю под подушкой для сохранения тепла. Теперь Михаилу пришлось со мной делиться и супом.

– Ничего, – подбадривал меня сосед, – мы своего добьемся!

Подходил к концу решающий семестр, а меня в деканат больше не вызывали. Староста курса проскакивал мимо

меня, не поднимая глаз. Наконец, еще через месяц, к нам в комнату пришел из института торжествующий Михаил.
– Поздравляю, – сказал он, – висит приказ о твоём отчислении!

«Вторые горячие»

Вскоре начали сказываться и последствия моего отчисления. Вежливо постучавшись, пришел к нам комендант Повидло и объявил мне, что поскольку я уже не студент спецфака, то не имею права и на койко-место в общежитии. Срок выселения – десять дней. Но, ввиду того что на дворе уже зима, он, Повидло, идет мне навстречу и продлевает срок на две недели. В нашей комнате состоялся совет. Все ребята, конечно, знали, что я приехал издалека и до весенних ледоходов в Сибири деваться мне некуда. Но и обосноваться в Москве тоже немыслимо – в столице суровый паспортный режим. И тут я с ужасом вспомнил о своем временном удостоверении личности. С такой бумагой, выданной в ссыльно-каторжных краях, едва ли куда-нибудь и когда-нибудь устроишься.

– Да вот же койка стоит пустая – гуттенберговская, – сказал Лешка Петровский.

– Мысль хорошая, – согласился Михаил, но требует проработки. Действуем так: Вера сварит картошку, Грешищев отдаст сало. У тебя оно есть! Я знаю! – уверенно сказал Михаил Грешищеву. – А ты, Лешка, иди к Повидле и приглашай его на свой день рождения.

– А когда у меня день рождения? – спросил Петровский.

– Сегодня, – сказал Михаил.

– А имя-отчество Повидлы? – поинтересовался Петровский.

Оказывается, никто этого не знал. Тогда спросили в девчачьих комнатах. Выяснилось, что Повидлу зовут Поликарп Иванович Садовой.

Вечером состоялся банкет. Повидло пришел в галстук. Его усадили на почетное место, и он поздравил новорожденного. Михаил как старший по комнате поблагодарил Поликарпа Ивановича за повседневную отеческую заботу о студентах. Потом Грешищев принялся разливать невесть откуда взявшийся спирт. Повидло глядел на спирт строго, но молчал. Тогда Михаил предложил тост за товарища Сталина. Повидло крикнул и выпил. Это послужило сигналом к началу неофициальной части торжества. Разбавили еще спирта и выпили теперь уже персонально, за Поликарпа Ивановича. Потом выпили за родителей новорожденного. Беседа оживилась. Поругали клопов, затем перешли на международное положение и стали ругать Трумена.

Михаил рассказал, как американцы подарили ему ногу. В госпитале, в западном секторе Берлина, они преподнесли Михаилу в свой День Благодарения усовершенствованный суперпротез на память о боевом сотрудничестве. Недолго думая Михаил отстегнул протез и передал по кругу – все с интересом разглядывали медную пластинку с гравировкой на английском языке. Повидло, на всякий случай, сказал, что наши протезы лучше. Я знал, что с этим подарком у Михаила были неприятности. После торжественного вручения протез у него сразу изъяли малиновые. Они зачем-то его разобрали, а потом долго не могли собрать.

Улучив минуту, ребята затеяли разговор о моем трудном положении. Повидло уже расслабился, очень мне сочувствовал, но ничего не обещал. Выпили еще по одной. Подогревая веселье, Петровский попытался исполнить что-нибудь на скрипке, но Поликарп Иванович вдруг неожиданно запел сам.

– Раз полоску Маша жала, золоты снопы вязала, – старательно выводил Повидло, – молодая, эх! Молодая!

Это была любимая песня моего деда Данилы Фомича. Комендант пел долго, потому что в песне было множество куплетов. Один из них Повидло подзабыл, и я ему с готовностью напомнил. Повидло поблагодарил и повторил, но уже с игривым продолжением. Тогда я в ответ спел забористый дедовский куплет, из-за которого меня в детстве отправляли погулять. Повидло вошел в азарт и достойно мне ответил. Тогда я ошеломил его манчжурским куплетом про китайку в гаоляне. Повидло меня обнял и тут же объявил своим лучшим другом. Михаил намекнул, что друзей в беде не оставляют. С тех пор, на глазах у Повидлы, я беспрепятственно проникал в общежитие и спал на гуттенберговской кровати. Но я понимал, что долго так продолжаться не может. Тем более, что меня лишили еще и продовольственных карточек. Как жить и на что жить, было непонятно.

Всю осень и зиму я регулярно посещал центральный телеграф. Именно сюда, до востребования, обещала писать мне мать. Но писем все не было. Сюда же на центральный телеграф я приходил греться, потому что днями бродил по городу и являлся в общежитие только ночевать. Но однажды я пришел днем и застал в комнате Борьку Гуттенберга. Он сидел на кровати и раскладывал какие-то бумажки.

– На ловца и зверь бежит, – приветствовал меня Борька, – хочешь заработать?

– Хочу, – сказал я.

– Тогда будешь у меня внештатным сотрудником – распространителем театральных билетов. Механика такая: через меня идут все неликвиды – невостребованные или нереализованные билеты. Эти неликвиды ты будешь продавать прямо у театров перед началом спектаклей. Учти, что среди неликвидов будет попадаться и дефицит. Пойдешь для пробы сегодня же. Вот тебе два билета в Большой, на «Князя Игоря». Это дефицит! Видишь, цена на

билете – двенадцать рублей, а продавать будешь по двести. Поглядим, на что ты способен!

Прощаясь, Борька оглядел меня критически и накинул мне на шею собственный модный белый шарф.

– Это тебя облагородит, – пояснил Борька, – ведь, не капуста будешь торговать!

Вечером под колоннами Большого театра, как всегда, толпился народ. Одни охотились за «лишним билетиком», другие поджидали знакомых. В толчее лавировали билетные жучки. Они бормотали в пространство: «есть второй ярус» или «два в амфитеатре». Жучки хорошо знали друг друга и поглядывали в мою сторону. На клиента я не был похож, а для коллеги – не слишком активен. Я долго стоял у колонны и не знал, с чего начать. Неподалеку возник милиционер. Я переместился к другой колонне и застыл, якобы поглядывая на часы, которых у меня не было. Народ заспешил к входным дверям, а я все бездействовал. Положение становилось отчаянным. Но тут под колонны вступил огромный полковник в огромной папаче. За него держалась дамочка в пушистой шубке. Полковник осмотрелся, и взгляд его остановился на мне.

– Слушай, парень, ты, случаем, не спекулируешь билетами?

– Что вы! – возмутился я.

– Конечно, вы не спекулируете, – согласилась дамочка, – но может быть, все же, у вас найдется два билета?

– За любые деньги, – добавил полковник.

– Он из части, проездом, – уговаривала дамочка, – ну, пожалуйста!

– Двести, – сказал я сдавленным голосом.

– Вот, спасибо тебе! – полковник сунул мне деньги и пожал руку.

Я смотрел вслед, чувствуя себя мерзавцем.

– С почином, – сказал Борька, – он неожиданно оказался рядом, – пойдем в метро. Там в тепле и рассчитаемся. На мраморной лавочке, в метро «Охотный ряд», Борька пересчитал деньги и вернул мне две десятки.

– Твоя доля будет десять процентов.

– Значит, от полковничьих четырехсот – получается сорок. А еще двадцать? – спросил я.

– А двадцать я с тебя удерживаю за мою персональную койку, на которой ты спишь.

С Борькой у нас, таким образом, установились деловые отношения. Позднее я понял, что Борька называл «дефицитом» особо привлекательные билеты, которые он утаивал, распределяя среди студентов. Я вступил на несправедливый путь. Я это сознавал, но постоянно хотелось есть. Хлеб я покупал у булочной. Такие же бедолаги, как я, продавали часть своей хлебной нормы, чтобы купить на эти деньги что-нибудь другое – стакан пшенки, например, или папиросы. С куском черняшки за пазухой я направлялся к местечку, у которого обычно торговали мороженым.

Говорят, что Черчилль был потрясен, увидев москвичей, поедающих на сорокоградусной стуже мороженое. Не понимал этот лорд, что москвичи не прохлаждались, а питались. По какому-то начальственному капризу, время от времени на улицах столицы появлялись крытые автофургоны, из которых сизошекие тетки продавали без всяких карточек брикеты высококалорийной еды, т. е. мороженого. Мгновенно у фургонов выстраивались очереди. Получив свой бескарточный брикет, я поглощал заранее заготовленную черняшку и подслащал ее мороженым. Это и был мой обед, на который я тратил свой честный, а временами и с риском отработанный процент. Меня пытались побить конкуренты, ловили милиционеры. Но в карманах у меня всегда было только два билета, и я оправдывался тем, что просто поджидаю приятеля.

Однажды я был схвачен с поличным. В ответственный момент расплаты с клиентом на плечо мое опустилась тяжелая рука. Клиент, конечно, тут же исчез, а меня повели в недра театральной администрации. За фундаментальным резным столом, сохранившимся с императорских времен, сидел породистый дядька и допрашивал меня хорошо поставленным голосом. Он, наверное, пел когда-то, а теперь вот администрирует. Я объяснил ему, что я бедный студент, обожающий оперу, и, как раз в тот момент, когда я отдавал последние гроши спекулянту, меня схватили и неправильно поняли.

– Ах, вот так это было? – пропел администратор. – Клавдия Степановна! Проводите молодого человека на шестой ярус, в ложу бенуар!

Капельдинерша долго вела меня по узким железным лесенкам. Откуда-то сверху доносились оперные рулады. Маленькая дверца открылась, из полумрака грянул хор. Где-то далеко внизу я обнаружил освещенный кусочек сцены. На этом кусочке толпились какие-то бояре и печенег. Сверху видны были только мохнатые шапки и лысины. Артисты пели и размахивали порожними кубками. Кроме этого освещенного кусочка, ничего из происходящего на сцене не было видно. Я двинулся к маленькой дверце, но ее кто-то запер. Ложка была узеньким огороженным выступом. На выступе можно было только стоять по стойке смирно, прижавшись к стене. В спину упирался барельеф какого-то купидона, дующего в трубу. Было больно. Я прослушал в этой позе всего «Князя Игоря». Потом под аплодисменты занавес опустился, а маленькая дверца ложки открылась.

– Это вам урок, молодой человек! Больше так не поступайте, – сурово сказала капельдинерша, – выход – по лестнице вниз и налево!

Оказывается, вальжный администратор придумал наказание для начинающих перекупщиков – что-то вроде

оперного карцера. Это было гуманно. Могли отправить и в милицию.

Вечером Борька потребовал с меня неустойку. Он, видите ли, понес убытки. Мне было обидно, потому что несправедливо! Но примерно через неделю я получил если и не материальное, то хотя бы моральное удовлетворение. Случилось это после операции «вторые горячие». Так назывались разовые талончики, которые в дополнение к карточкам иногда выдавали студентам в профкоме. Наступили очередные каникулы, студенты разъехались по домам, а Борька «не успел» эти талончики раздать. С озабоченным видом он объяснил, что «вторые горячие» придется «толкнуть», потому что пропадает добро. Борька притащил лист неразрезанных талонов размером с простыню, и мы принялись разрезать простыню на квадраты поменьше. Предполагалось продавать талоны, переезжая с рынка на рынок, по два рубля за штуку. Работал, конечно, я, а Борька руководил.

Начали с Тишинки. Это был главный послевоенный рынок столицы. Тишинское торжище заполонило всю площадь у Белорусского вокзала, Васильевскую и Брестские улицы, а также Грузинский вал. Здесь можно было купить всякую одежду и еду, боевые ордена, аттестаты и дипломы. Здесь же можно было оформить фиктивный брак и снять жилье. Тишинка могла все! Она проникла даже под землю. Однажды, это было в золотые дни, когда я числился студентом и еще получал стипендию, я спускался по эскалатору в метро Белорусская с обновкой. Обновку, чтобы не помять, я перекинул через руку. Это были замечательные коверкотовые штаны.

– Стой! Стой, тебе говорят! – закричал мне дядька с эскалатора, который поднимался вверх.

Я остановился. Ко мне бегом спускался мужик в пиджаке точно того же цвета, что и мои новые штаны.

– Продай, роднуля, продай! – уже издали просил мужик. – Отдай штаны! Озолочу!

Видимо, костюм был ворованный и его «толкнули по частям». В конце концов, штаны я ему перепродал. Мужик их радостно примерял здесь же в метро, за колонной. Мои «вторые горячие» на Тишинке пошли нарасхват по три рубля штука. А на Цветном бульваре, у Центрального рынка, те же талончики барыги продавали уже по три с полтиной. Но зато на Рогожском брали только по пять за пару и то неохотно. Наверное, я перенасытил рынок. Неожиданно ко мне подбежал пацаненок и поманил в сторону. За синим пивным ларьком сидел на ящиках здешний бугор в кожаном реглане. Бугор объявил мне ультиматум. Первое: прекратить торговлю «горячими» до выяснения общей рогожской конъюнктуры. Второе: оптом продать бугру все имеющиеся у меня талоны. Бугор согласен на приплату – по четыре за штуку, но с условием, что я здесь никогда больше не появлюсь. «А появишься – не обижайся», – сказал он. Вечером Борька меня похвалил, но потом вдруг спросил: «А может, на Рогожском дают не по четыре рублика, а по пять? Ты не дуришь меня, ненароком? Завтра с утра я сам туда поеду!» Я сказал, что не советую. Борька ответил, что в моих советах не нуждается. А назавтра Гуттенберг появился в общежитии со здоровенным синяком и разбитой губой. Мне он сказал только, что операция «вторые горячие» отменяется, потому что внезапно упали цены. «Себе дороже!» – сказал Борька.

По какой-то причине Гуттенберга из профкома вышибли, и теперь я спал на его персональной койке бесплатно. Но одновременно я лишился всех моих несправедливых заработков. Я попробовал было достать дефицитные билеты самостоятельно и спекулировать. Всю ночь я простоял у касс в толпе сумасшедших меломанов, но билетов мне не досталось. Тут орудовала своя шайка. Писем до востребования тоже не было.

Однажды я сел зайцем в трамвай и поехал вдоль пустынного Ярославского шоссе куда глаза глядят. Ехал долго, думал о своих неудачах и приехал неожиданно для себя на заветную улицу Текстильщиков дом один «бэ». Снег у здания ВГИКа был расчищен, фанеру с дверей уже содрали, а стекла отмыли. Поодаль из грузовика вынимали какие-то ящики. Я заглянул в вестибюль. У входа за столом сидел знакомый охранник в новой шинели.

– Ты опять здесь околачиваешься? – удивился он. – Обустраивается наш ВГИК! Летом или осенью приходи!

Я пошел к дверям.

– Абитуриент! – окликнул меня стражник.

Я вернулся.

– А лучше всего – брось ты это дело – плюнь! – посоветовал он. – Понасмотрелся я на таких, как ты!

И стражник рассказал поучительную историю. Видимо, он ее рассказывал не раз и не два.

– Перед самой войной, – излагал стражник, – наш Сергей Аполинарьевич Герасимов затеял снимать картину про Пушкина. Об этом, конечно, стали в газетах писать и по радио говорить. И вот один абитуриент экономического факультета, Семен его звали, посмотрелся утром в зеркало и увидел, что он вылитый Пушкин. Был он собой курчавый, а когда отпустил баки, то от Пушкина его уж и совсем было не отличить. Семен учение забросил, раздобыл на Тишинке длинный пиджак, цилиндр и стал целыми днями прохаживаться перед кабинетом Сергей Аполинарьяча. Надеялся, что он его заметит и пригласит на главную роль.

А в кино знаешь как? То сценарий запрещают, то денег не дают! Да, помимо Семена, и другие Пушкины вокруг Герасимова так и вьются, так и вьются! А тут еще и война началась – стало не до Пушкина. Я про этого Семена и думать забыл и вдруг встречаю его в электричке, на Ярославской дороге. Оказывается, устроился контролером, ждет, когда война кончится и Герасимов из эвакуации вернется. Так и ходит по вагонам с бакенбардами и в цилиндре. Компостером дырки в билетах пробивает. Меня он узнал. Я, говорит, живу надеждами и стихи пишу.

Прочитал мне стих: «Подъезжая под Северянин, я взглянул на небеса и вспомнил ваши взоры, ваши синие глаза». Вот так, абитуриент, – закончил рассказчик, – спятил этот Семен. Потом совсем опустил. Здесь, рядом, в овощехранилище картошку перебирает, при бакенбардах и в цилиндре. Слушай, – оживился стражник, – есть же хорошая работа и совсем рядом. С одноразовым питанием и прописка не нужна. Хочешь?

Еще бы я не хотел! В овощехранилищах, что у станции «Северянин», человека в цилиндре я не обнаружил. Все были в замусоленных ватниках и кирзовых сапогах. Перебирая и сортируя гниющие овощи, здесь копошилось множество молчаливых людей с испитыми лицами. Рабочих нанимали на день. Документов не спрашивали и один раз, в обед, кормили. Блюдо называлось «рагу овощное особое». Это была вареная мешанина из всех не до конца сгнивших овощей. Толстая грязная повариха накладывала «рагу» огромными порциями. В обеденный час каждый устраивался в углу и орудовал собственной ложкой. В первый день мне ложку одолжила повариха. Она вежливо протерла ее собственным подолом. Здесь никто не смеялся и не переговаривался. Все вели себя так, словно их застали за каким-то стыдным делом. Вечером поденщики порознь брели к трамвайному кольцу, а засветло все начиналось сначала. Усталый, но с раздутым пузом, я ехал через весь город в общежитие, валился в постель и соседи подозрительно принюхивались к запахам гниения, которые я распространял. Так было всю весну.

Муксун в томате

Однажды я пришел на центральный телеграф и обнаружил там письмо от матери. Мать писала из Кировской области, из какого-то села Ново-Троицкого. В первые послевоенные дни всюду говорили о великой амнистии, которую хочет объявить товарищ Сталин. Мать, сидючи в далеком Самарове, очень заволновалась – а разыщет ли нас отец в эти счастливые дни освобождения? Тем более, что и сынок не подает вестей из столицы. Последним парходом, уже по осенней шуге [7 - Шуга – рыхлый лед на поверхности водоема. – Ред.], мать выехала к еще одной своей сестре Валерии, в это самое Ново-Троицкое. Известий о всеобщем освобождении больше не поступало, и мать осела временно здесь. Работает в местной школе.

Я кинулся на Ярославский вокзал, разузнал все про станцию Шабалино, о которой упоминала мать, и, как опытный путешественник, стал ждать попутного «пяťсот веселого». На следующий день я уже тряса в теплушке, а ночью вылез на станции Шабалино. До станции было рукой подать – семнадцать километров. Никакой транспорт – ни конный, ни моторный по этой дороге весной не ходил – тонул. Я пришел в село ночью, мокрый по пояс и отошавший – классический блудный сын! Сколько было тут у нас разговоров и объяснений!

В одном из своих первых писем я сообщал, что поступил в Менделеевку. Этой версии пришлось мне придерживаться и сейчас. Чтобы не огорчать мать, я врал направо и влево. Я рассказывал про всяческие успехи и радости столичной жизни, но в глазах матери угадывалось недоверие и тревога. Мой вид говорил об ином. Ночью мать стирала мою одежду и плакала.

В маленькой комнатке при школе стоял на почетном месте «Зингер-полукабинет»! Как мать доставила его через сибирские дали и послевоенную неразбериху? Какие силы, упорство и вера для этого потребовались! Мне оставалось только одно – продолжать врать. Я бы, наверное, не выдержал и все рассказал, но помогла сама мать.

– А когда у тебя начинается сессия, – спросила она, – в июне?

Мне оставалось только согласно кивнуть головой.

Мать захлопотала, готовя меня к отъезду на «сессию». Не только громоздкий «Зингер-кабинет» привезла мать с собою, но и кой-какую одежду отца она сохранила, потому что «вернется отец, а надеть нечего – теперь не купить». После некоторого колебания она решила сначала, все-таки, приехать ко мне. Я был вычищен, заштопан, перелицован и полностью готов к отъезду. Куда я намерен был ехать? Этого я не знал. Я знал только, что не имел права не ехать.

Прямо с поезда я помчался на Текстильщиков, ко ВГИКу. У ВГИКа было оживленно. Входили и выходили не по-нашему одетые люди, они весело переговаривались на незнакомых языках. На дверях висело объявление: «Вход для лиц, прибывших по целевому набору». Знакомого стражника не было. За его столом сидел дядька в штатском. По виду – малиновый. Я проскользнул к столу с табличкой: «справки». Не успел я там и слова сказать, как бойкая девица мне продекламировала:

– Граждане СССР, желающие поступить в наш институт, могут подать заявление только в будущем году. Вы фронтовик?

– Нет.

– Тогда приходите на будущий год. Кто следующий? Вы фронтовик?

Пока я ездил к матери, во ВГИКе произошли важные события. Решено было в этом учебном году отдать предпочтение участникам войны и гражданам из «стран народной демократии» – полякам, чехам, венграм и т. д. Исключение составляли только «направленцы» из союзных республик. Был еще дополнительный набор на актерский факультет, но в артисты я не стремился.

Должен сказать, что за мою московскую зиму я несколько цивилизовался. Я часто ходил в театры (с

некоммерческими целями). Много читал (но не учебники по химии). И теперь уже знал, как мне казалось, что-то о кино. И вот, я потерянно брожу по шумным вгиковским коридорам. Все мои надежды и детские планы опять рухнули. У дверей с табличкой «кафедра режиссуры» толпятся счастливы в военных гимнастерках. Позвякивают медали. Фронтовики громко спорят. Слышно: «Грифитс!.. Чаплин!.. Бобслей! Сверхзадача!». О Грифитсе и Чаплине они говорят, как о своих приятелях. У актерского деканата в окружении неземных красавиц разглагольствует человек с пышными усами, обнимая по-свойски самую из них неземную.

– Ну, Ким Арташесович! Ну, пожалуйста! – просят его о чем-то студентки.

У всех этих счастливых людей впереди необыкновенная и недоступная для меня жизнь.

– Вы к кому, товарищ? – спросил подошедший малиновый.

– Сюда! – я ткнул пальцем наугад.

Это была дверь с табличкой: «Директор тов. Головня В. Н.». Деваться мне было некуда, и я вошел. За секретарским столом – никого не оказалось, а директорская дверь была полуоткрыта. Тогда я открыл ее пошире. Человек со строгим лицом и ровным пробором говорил по телефону. Он приглашающе кивнул, и я сел поближе.

– Да? – спросил директор.

Я молчал.

– Слушаю, – повторил он.

– Вот! – я судорожно развел руками. – Не знаю, товарищ Головня, как вас по имени и отчеству, но я уже второй год не могу поступить во ВГИК!

Головня посмотрел на меня внимательно.

– Что ж, – сказал он, – у нас это бывает, а зовут меня Владимир Николаевич.

– Но это же безобразие, Владимир Николаевич! – возмутился я. – Едешь, едешь к вам, добираться, а у вас то эвакуация, то реорганизация!

В моем вопле, наверное, слышалось отчаяние. Головня взглянул на меня с интересом.

– И откуда же вы к нам добирались? – спросил он.

Я объяснил.

– Документы ваши покажите.

Я выложил на стол временное удостоверение. Оно стерлось по краям и распадалось на четвертушки. Четвертушки были подклеены папиросной бумагой. Потом я выложил аттестат.

– Что это? – воскликнул Головня, обнаружив на обороте золотую рыбину с надписью «Муксун в томате».

– Это мой аттестат, – пояснил я, – ведь я медалист!

– Вот, что, – сказал озадаченный Головня, – идите-ка за мной, может быть, с вами побеседуют. С моими документами в руках директор проследовал по коридору и остановился у двери, на которой не было табличек. «Ведет меня к малиновым», – подумал я. В комнате было четверо, но все в штатском. Один маленький, лобастенький сидел за столом отдельно – видимо, начальник. Головня наклонился к нему и что-то тихо сказал. Лобастенький взял мой аттестат и посмотрел на золотого муксуна в томате. Потом он молча передал аттестат присутствующим. Документ долго переходил из рук в руки. Один из четверки громко рассмеялся. Начальник взглянул на него, и тот умолк.

– Ну, что же, Виталий Вячеславович, – заговорил лобастенький, – вы, кажется, интересуетесь кино?

– С детства, – ответил я.

– А сколько вам лет? – спросил он.

– Семнадцать.

Кто-то снова рассмеялся, но под взглядом главного умолк.

– Вы могли бы нам пересказать какой-нибудь фильм?

– Могу! Хотите, «Боевой киноборник номер шесть»?

Лобастенький кивнул.

– «Боевой киноборник номер шесть»! – громко объявил я, как объявляют конферансье на концертах.

Все почему-то посмотрели на человека очень заграничного облика с благоухающей сигаретой в зубах.

– «Киноборник номер шесть»! – повторил я. – В главной роли артист Тенин!

И я принялся перечислять всех, кто значился в заглавных надписях «Боевого киноборника». Эти фамилии, от оператора с его ассистентами, до директора со всеми его администраторами, я мог бы повторить без запинки, в любое время дня и ночи.

– Часть первая! – объявил я и с патологической точностью, со скрупулезными подробностями пересказал первую часть. – Часть вторая!

– Стоп! – закричал лобастенький. – Довольно!

Шикарный человек с заморской сигаретой встал и взволнованно прошелся по комнате.

– Тебе так запомнился этот фильм? – спросил он.

– Еще бы, я из-за него чуть не утонул, – объяснил я.

Жизнь моя, уже в который раз, до смешного неправдоподобно перевернулась. Маленький лобастенький был Сергей Михайлович Эйзенштейн, а шикарный и благоухающий – Сергей Юткевич. Он как раз набирал новый режиссерский курс для своей мастерской. Руководствовался он теорией «чистого листа». Предполагалось, что ученик, напичканный сведениями по истории и теории кино, заведомо не способен создать ничего нового и оригинального. Предпочтительнее – полный невежда, родом из дикой глубинки. Я оказался идеальным претендентом! Какую-то роль во всем этом сыграл, наверное, и «Боевой киноборник». На следующее утро директор мне объявил, что я принят во ВГИК на режиссерский факультет.

– Ты, надеюсь, понимаешь, что все происшедшее – чистая случайность?

– Конечно, конечно! – радостно согласился я.

– Нет, – пока ты этого не понимаешь, – вздохнул Головня.

Общежития у ВГИКА не было, и жилье для вгиковцев было разбросано в разных частях Москвы и Подмосковья. Иностранцев селили поблизости – в Алексеевском студгородке. Наши размещали за городом, в Лосиноостровской. А инвалидов войны и девушек устроили в центре, во втором Зачатьевском переулке. Здесь был когда-то монастырь, основанный в память о непорочном зачатии Девы Марии. В его бывших кельях и поместили всех красавиц и будущих кинозвезд. По этому поводу было много шуток, но потом все привыкли, и девушки тоже. Зачатьевка стала самым веселым местом у вгиковцев. Она превратилась в наш клуб. Сюда по вечерам приезжали и студенты-москвичи. В бывшей трапезной стоял казенный рояль, и здесь с утра студентки по очереди разучивали гаммы, распевались, а ближе к ночи начиналась болтовня, хоровое пение и флирт по углам. На этом же рояле потом непременно спал кто-нибудь из припозднившихся гостей.

На втором этаже, над трапезной, гнездились помещеньца, никакого отношения ко ВГИКу не имевшие. Они возникли «явочным порядком» и жили в них татарские семьи – потомки дореволюционных московских дворян. Комнатки разделены были тонкими фанерными, а иногда и картонными, перегородками. Общий коридор постепенно стал общей кухней. У каждой двери гудел и коптил примус. Потом коридор стал и общей ванной. Чугунная ванна на львиных ножках была гордостью жильцов и стояла на видном месте. В ней стирали белье, купали младенцев и стариков. Ни у кого это не вызывало ни удивления, ни смущения. Одна дверь была недавно окрашена и над ней красовался трехцветный испанский флаг. Для непонятливых было написано по-русски: «Испания». Эту комнату, таким же явочным порядком, заняли студенты – дети испанских республиканцев, которых некогда вывезли в Советский Союз во время гражданской войны. Они привыкли жить в детдомах и здесь тоже поселились коммуной.

Часть вгиковцев поселили за городом – в дачных поселках Клязьма и Мамонтовка. Приближалась осень, дачи опустели и хозяева сдали комнаты и веранды вгиковской администрации. Езда в электричке плюс езда по Москве занимали ежедневно полтора-два часа, не считая позднего возвращения с дачной платформы, по темным грязным улочкам. Мы поселились в мезонине вчетвером: два художника – ростовчанин Борис Лоза и ленинградец Лелька Шварцман, «украинский письменник» (так он себя величал) Иван Стрелец и я. Несмотря ни на что, мы были довольны. Художники были довольны потому, что всюду есть пейзажи для этюдов. Иван Стрелец потому, что хозяйка выделила ему отдельное рабочее место в курятнике. Иван писал «дуже поетичний сценарий, як у Довженки». Он бродил по курятнику из угла в угол и завывал свои стихи.

Я тоже был доволен, а правильнее сказать, счастлив. В Мамонтовке местный начальник милиции долго в лупу рассматривал мое временное удостоверение, а потом отклеивал от него папиросную бумагу.

– Удостоверение у тебя, можно сказать, настоящее. В смысле, по правилам сделанное, – туманно констатировал начальник, – но оно у тебя давно просроченное. Такую рвань продлевать не имеет смысла. На артиста учишься? Тогда пиши заявление – будем делать новый паспорт.

Мамонтовка – не столица, а всего лишь населенный пункт в Московской области. Здесь были другие порядки и облегченный паспортный режим, ориентированный на здешний контингент. Вот, например, наша хозяйка, Калерия Евсеевна Ломакина. Она же, без сомнения, социально-чуждый элемент! В первый же день она рассказала нам всю свою жизнь.

– Я ведь не из простых! – объявила она. – Мой супруг имел в Твери пять синематографов. И дачу я, кому попало, не сдаю. Сдала вам только потому, что вы близки к синематографу. Я независима! У меня свое дело!

Она рассуждала о «своем деле», как будто в нашей стране нет никакого социализма! И ведь у нее, наверняка, чистый паспорт! Как, впрочем, теперь и у меня! О «деле» Калерии Евсеевны следует упомянуть особо. Она разводила белых мышей. В клетках, громоздившихся по всем помещениям и до самого потолка, денно и ночью сутились и пищали эти отвратительные красноглазые существа. Мало того, что они воняли! Самые юркие постоянно убегали из клеток. Их можно было обнаружить где угодно – на столе, в тумбочках, в рукавах и карманах и, самое неприятное – в постелях. «Письменник» Стрелец не раз по ночам вскакивал с кровати, изрыгая длинные южнорусские ругательства.

Калерия поставляла мышей в Институт экспериментальной медицины. Главной статьёй дохода была не стоимость

мышей самих по себе, а продовольствие, которым предписывалось кормить этих элитных подопытных зверюшек. В самые тяжелые времена из экспериментального института в Мамонтовку к Калерии привозили маслице, сахарок, свежие фрукты-овощи, мясные и рыбные деликатесы. Все это поставлялось на законных основаниях и с научными целями. То, что не съедали мышки, поступало в сумках и мешках к домработнице Насте для подпольной реализации.

У хозяйки и домработницы были сложные отношения. Настя жила в прислугах у Калерии еще с тех пор, когда та была владелицей пяти синемаграфов. Служанка и госпожа часами пили кофе и дулись в подкидного. Когда по ходу игры возникали разногласия, в обеих вдруг просыпалась классовая ненависть. «Кровоопийца! Сплотатор-ша!» – кричала Настя. А Калерия обзывала Настю «быдлом». Потом они мирились и предавались воспоминаниям. Существовать друг без друга они не могли.

Во ВГИКе после приемных экзаменов наступило затишье. Иностранцев обучали русскому языку на каких-то курсах, а наши разъехались по родственникам, набираться сил к первому сентября.

Я нашел для себя увлекательное дело. В сорок первом году, в спешке октябрьской эвакуации, весь учебный кинофонд ВГИКа побросали в большую воронку от бомбы, накрыли брезентом и кое-как присыпали землей. В таком виде коробки с пленкой пролежали всю войну. Теперь нужно было во всем этом срочно разбираться. Пожилые киноведы и сублильные дамы от киноискусства таскали ржавые коробки с истлевшими этикетками. Проекторы трещали круглосуточно. Разрозненные коробки нужно было опознать и рассортировать. На экране вгиковского кинозала круглосуточно мелькали кадры из немых и звуковых, зарубежных и советских фильмов. Эксцентрические комедии, салонные мелодрамы, американские боевики – все перепуталось в этом потоке.

Я вызвался таскать коробки. Ко мне привыкли и не прогоняли даже с ночных просмотров. Усталые киноведы постоянно спорили и ругались по поводу принадлежности и названия фильмов. Они высказывали догадки, приводили аргументы. Это была наглядная, захватывающая история кино. Постепенно я переставал следить за сюжетным, событийным содержанием фрагментов и важным для меня становилось не «что», а «как». Интересно было следить за чередованием, крупностью и длительностью картинок – кадров. Независимо от слов, которые произносили артисты, в этом чередовании был свой сверхсмысл, как в музыке, которую нельзя пересказать, но она заражает и подчиняет. А как и почему возникает доверие к артистам? Один говорит естественно, правдоподобно, но ты ему не веришь. А Чаплину, который даже и не говорит, а показывает, веришь безусловно!

Открытия у меня были детские, но это были мои собственные открытия и собственные догадки. Когда спрашивают, можно ли научить режиссерскому делу, я всегда вспоминаю воронку, из которой мы вытаскивали ржавые коробки с целлулоидом, темный вгиковский зал и вопросы, которые порождали новые вопросы. Я не знал тогда, что конца этой череде не будет, потому что кинорежиссура – не профессия, а образ жизни.

Кто есть кто

Первого сентября в мастерской Юткевича состоялось общее собрание и мы впервые увидели друг друга. Среди студентов сразу обращали на себя внимание иностранцы и фронтовики – все это были взрослые, зрелые люди, повидавшие войну, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Это был разведчик Гриша Чухрай, боевые офицеры Володя Чеботарев и Володя Басов. Всякие подробности и слухи мы узнавали о них постепенно. Туркмен Аждер Ибрагимов, например, охранял Сталина и Рузвельта на Тегеранской конференции. Югослав Савва Врчаник командовал партизанским отрядом в горах, а Борислав Шаролиев работал в болгарском подполье.

Значительно моложе была актерская часть курса – это были мальчики и девочки моих лет. В последний момент режиссеров и актеров свели в единую мастерскую. Юткевич произнес вступительную речь. Он поздравил нас, но предупредил, что киноискусство – дело сложное и судьба каждого из нас будет решаться после первого, испытательного, семестра. Начались учебные будни, мы познакомились и с нашими педагогами. В первый же день Юткевич объявил, что теорию и практику монтажа нам будет преподавать сам Эйзенштейн. «Ну, что? Поймал золотую рыбку?» – спросил лобастенький, обнаружив меня в толпе первокурсников.

Эйзенштейн был вечно занят и переговаривался со студентами на ходу, если, конечно, удавалось его подкараулить. Он завершал «Ивана Грозного», руководил собственной мастерской и читал лекции на многочисленных курсах. Собственно, он не столько читал лекции, сколько просто беседовал. От «вечных» вопросов он неизменно отшучивался, смешно рассказывал что-нибудь «между прочим», а на самом деле, очень даже к месту. Однажды, чуть ли не на первой встрече, он рассказал нам, как его ассистент Григорий Александров командовал Черноморским флотом.

«Дело было, как вы догадываетесь, в Одессе, – начал Эйзенштейн, – шли съемки "Броненосца" и Александров был здесь самым популярным человеком. За ним постоянно следовали восторженные девицы – статный, красноречивый Григорий, в модных темных окулярах и с неприменной жестяной трубой, в которую он кричал на массовку, казался одесским дамочкам поистине небожителем. Александров всячески поддерживал свою репутацию и небрежно

сообщал почитательницам о времени и месте очередных съемок.

В один из таких дней на Приморском бульваре перед гостиницей "Лондонская" собралось особенно много народу. Прошел слух, что именно сегодня состоится самая грандиозная съемка: на рейде появится черноморская эскадра и будет произведен эффектный залп из всех орудий. В положенный час Александров, весь в белом, и с режиссерским рупором, появился на балконе. Публика встретила его аплодисментами. Все кинокамеры были готовы зафиксировать редкие и дорогостоящие кадры. Разрешение на участие в съемках Черноморского флота было получено из самых высших, заоблачных инстанций. Ни о каких дублях, конечно, и речи быть не могло. Пальнуть, затратив дорогостоящие боеприпасы, можно было один-единственный раз.

Обо всем этом очень увлекательно через рупор рассказал своим почитателям сам Александров. "А приказ черноморскому флоту я подам очень просто – вот так!" – и Александров взмахнул платочком. Грянул неповторимый залп. Публика разразилась аплодисментами. Все вышло замечательно, кроме одного – увлеченный собою Александров забыл подать сигнал для включения кинокамер». Я слышал эту историю и от Эйзенштейна, и позднее – в многочисленных пересказах. Видимо, лобастенький повторял ее не раз, в упрек некоторым самовлюбленным киношникам.

Наши педагоги ссылались, как правило, на собственный опыт и на те времена, когда сами они были в зените славы. В институте еще можно было встретить живую кинозвезду Александру Хохлову или вальяжного Льва Кулешова в кожаных крагах и с нафабранными усами. На монтажных столах красовались клеечные прессы с фирменными табличками: «Ханжонковъ, Дранковъ и К*». Дух «Великого немого» еще витал над ВГИКом. Киносъемочную технику мы изучали по камерам «Дебриэль» и «Аскания», которыми пользовались еще чуть ли не во времена Люмьера. Рассказывал нам про эту технику режиссер-оператор Желябужский.

Он постоянно отвлекался и предавался воспоминаниям о своем детстве: «Я сидел на коленях у дяди Леша, а дядя Костя, бывало, говаривал мне...» Оказывается, «Дядя Леша» – это был Максим Горький, а «дядя Костя» – Станиславский. А сам Желябужский был сыном знаменитой актрисы Марии Андреевой.

Он был ранен в гражданскую войну. Лихо закинув через колено негнушущую ногу, ветеран пел нам песню «Каховка, Каховка – родная винтовка». Нога была грозно нацелена на слушателей. По какую сторону фронта воевал Желябужский, оставалось неясным.

Сведения о киносъемочной технике мы получали от Желябужского скудные, но были не в претензии. Живые рассказы о «дяде Леше» и дяде Косте», байки о первых мхатовцах и легендарных киношниках времен Ханжонкова [8 - Ханжонков Александр Алексеевич (1877–1945). Выдающийся российский предприниматель, организатор кинопромышленности, продюсер, режиссер, сценарист, один из пионеров русского кинематографа. – Ред.] и Патэ-журнала [9 - «Патэ-журнал» – документальная хроника о разнообразных злободневных событиях, идущая под рекламным лозунгом: «Патэ-журнал все видит, все знает». Названа так по имени основателя – Шарля Патэ, владельца крупнейшей французской кинематографической фирмы. – Ред.] давали нам нечто большее – волнующее чувство сопричастности, соучастия в необыкновенном, уникальном кинематографическом деле. Старики своим примером приучали ценить трудолюбие и ремесло как основу творческой жизни.

На упражнениях по технике речи, например, нами командовала певичка из цыганского хора чуть ли не времен Соколовского [10 - Соколовский хор. Назван так в честь первого руководителя И. Т. Соколова. Самый знаменитый цыганский хор России. Наибольшую популярность приобрел в конце XIX – начале XX века, выступая в московском ресторане «Яр». – Ред.]. На первое занятие она вошла незаметно. Мы о чем-то спорили, стоял шум и гвалт. И вдруг нашу говорильню перекрыла рулада – контральто необыкновенной силы и красоты. Звуки издавала маленькая, сухонькая старушенция. Все замолчали. Старушка раскланялась, как на эстраде.

– Меня зовут Аня! – представилась старушка. – Я научу вас сносно петь, выразительно и внятно говорить! Я слышала ваш спор – это ужас! Невнятица! Жвачка! Как вы будете объясняться с артистами? Вот вы! – она подошла к огромному и толстому Аждеру Ибрагимову, – скажите: «Мму»!

Аждер послушно промычал.

– Вы совершенно не владеете вашей диафрагмой! – Аня ткнула тоненьким пальчиком в ибрагимовский живот.

– Больно! – вскрикнул Ибрагимов.

– А теперь нажмите на мою диафрагму, не бойтесь! – приказала Аня.

Ибрагимов осторожно ткнул певичку.

– Совсем твердо! – поразился Аждер.

В ответ щедушная Аня издала вторую образцово-показательную руладу.

– Будем работать! – пообещала цыганка.

Аня с юности совершенствовала свое вокальное мастерство, преодолевая пьяный шум московских ресторанов. Мы всегда ждали ее появления. Было интересно следить за тем, как она с неумолимой последовательностью выбивает из нас гыкания и окания, речевую невнятицу и другие-прочие пороки. Аня была профессионалом высочайшего класса.

Таким же профессионалом и одержимым человеком был фотограф Иван Боханов. Законы композиции он выводил

из неких всеобщих законов мироздания, вселенского равновесия и гармонии. С первого же дня он заставил нас обзавестись картонными рамочками золотого сечения, и мы постоянно теперь вписывали все сущее и видимое в заветный прямоугольник. Это стало привычкой, мы «кадровали» окружающую действительность уже подсознательно. Отличался Боханов еще и необыкновенной, можно сказать, геометрической прямолинейностью мышления, а в отношениях с людьми он руководствовался собственной непреклонной логикой: если человек не умеет, его нужно научить, если он голоден – накормить. Если он врет – пристыдить. Поступки Боханов свершал немедленно и убежденно. Однажды он остановил меня у курилки.

– Ты уже завтракал? – строго спросил он.

– Я утром не ем, – ответил я.

Боханов тут же сунул мне смятую купюру.

– Иди и поешь, – приказал он, – курить натошак вредно!

Странностями Боханова активно пользовались любители одолжаться – о долгах он никогда не напоминал. Его поведение удивляло, порой обескураживало, но заставляло и задуматься. Однажды, на общеинститутской проработке, которые теперь повторялись все чаще, заведующий кафедрой марксизма Эдуард Христофорович Степанян долго рассказывал нам о вреде формалистических изощрений и даже намекнул на происки врагов. Аудитория с покорностью внимала. И вдруг поднялся Боханов.

– Эдуард Христофорович! – простодушно спросил фотограф. – Вы это серьезно?

Степанян сухо ответил, что, к сведению некоторых, марксизм-ленинизм – серьезная наука! Но на философские дискуссии Боханова больше не приглашали. Боханов и Степанян были антиподами. Если у Боханова все было уж чересчур прямо, то у марксиста Степаняна все было туманно, извилисто и «диалектично». Степаняна все боялись. Актрисы сдавали ему зачеты по пять – семь раз. Они никак не могли усвоить «основные черты диалектического материализма». А еще Степанян любил задавать каверзные вопросы. Грузина Гугули Мгеладзе, трижды завалившего у него экзамен, он попросил назвать видных революционеров Закавказья. Когда Гугули перечислил решительно всех и в отчаянии назвал даже меньшевика Церетели, Степанян переспросил:

– И это все?

– Все! – закончил Гугули.

– А Иосиф Джугашвили?! – возвысил голос Степанян.

Бедный Гугули с перепугу забыл, что великий Сталин – тоже революционер из Закавказья! Пришлось ему сдавать экзамен в четвертый раз. Весь ВГИК сочувственно следил за поединком «Мгеладзе – Степанян». Асы подсказки и шпаргалки специально для Гугули выкрали у Степаняна один экзаменационный билет. Ответы на вопросы, значащиеся в этом билете, Гугули выучил наизусть, как молитву. Оставалось проделать пустяковую операцию. Подойдя к Степаняну, Гугули должен был один из билетов с его стола взять, но при этом назвать номер другого, ворованного, билета. Далее уже можно было спокойно отвечать на знакомые вопросы затверженными ответами.

Но униженный многочисленными переэкзаменовками Гугули потерял бдительность. Предвкушая грядущую победу над врагом, он развязно поздоровался со Степаняном и, еще не прикоснувшись к экзаменационным билетам, объявил: «Билет номер семь!» В ответ раздался злоедающий хохот Степаняна. Получив за мошенничество строгий выговор по ВГИКу, Мгеладзе больше даже и не пытался одолеть вершины марксизма. Прощен и аттестован он был только после того, как сыграл в герасимовской «Молодой гвардии» партизана-подпольщика Жору Арутюнянца. Зачет ему с поклонами поставил сам Степанян.

С нетерпением мы ожидали, когда начнутся занятия по режиссуре. Сперва Юткевич уехал на какой-то фестиваль во Францию, потом у него возникли спешные дела на «Мосфильме». И вот наступил долгожданный день. Юткевич, как всегда, благоухал и был элегантен. Он рассказал нам про Францию и про новый фильм «Свет над Россией», который он уже начал снимать. Это была экранизация известной пьесы Погодина «Кремлевские куранты». В фильме участвовал Ленин, Сталин, английский фантаст Уэльс и строители волховской электростанции. Юткевич пообещал, что мы тоже будем присутствовать на съемках и даже сниматься в групповых сценах. «Что же касается уроков режиссуры, – сказал Юткевич, – то не я вас буду учить, а вы будете сами учиться. Я брошу вас, как щенков в воду, – пообещал Юткевич, – и вы будете барахтаться, пока чему-нибудь не научитесь. Возможно, кто-то утонет, но кто-то и выплывет».

Мне было назначено поставить отрывок из чеховского «Егеря». Исполнителей мы выбирали из наших же однокурсников. Егеря играл у меня Володя Гуляев. Человек он был опытный, но не по актерским делам, а в бою. Он был летчиком-истребителем и кавалером четырех орденов Боевого красного знамени. Это считалось даже почетнее геройской звездочки, но «героя» Володе все-таки не дали. По слухам, из-за упрямого, независимого характера. Партнершей у Гуляева была молоденькая девочка Катя, которая, конечно же, сразу влюбилась в героя и вела себя почти по Чехову. Выбрал артистов я правильно. Оставалось только умело использовать жизненную ситуацию.

«Ну, а как же режиссура?» – подумал я и принялся режиссировать. Вначале у нас был длинный застольный период, где я анализировал и разбирал по косточкам бедного Чехова. Потом, по совету верной ассистентки

Юткевича Матильды Итиной, я вскрыл классовую сущность отношений между героями. Но почему-то пропала естественность, артисты заговорили, по моей режиссерской указке, вымученными, тусклыми голосами. Временами на репетициях я ловил взгляды летчика-истребителя Володи, которые не предвещали мне ничего хорошего. Чем дольше мы репетировали, тем безнадежнее становилась сцена.

Конечно, я не понимал тогда, что режиссерское вмешательство на репетициях – это деликатное, тонкое дело, что важнее не поправлять, а направлять ход репетиции, открывая простор для актерской фантазии, исподволь наталкивая артиста на вроде бы самостоятельные открытия и решения. Тогда он почувствует себя творцом, а это великое дело! Ну, а режиссерские амбиции следует попридержать. Между тем, кинорежиссер-диктатор с рупором был тогда для многих из нас, и для меня тоже, образцом для подражания и восхищения. Я пребывал в растерянности.

Но однажды произошло маленькое чудо. Меня мизансцены так и эдак, я посадил своих артистов близко друг к другу, совсем близко – глаза в глаза – и попросил их не заученный текст говорить, а какую-нибудь чепуху про погоду. И вдруг заговорили их глаза. То, что чувствовала влюбленная девочка Катя и что прятал за равнодушием Гуляев, как бы приоткрылось без слов. Следить за героями стало интересно. А чеховский текст мои артисты уже не проговаривали, как прежде, а невольно подыскивали слова, познав им цену. Слова становились емкими, многозначными. Так прояснилось для меня, отчасти, понятие «подтекст». Постепенно я обнаружил и разницу между Результатом и Процессом, между абстрактным «настроенчеством» и прямым сценическим действием, т. е. чередой психологически мотивированных поступков, импульсов и реакций.

Конечно же, все это была азбука профессии, но азбуку эту предстояло еще уяснить и выстрадать. Теперь понятным стал и совет Юткевича «побарахтаться». Нет у нашего мастера готовых отмычек и рецептов. А если б они и были, то мы все равно бы не поняли, о чем он толкует. Тут могла помочь только живая практика, самостоятельность, так сказать! Например, «маленькое чудо», о котором я уже упоминал, – есть следствие режиссерской провокации. Сблизив актеров и лишив заученного текста, я подтолкнул их объясняться друг с другом паузой, движением, взглядом. Затруднив общение, я обострил отношения и чувства. Я осуществил эту провокацию нечаянно и ужасно обрадовался открытию, но мне вскоре опять пришлось разочароваться. Никакого открытия я не сделал. В каждом отдельном случае и с каждым артистом режиссеру, оказывается, нужно заново искать другие провокации и подходы, каждому исполнителю надо в особинку объяснять задачу, а потом терпеливо выстраивать отношения, творить атмосферу доверия и единомыслия. И так – до бесконечности!

И не только с артистами! Съёмочная группа – это пестрая общность, состоящая из людей самых разных профессий, склонностей и характеров. Стало быть, режиссер – это еще и психолог, и дипломат. Он же организатор и педагог, он же – сам себе судья и первый зритель, не имеющий права обольщаться. Вот кто такой, оказывается, режиссер! От подобных открытий я приходил в уныние и завидовал своим более уверенным однокурсникам. Впрочем, завидовал напрасно. Никто из нас еще не умел быть себе судьей, не обольщаясь. Меня, например, нередко приводила в телячий восторг какая-нибудь собственная придумка, а потом я замечал на чужих лицах недоумение и скуку.

Мы постоянно нуждались в свежем, стороннем глазе. Советы и оценки ассистентов Юткевича были расплывчатыми и невнятными. Уж очень они осторожничали и теоретизировали. Однажды ко мне подошел Резо Чхеидзе и пригласил зайти вечером на репетицию. Наше первое знакомство произошло при смешных обстоятельствах. Однокурсник Резо, Тенгиз, попросил показать ему какой-нибудь большой московский рынок, где можно купить теплое пальто. Я, конечно, повел обоих на Тишинку. Консультировать их не пришлось, потому что у входа их окликнули другие грузины. Они поговорили на своем языке, и Тенгиз пошел с ними куда-то в толпу. «Помогут пальто купить», – объяснил Чхеидзе. Действительно, вернулся Тенгиз с большим узлом. Мы тут же поехали в Зачатьевку впрыскивать обновку. При большом скоплении народа пальто надели на Тенгиза. Пальто было со странными рюшечками на плечах, приталенное и с выточками впереди. «Тенгизик! Это женское пальто!» – крикнула какая-то девчонка. Усатый Тенгиз в пальто с рюшечками выглядел уморительно. Но больше всего его удручало то, что обманули его земляки.

Реваз Чхеидзе и Тенгиз Абуладзе перешли во ВГИК из тбилисского театрального института. Русский язык они знали не очень хорошо и выбрали для постановки отрывок из книги какого-то грузинского классика. Репетировали, конечно, тоже на грузинском. Они не только ставили свой отрывок как режиссеры, но сами его и разыгрывали как артисты. Потребность в «стороннем глазе» была очевидная. Вот тогда они меня и пригласили. Сперва грузины пересказали мне содержание сцены, а потом ее сыграли. Два вороватых чиновника, прослышав о приезде высокого начальства, препираются, сваливая друг на друга свои неприглядные делишки. Они при этом невольно саморазоблачаются. Но грозный начальник не приезжает, так как сам за такие же грешки попал в тюрьму. Чиновники узнают об этом, бурно радуются и поют про «гвино, дудуки и кале-би», т. е. про вино, музыку и женщин. Вот и все.

Мне на репетиции у грузин понравилось. Они импровизировали, придумывали на ходу новые сюжетные повороты

и менее всего заботились о «правдоподобию» и «естественности», которых требовали от нас осторожные ассистенты нашего мастера. Ребята играли вовсю, играли азартно, с полной верой в происходящее. Заражала и убеждала именно эта их вера. Слов я, конечно, не понимал, но, невольно вовлекаясь в их игру, даже пытался что-то предлагать. Предложения мои, касательно мизансцен и физических действий, по незнанию языка, нередко вступали в смешные и неожиданные противоречия с диалогом. И тут мы смеялись и радовались вместе. Для меня это была интересная, важная встреча. Она мне кажется важной и теперь, много лет спустя.

Ассистенты Юткевича, сам Юткевич, преподаватели истории искусства и литературы во ВГИКе, а также наш главный марксист Степанян не зря осторожничали и туманно теоретизировали. Они просто не знали, как объяснить нам некоторые вещи и даже побаивались объяснять. События в кинематографе происходили тревожные. Общеинститутские проработки стали уже привычным обрядом. Например, во ВГИК приезжал какой-нибудь товарищ из ЦК или из Кинокомитета и публично зачитывал текст «Постановления о кинофильме "Большая жизнь"».

В зрительном зале собирали студентов младших курсов – мы были здесь просто участниками массовки, а старшекурсникам и членам партии поручались уже «эпизодические роли». Старшекурсники должны были «дискутировать». Каждого оратора инструктировали в партбюро и утверждали заранее написанный для него текст. Все выступления были пересказом того же постановления, но в свободном изложении. Каждое выступление завершалось осуждением авторов картины за допущенные ошибки.

В президиуме обычно сидели известные режиссеры и педагоги. Иногда огонь критики обрушивался и на них. Так было неоднократно с Эйзенштейном. На одном мероприятии его громили за формализм, а уже через месяц – за вторую серию «Ивана Грозного». В ритуал входило также и раскаяние критикуемых. Те, кто был поопытнее и обладал чувством юмора, внешне держались спокойно. Например, Эйзенштейн, которому всегда было недосуг, просил принести ему в президиум бутерброды и чай. Пока Эйзенштейна критиковали, он ужинал, а потом уж признавал ошибки.

Зато Лев Кулешов очень болезненно переживал обвинения в формализме.

– Друзья! – со слезами восклицал Кулешов, – я уже стар, я уже не режиссер, а просто охотник-любитель!

Всем было известно, что Кулешов увлекается охотой.

– Это отговорка, товарищ Кулешов! – гремел в ответ Степанян.

Наивные первокурсники с испугом глядели на своих ошельмованных кумиров. Детски незамутненным разумом мы понимали – что-то здесь не так – на одном собрании кого-нибудь громят за «очернение действительности», а на другом уже корят за «лакировку» той же самой действительности. Режиссера Лукова ругали за то, что в его фильме «Большая жизнь» в донецких шахтах показано допотопное оборудование. А откуда взяться современному, если только что закончилась разрушительная война и в этих шахтах похозяйничали оккупанты? Руководитель из Кинокомитета разъяснил нам, что киноискусство призвано отражать не то, что есть в жизни, а то, что должно быть. И тут уж мы совсем ничего не поняли.

Деморализованные педагоги писали друг на друга доносы. А преподаватель истории и теории музыки Шухман написал донос, можно сказать, на самого себя. Это был тихий, застенчивый человек, автор известной песни «Эх, картошка-тошка-тошка! Пионеров идеал!». Шухман решил перестраховаться и ударить по формализму с опережением. Однажды он явился на лекцию и заявил нам, что врага нужно хорошо знать и что это – «залог победы».

«Я вас познакомлю кратенько, – сказал он, – с историей формализма в музыке». Оказывается, первую формалистическую фугу написал какой-то монах-францисканец еще в четырнадцатом веке. Но досказать про францисканца Шухман не успел, потому что на следующий день был уволен «за мракобесие и пропаганду формализма в музыке». Формулировку подсказал один из его же коллег-преподавателей.

Теперь педагоги предпочитали использовать как литературную основу в учебных работах произведения Павленко [11 - Павленко Петр Андреевич (1899–1951). Советский писатель. Один из наиболее именитых деятелей культуры Сталинской эпохи. Ведущая тема творчества Павленко – прославление коммунистической партии. – Ред.], роман Бабаевского [12 - Бабаевский Семен Петрович (1909–2000). Советский писатель. В романе «Кавалер Золотой Звезды» и в его продолжении – романе «Свет над землей» изобразил восстановление разрушенного войной колхоза. – Ред.] «Кавалер Золотой Звезды» и другое подобное.

По вечерам в репетиционных аудиториях артисты бормотали никакими голосами никакие тексты – чудовищную смесь казенного пафоса и дозированной лирики. Теоретики утверждали, что это «соцреализм» и что именно это – «кинематографично»! На лекциях по истории театра мы преимущественно штудировали систему Станиславского. Нам внушали, что она – основа основ. Когда, будучи студентом-химиком, я впервые прочитал книгу Станиславского, я был потрясен. Быть может, эта книга и подвигла меня, в конце концов, вступить на зыбкую кинематографическую стезю. Но сейчас я не узнавал Станиславского. В устах педагогов он звучал, как некий театральный Степанян. А вот на репетициях у грузин я видел, что есть люди, которые пробуют делать что-то по-

своему.

Я тоже попытался сделать что-нибудь хотя бы веселое и решил поставить отрывок из Марка Твена – тот, где простодушного Гека Финна охмуряет жулик, выдающий себя за особу королевской крови. На роль Гека я пригласил Радика Муратова. Впоследствии Муратов много и успешно снимался в комедиях. В наши же ранне-вгиковские времена Радик слыл у нас маменьким сынком. Правильнее сказать, «папенькиным сынком», потому что он был сыном первого секретаря ЦК Татарии. Полное имя у Радика было Раднэр, что означало: «радуйся новой эре».

Однако сынок не всегда радовал папеньку. Радик был ужасающим неряхой и лентяем. Его частенько доставляли в Казань на самолете, только для того чтобы там отмыть и переодеть. Чистенький, отутюженный Радик являлся во ВГИК и радовал всех своей щедростью. Он раздавал приятелям деньги и кормил их обедами по лимитным карточкам в цеховской столовой. Но постепенно Радик как-то темнел ликом и обтрепывался. Он дичал особенно в те периоды, когда проигрывал на скачках. Радик был завсегдаем столичного ипподрома.

На роль Гека я его пригласил как раз в период крайнего одичания. Это был вылитый неприкаянный Гек Финн. Короля-жулика играл Резо Чхеидзе. Те, кто помнит его как режиссера пафосного, романтического фильма «Отец солдата», едва ли знает и может себе представить, что Чхеидзе – блистательный комедийный актер, мастер гротеска. Мы побаловались и порадовались, занимаясь Марком Твенем. Потом я обнаглел и стал репетировать сцену из «Хозяйки гостиницы» Гольдони. Мирандолину мило и весело сыграла Нина Агапова, а кавалера Рипоф-рато, конечно же, опять играл Чхеидзе. А потом все кончилось. Наша инициатива показалась нежелательной. Оказывается, Гольдони – это «уход от действительности», а Марк Твен – и вовсе американец. И вообще, все это «не кинематографично»!

Может быть, под крылом авторитетного, талантливого мастера мы и укрылись бы от казенщины, как это удавалось делать герасимовцам в его мастерской, но обнаружилось, что мы ничьи, потому что Юткевичу не до нас. Юткевич все реже появлялся на занятиях по мастерству. Он звал нас на «Мосфильм», как обещал, но съемки «Света над Россией» шли как-то вяло. То постановщика куда-то надолго вызывали, то заболел Ленин-Штраух. И, наконец, под страшным секретом, Матильда Итина нам рассказала, что материал картины смотрел сам «хозяин», то есть Сталин, и материал ему не понравился. «Нет в нем ни света, ни России!» – якобы сказал про фильм наш Вождь.

– И еще, – добавила Итина, – с министром Большаковым разговаривал сам Берия. «Поберегись, Большаков, – сказал Лаврентий Палыч, – двух солнц на небе не бывает!»

При полной секретности, у нас как-то всегда получается, что все все знают. Во ВГИКе втихомолку обсуждали и комментировали происшедшее.

– В фильме не отражена роль товарища Сталина в электрификации страны, – пояснил ровным голосом инструктор ЦК на очередной проработке и, тем самым, прекратил всякие пересуды.

Картину могли бы тихо «положить на полку», как это уже бывало, но, на беду, Юткевич был еще и евреем. Теперь, по совокупности, его объявили «космополитом, преклоняющимся перед Западом». Коллеги припомнили ему и хорошие костюмы, и сигареты «Кемэл», и докторскую диссертацию по западному кино. «Сережка! Отдай диссертацию!» – кричал на проработке Марк Донской. Юткевича лишили возможности «влиять на молодежь», и он во ВГИКе не появлялся. Шли своим ходом занятия по русской литературе, сцендвижению, марксизму, а уроков мастерства все не было. В эти часы нам крутили классику, но не западную, а советскую – преимущественно, картины Эрмлера: «Великое зарево», «Великий перелом» и «Великий гражданин». Наступило безвременье.

Сокурсники наши невольно объединялись в группки и группочки. Москвичи и взрослые фронтовики держались особо, почти все они были членами партии и ситуацию знали лучше нас. «Незрелые» иногородние и проживающие по общежитиям иностранцы тоже странным образом объединялись. Начало этому положили мы с Чхеидзе и Абуладзе, потом к нам примкнули испанцы Карлос Лья-нос и Роберто Маркано, болгары Борислав Шаролиев и Дако Даковский. С появлением полурумына-полувенгра Аурела Михелеша и казаха Султана Ходжикова, наш интернационал стал еще разношерстнее.

Мы частенько заседали в Зачатьевке в комнате испанцев. На огромной сковороде Роберто Маркано готовил тортилью, и мы ее поглощали, запивая привезенным грузинами домашним вином или болгарской ракией. Сковорода наша именовалась: «дружбы народов надежный оплот». Мы рассуждали про жизнь и про кино. «Я видел на улице нищего! – обращался ко мне Борислав Шаролиев. – Как же так? Ведь вы уже построили социализм!» Приходилось ему объяснять, что из-за войны мы социализм еще не вполне достроили. Постепенно «народные демократы» начали что-то про нас понимать и глупых вопросов уже не задавали. Когда грузины, которые гордились своим великим земляком, объясняли, что товарищу Сталину очень трудно, потому что ему не обо всем докладывают, «демократы» согласно кивали головами и подливали выпивки. Языковой барьер и политические проблемы мы устраняли с помощью спиртного.

Марканчик, то есть Роберто Маркано, в дискуссиях не участвовал. Во-первых, он был у нас поваром и часто отвлекался на приготовление тортильи, а во-вторых, он был баском и знал только язык басков. Испанским и русским он владел одинаково плохо. Но он был хорошим художником, и если что-нибудь ему было непонятно, Роберто

объяснялся с помощью рисунков. По вечерам к испанцам приходили земляки – студенты других московских вузов. Они много и красиво пели, но не то, чего мы ждали от веселых испанцев. Они пели протяжные старинные песни рыбаков и пастухов. Все они жили Испанией, тосковали и рвались в недостижимую, заветную страну своего детства. Воспитанные в советских детдомах, они совершенно не приспособлены были к обыденной нашей жизни. Они не знали цены деньгам и не понимали, что такое «мое» или «твое». Одежда, еда, постель – все было «наше».

Однажды к Карлосу Льяносу пришел старик. У него был абсолютно голый череп и крючковатый орлиный нос. Это был отец Карлоса. Даже не все ребята-испанцы знали, что у Карлоса есть отец и что он живет в Москве. Кто-то из испанцев подал знак, и мы быстренько удалились. «Пусть без нас разбираются», – сказал Маноло Висенс. Ситуация в семье Карлоса сложилась трагикомическая. Отец Карлоса Верхилио Льянос был самым натуральным маркизом. Стало быть, мой приятель Карлос, соответственно, тоже был маркиз. Но кроме того, папаша Верхилио Льянос был еще и убежденным анархистом, противником монархии, республики и Франко. Все три режима дружно приговорили Верхилио к смертной казни с отсрочкой исполнения до восстановления порядка в стране. Но слово «порядок» каждая власть понимала по-своему, и Верхилио, пока что живой-здоровый, благополучно проживал в нашей столице. Проживал, несмотря на то, что к главной испанской коммунистке Долорес Ибарурри тоже относился вызывающе плохо.

Старик жил одиноко в большой коммуналке на Трубной площади. Какое-то хитрое ведомство дало ему комнатенку, приличную пенсию и велело «не высовываться». Позже Карлос проговорился, что его отец имел какое-то отношение к вывозу испанской казны в Советский Союз после поражения республиканцев. Отец с Карлосом не ладил. Дело в том, что всех детдомовских ребят, по достижении четырнадцати лет, записывали в комсомол. Таким образом, маркиз Карлос Льянос Масс тоже стал комсомольцем. Папа-анархист проклял сына каким-то страшным испанским проклятием, не признавая никаких смягчающих обстоятельств. Он, правда, изредка посещал сына, но только для того, чтобы напомнить ему, что проклятье остается в силе.

О степени оголтелости папаша Карлос рассказывал удивительные вещи. Однажды маркиз попал в милицию за присвоение чужих денег. Он увидел, как в трамвае москвичи из рук в руки передают деньги за проезд, но оценил ситуацию по-своему. Верхилио снял шляпу и стал складывать в нее всю циркулирующую по вагону наличность. Когда замечал купюры покрупнее, вскидывал кулак и кричал «Вива Спанья!»! Он вообразил, что москвичи, увидев его, собирают средства в пользу борющейся Испании. Пострадавшая публика размахивала кулаками и кричала на Верхилио, но старик и это тоже принимал за проявление солидарности. Он ничего не понял, даже когда его схватил в охапку и потащил из трамвая милиционер. Верхилио при этом восторженно кричал: «грасиас, камарадас» и «но пасаран!».

Испанский анархист упрямо общался с советским народом, не зная по-русски ни слова. Как-то раз Карлос нашел отца в медпункте метро «Маяковская». Верхилио был схвачен, когда бродил по станции и у всех спрашивал: «где моя кошка?». Он спрашивал про кошку очень настойчиво и сердился, когда ему не отвечали. Он, оказывается, выяснял: «где Маяковская?», а у него получалось: «где моя кошка». Неважно было у него с произношением, а москвичи решили, что с головой у него неладно и что он сбежал с «Канатчиковой дачи» [13 - Московская психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н. А. Алексеева, расположенная в Москве, на Загородном шоссе. До 1994 года носила имя П. П. Кащенко. Название же «Канатчикова дача» дано по местности, в которой построена больница – в середине XIX века там располагались загородные владения купца Канатчикова. – Ред.]. Верхилио выручила какая-то старушка, знавшая испанский язык. Маркиз на ней немедленно женился, и они тихо зажили в своей коммуналке на Трубной площади. Иногда маркиз-анархист отдыхал на Цветном бульваре и при помощи жены вступал с прохожими в споры о международном положении. С сыном старик принципиально был не в ладах.

Между тем, наше интернациональное сообщество во ВГИКе, можно сказать, легализовалось. Известный всему институту «Ваня-газировщик» переписал нас в свою пухлую долговую книгу под общей рубрикой «Испания». Под этим названием проходили и татарин Радик Муратов, и казах Ходжиков. Мы все были равны перед Ваней, потому что все были его должниками. Ваня начинал свою карьеру во ВГИКе гардеробщиком. Для начала он попросил разрешения на продажу студентам газировки. Ваня был добреньким и, если у студента не было денег, наливал ему стаканчик газировки в долг, а потом записывал что-то в свою книгу. В день выдачи стипендии Ваня всегда стоял у окошечка первым. Он собирал долги, а к долгам плюсовались проценты. Постепенно, он стал ссужать нас не только газировкой, но и конфетами, сигаретами, помадой для девушек и подпольной водкой для юношей. Ваня опутывал студентов, как паук. Постепенно в зависимость от него попали даже педагоги и Ваня, по пригласительным билетам, важно посещал Дом кино.

Ванина карьера прервалась неожиданно. Он стал жертвой собственной жадности и нашего легкомыслия. Мы никогда не проверяли его записей, и Ваню это устраивало – он мог передергивать и приписывать долги бесконтрольно. Но ситуацией, оказывается, пользовался еще кое-кто. Набирая в долг у Вани, злодеи действовали от имени нашей «Испании». Мы были фирмой солидной, и поэтому Ваня с радостью обслуживал самозванцев. С толку Ваню сбило еще и то, что отдельные таланты с актерского факультета – Женя Моргунов, например, умело

воспроизводили любой акцент – от испанского до казахского. Постепенно накопилась большая сумма. Ваня предъявил было счет нам, но мы от чужих долгов, конечно, отказались. Уличать самозванцев Ваня побоялся – у самого рыльце было в пушку. Так Ваня стал банкротом и вернулся в гардероб, выдавать студентам номерки.

ВГИК праздновал свободу! Погрязшие в долгах девочки с актерского факультета облегченно вздохнули и устроили Моргунову торжественное чаепитие. После чая был и спектакль, где девчонки изображали мух-цокотух, а Моргунов комара-победителя. На комара Женя не походил, так как был упитанным во все времена: и будучи студентом, и позже, снимаясь у Гайдая.

Однокурсницы частенько обращались к Моргунову в трудные минуты. Женя был добрым человеком и неутомимым выдумщиком. После репетиций актрисы обычно возвращались поздно, а добираться до центра тогда было нелегко. Трамваи ходили редко, а по пустынному Ярославскому шоссе машины неслись, не останавливаясь. Моргунов брал в институтском реквизите повязку с надписью «патруль», подпоясывался солдатским ремнем и выходил на шоссе. Он по-хозяйски останавливал машины и усаживал в них девчонок. «Этих – к Зачатьевскому переулку! – командовал Моргунов, – а вон тех – на Масловку!» Водители, загипнотизированные странным видом и тоном Моргунова, подчинялись. Иногда, для разнообразия, Моргунов облачался в шинель и в революционную папаху с красной лентой. Водители сначала пугались, потом ругались, а потом смеялись и девчонок все-таки отвозили куда надо.

Он свободно проходил на любой спектакль в любом театре. Один из способов проникновения был такой: Женя стоял у входа и выискивал среди входивших генерала посолоннее. Благо, после войны генералов в Москве было видимо-невидимо. Выбрав генерала, Моргунов пристраивался перед ним и, проходя мимо контроля, кивал небрежно: «я с папой». Пока генерал соображал, доставал, не спеша, бумажник, а из него билеты, Моргунов уже был в зале. Он предпочитал сидеть в первых рядах партера. Во-первых, билетерши такой наглости не ожидали, а во-вторых, здесь чаще обнаруживались незанятые места, предназначенные для совэлиты.

Женя был прирожденным психологом и с удовольствием наблюдал за толпой. Для этого он выбирал людное место и вдруг останавливался, глядя внимательно на крышу, башню или какое-нибудь окно. Вскоре около Моргунова обязательно останавливался еще кто-нибудь, потом еще. А вскоре собиралась толпа. Люди глазели на дома, друг на друга и строили разные предположения. Кто-то замечал какую-нибудь странность, шевеление или дымок. Возникали версии, споры. Откуда ни возьмись, появлялись очевидцы и свидетели, которые «своими глазами» только что видели убийство, пожар или ограбление. Женя стоял в сторонке и от души веселился. Потом он нам показывал уличную сценку в лицах.

Ковбойка Хо Ши Мина

Во ВГИКе произошло событие, о котором старались вслух не говорить. Застрелился наш однокурсник, югослав Савва Вртачник. Это был смелый человек, сражавшийся в горах до самого освобождения его страны от немцев. Савва был соратником Тито по партизанской борьбе и очень переживал охлаждение отношений Югославии с Россией. Он считал своим долгом всячески содействовать восстановлению дружбы наших стран. Ради этого он ушел из ВГИКа и стал работать диктором на радио. Он писал статьи и выступал в эфире, взывая к «общественности братских народов». И вот, Савва застрелился.

Мы оказались с Карлосом на странных поминках по Савве Вртачнику. На Пушкинской площади, на том месте, где позже построено было здание газеты «Известия», стояла ветхая пристройка – это были службы разрушенного Страстного монастыря. В подвалах этой пристройки ютилось общежитие работников радиостанции «Коминтерн». Она много раз меняла свое название, но ее предназначение не менялось. Станция вещала на всевозможных языках, пропагандируя идеи коммунизма и пролетарского интернационализма. Здесь жили переводчики и дикторы.

Поминки были странные, потому что интернациональной команде радиостанции были чужды православные обычаи. Дикторы сидели за длинным импровизированным столом и деловито напивались. В полумраке подвала слышалось только позвякивание стаканов и короткие реплики: «передай, налей, спасибо» на разных языках мира. Нас привел сюда какой-то приятель Карлоса. Никто у нас ни о чем здесь не спрашивал. Пьющие просто потеснились и дали нам место. Дикторы напивались целеустремленно и через некоторое время стали разговорчивее. Речь шла, конечно, о возможных причинах самоубийства. Выражались осторожно, но суть была понятна. Активность Саввы оказалась неуместной. И у Тито, и у Сталина были свои политические соображения, к «братской дружбе» отношения не имевшие. Савва оказался между двух огней. Будучи боевым соратником Тито, он как диктор советского радио должен был теперь на родном сербском языке поносить «клику Тито». На такое он был не способен. И вот вам результат.

Непривычная для дикторов пьянка продолжалась долго и перешла в дикие пляски, споры, ссоры и братания. Во всем этом чувствовалось какое-то невысказанное отчаяние. Один высокий седовласый человек вдруг запел на немецком языке «Интернационал». К нему присоединились и другие, поющие на испанском, французском,

итальянском. Они пели торжественно и слаженно. Так завершились поминки. Потом мы всей толпой пошли в ВТО [14 - ВТО – сокр. от Всероссийское театральное общество. Возникло в 1883 в Петербурге как «Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям». В систему ВТО входит Дом актера в Москве. – Ред.]. Ресторан там работал до трех ночи. К утру все протрезвели и наперебой рассказывали разные смешные истории. Один француз рассказывал о жите-бытье известных работников Коминтерна. Они жили рядом, на улице Горького, в гостинице «Центральная». Здесь проживал когда-то и отец рассказчика. В роскошных апартаментах гостиницы их семьи готовили на керосинках еду, устраивали постирушки в мраморных ваннах и ждали мировой революции. Многие из них после нашей победы возглавили компартии в своих странах.

Рассказчик говорил о Вильгельме Пике, Готвальде и других, как о своих знакомых и соседях. Потом он снял пиджак и продемонстрировал ковбойку, некогда принадлежавшую Хо Ши Мину. Ковбойку приветствовали шутливыми аплодисментами. Потом мы рано утром шли с Карлосом по бульварам в сторону Зачатьевки и рассуждали о поминках. Карлос говорил, что на днях видел свежий «Крокодил» с карикатурой на обложке. Там был изображен человек с крючковатым носом и в колпаке, похожем на ермолку. В руках человек держал книгу с надписью «Андре Жид», но начало надписи как бы случайно было заслонено и читалось только: «Жид». «Здорово похож на моего отца, хоть он и маркиз», – смеялся Карлос. Мы вспоминали, с какой верой пели «Интернационал» вчерашние наши собутыльники и удивлялись, как много всего в человеке напихано и как он все это ухитряется в себе сочетать и примирять. Ведь они тоже знают и про Андре Жида, и про многое другое, но делают вид, что ничего этого нет.

Во ВГИКе, по-прежнему, шли сокращения среди педагогов. Многие виноваты были только в том, что преподавали именно западную литературу или европейскую историю, и еще увольняли потому, что носы у некоторых были, как на той карикатуре в «Крокодиле». В прессе вдруг появились новейшие ученые исследования, согласно которым и паровоз, и самолет, и телефон – все было изобретено в России крепостными умельцами. Футбол стали называть «ножным мячом», голкипера «вратарем», а фокстрот – «быстрым танцем».

Умер Эйзенштейн. Он умер от разрыва сердца, ночью, за рабочим столом. Гражданская панихида была в зале Дома кино. Людей было мало – пригнали студентов. Знаменитостей мы там не заметили. В почетном карауле стояли только вгиковцы с младших курсов. Коллеги – режиссеры у гроба, видимо, не решались появляться. Министр Большаков сказал вступительное слово. Он говорил громко, словно был на трибуне. Большаков сказал, что мы высоко ценим Сергея Михайловича, «несмотря на допущенные ошибки».

В разгар этой речи быстро вошел Николай Черкасов и встал перед Эйзенштейном на колени. Большаков речь прервал, но что делать дальше, не знал. Он подошел к Черкасову и попробовал вежливо его приподнять. «Отойдите», – тихо, но отчетливо сказал Черкасов, и весь зал слышал его слова. Потом говорил Всеволод Вишневский. Он волновался и вместо «прощай», сказал: «до свидания». Вот и все, что было человеческого в этой панихиде. Велено было Эйзенштейна кремировать. В крематорий поехало совсем уж мало людей. В пустом ритуальном зале на полу валялись какие-то черепки – не то от цветочных горшков, не то от урн. Железные шторы сработали не сразу, и, наконец, со ржавым визгом они закрылись над лобастеньким.

Каспийские джунгли

После смерти Эйзенштейна что-то во ВГИКе неуловимо изменилось. Исчезла у нас, как мне кажется, точка отсчета. Прежде мы, сталкиваясь с чем-то непонятным, требующим ясного отношения или оценки, невольно спрашивали себя, а как поглядел бы на это лобастенький? Он не был для нас учителем ни формально, ни по существу, но авторитет его был так высок, что, находясь с ним под общей вгиковской крышей, мы чувствовали себя защищенными, принятыми под его высокое покровительство. Он был, в наших глазах, олицетворением порядочности, примером достойного служения профессиональному долгу. Теперь такого человека у нас не было.

Между тем, в кино произошли два важных события. Событие первое: после очередного ночного просмотра в Кремле Сталин якобы сказал мимоходом Большакову: «Лучше меньше, да лучше». Замечание было воспринято буквально. Большаков остановил съемки игровых картин на всех студиях страны. Оставшиеся незавершенными картины взялись дружно редактировать и «улучшать». Механизм редактирования сложился, в общем-то, давно. Под «редактированием» скрывался, прежде всего, идеологический контроль. Для этого существовала Главная редакция при Министре, а на каждой студии трудились еще и свои главные редакторы с армией неглавных. Разрешая съемки новой картины, к ней всегда прикрепляли еще одного редактора, хоть и не главного, но самого въедливого. Он назывался «редактор картины». Этот редактор никаких решений не принимал, но должен был присматривать за фильмом на всех стадиях производства: при утверждении сценария, при утверждении артистов на главные роли, а также при ознакомлении с текущим, только что отснятым, материалом.

Редактор должен был своевременно сигнализировать обо всех отклонениях от сценария и о других прочих

отклонениях. При этом, опасаясь за собственную персону, редактор картины всегда пытался предугадать еще и мнения цепочки вышестоящих «главных» – проявить усердие. Эта система поголовного слежения всех за каждым как бы пульсировала, то усиливая, то на время ослабляя свою активность. Сейчас она работала на полную мощность. Претензии к фильмам предъявляли теперь самые неожиданные и вздорные. Нередко их переставали «улучшать» и просто закрывали. Часто режиссер так и не узнавал, за что его фильм «положили на полку».

Наступил день, когда в производстве осталось пять фильмов на весь Советский Союз. Наступил коллапс, всеобщая безработица. Ведущим режиссерам теперь частенько предлагали работать попарно, не считаясь с творческими желаниями. Руководство, таким образом, убивало сразу двух зайцев – решало проблему трудоустройства и заставляло эти парочки невольно присматривать друг за другом. Менее значительных, с точки зрения Большакова, работников просто увольняли. Списки увольняемых были очень длинными. Я видел их в вестибюле «Мосфильма» и видел лица уволенных.

Вторым важным событием для нас стало назначение в нашу мастерскую нового художественного руководителя. Им стал Михаил Ильич Ромм. Головня познакомил его с каждым из нас, и новый мастер сказал вступительное слово. Ромм говорил об ответственности Художника перед Партией и Народом, о роли кино в жизни и воспитании людей. После этого Головня вручил ему список вновь обретенных учеников и тихонько удалился. По-моему, Михаил Ильич чувствовал себя неловко. Он как-то поспешно, вскользь, успокоил нас, что он вполне понимает и разделяет педагогические взгляды Юткевича и сохранит преемственность «в той мере, в какой это окажется возможным». А еще он сказал, что надеется, что нам дадут шанс проявить себя на предстоящей производственной практике. «Но вот беда, – посетовал Ромм, – именно сейчас возникли сложности на киностудиях и, фактически, нет картин, находящихся в производстве. Сам я сейчас тоже пока не снимаю, но сделаю все, чтобы вы смогли пройти практику у моих коллег. А пока что, – добавил Ромм, – я прошу вас проявить терпение». Наступила длинная пауза. Михаил Ильич еще раз перечитал список и сделал какие-то пометки. Список он аккуратно положил в портфель и щелкнул замком. «Вот, что я вам скажу, ребята, – почему-то тихо сказал Ромм, – нужно уметь служить. Этому вам предстоит научиться». Фраза была странная и какая-то непедагогически грустная.

В начале лета иностранцы стали разъезжаться на практику по своим «народным демократиям». Грузины большой группой устроились к Чиаурели. Он начал снимать картину про Сталина «Незабываемый девятнадцатый». Карлос Льянос попросился к Роману Кармену. Они были знакомы по каким-то общим испанским делам, а Кармен вскоре намеревался снимать документальный фильм о бакинских нефтяниках.

Однажды меня встретил Головня и спросил, не хочу ли я пойти на практику к Владимиру Шнейдерову. Это был известный режиссер, снявший популярные приключенческие фильмы «Джувльбарс» и «Гайчи». Шнейдеров много путешествовал, снимал ленты на Ближнем Востоке и на Крайнем Севере. Впоследствии Владимир Адольфович придумал «Клуб кинопутешественников» и долго его возглавлял. Конечно же, я хотел к Шнейдерову!

В тот же день я пришел на «Союздетфильм». Студия была здесь же, по соседству со ВГИКом. Отыскав на дверях название картины: «В каспийских джунглях», я вошел. Стены кабинета были увешаны фотографиями верблюдов, песков и бедуинов. С другой стены таращились всякие ритуальные маски и оленья голова с развесистыми рогами. Среди всей этой экзотики стучал на машинке маленький человечек с зализанным пробором.

– Виталий! – вдруг громко закричал зализанный.

Я шагнул вперед.

– А тебе чего? – удивился зализанный.

– Я – Виталий, практикант из ВГИКа, – пояснил я.

– И чего ты умеешь делать, Виталий? – спросил человечек.

Я сказал, что, наверное, пока что, ничего не умею.

– Виталий! – опять закричал человечек.

Дверь отворилась, и вошел длинный парень, чуть старше меня, но уже с лысинкой.

– Вот, еще один Виталий, на мою голову! – представил нас зализанный. – Отправляйтесь оба с творческим заданием – искать по аптекам гвоздичное масло!

– А деньги? – спросил мой тезка.

– Денег нет! Ну? Вы что стоите? Познакомьтесь по дороге!

– Это директор картины, Китаев, – сообщил мне тезка, когда мы вышли из студии.

– А сколько стоит гвоздичное масло? – спросил я.

– Никогда не трать своих денег на казенные нужды, – поучительно сказал спутник, – деньги у Китаева есть, но он не любит их тратить. Он от этого заболевает.

Мы познакомились. Мой тезка – Виталий Гришин – работал ассистентом у Юлия Фогельмана, знаменитого по тем временам оператора. Фогельман снял хороший фильм «Гармонь». Снял «Гибель Орла» и всем известный фильм «Пятнадцатилетний капитан». Виталий мимоходом сообщил, что он племянник того самого Гришина, который секретарь МГК [15 - Московский городской комитет КПСС. В 1952–1956 годах вторым секретарем комитета был В.

В. Гришин. – Ред.]

– Но ты не обращай внимания – я нормальный человек, – успокоил меня тезка. – Здесь полно блатарей, потому что работать в кино считается модным. А я, между прочим, вкальваю! Уже три года! Сам Фогельман меня пригласил!

Виталий рассказал, какая нам предстоит роскошная жизнь. Шнейдеров задумал серию фильмов о Волге.

– Сперва мы на хорошем теплоходе поплывем вниз по реке, не спеша выбирать натуру, а потом завершим путешествие в устье, в заповеднике «Дамчик». Здесь, – рассказывал Виталий, – начнутся первые съемки. После этих съемок мы вернемся вверх по реке, снимать следующие фильмы, используя уже выбранную натуру.

Только к вечеру мы вернулись на студию с бутылочкой дефицитного гвоздичного масла. Оно, оказывается, понадобилось Китаеву для спасения съемочной группы от волжских комаров. В кабинете Шнейдера шло совещание – обсуждался маршрут теплохода, перечень необходимой аппаратуры и снаряжения. Увидев меня рядом с упитанным Виталием Гришиным, Шнейдеров сказал, что мы являем собою наглядную диаграмму: «Я ем кашу Геркулес!» и «Я не ем кашу Геркулес!».

– Вот он – не ест кашу Геркулес! – указал Шнейдеров на меня, – докладывайтесь, молодой человек.

Я рассказал, на каком я курсе учусь и откуда родом. Узнав, что я из Сибири, Шнейдеров оживился.

– Вот это хорошо! Ты наш! – Шнейдеров оказался человеком веселым и разговорчивым. Тут же, прервав совещание, он рассказал Фогельману и окружающим историю, которая приключилась с ним где-то в Якутии. Дело было в двадцатых годах, когда там живы еще были туземные обычаи. Застигнутый пургой, Шнейдеров заночевал у местного старейшины. Они славно подкрепились жареной олениной и спиртом. Даже поменялись именами для укрепления дружбы. Прислуживала молодая жена хозяина. Она постоянно хихикала и лукаво поглядывала на Шнейдера. Муж-якут что-то сказал жене, и она с готовностью закивала. После сытной трапезы хозяин попросил гостя оказать ему честь и разделить ложе с его молодой женой. Оказывается, в этих краях хозяин должен отдать гостю лучшее, что он имеет, и отказ – смертельная обида. Тогда Шнейдеров, якобы, предложил хозяину выпить по последней, притворился смертельно пьяным и старательно храпел всю ночь рядом с молоденькой хозяйкой.

– На вас это не похоже, – усомнился Фогельман.

– Да вы лучше послушайте конец истории! – защищался Шнейдеров: Прошло года три, а может и четыре. И вот, в один прекрасный день ко мне вбегает перепуганная жена и сообщает, что мне звонят из Верховного Совета по поручению какого-то Владимира Адольфовича. «Этот Владимир Адольфович просил передать тебе, Владимир, – тут жена сделала круглые глаза – что он хотел бы повстречаться с тобой, потому что вы давно не виделись». Мы долго сидели с женой и гадали, кто из моих приятелей способен на подобную шутку и в чем тут подвох. Гадали мы до тех пор, пока не раздался новый звонок. Тут к телефону побежал я сам. Вежливый чиновничий голос сообщил, что, если я не против, Владимир Адольфович посетит меня завтра, в обеденное время. «Вы уж, пожалуйста, товарищ Шнейдеров, – голос чиновника стал доверительным, – запаситесь чесночной настойкой – он любит». И чиновник повесил трубку. Размах розыгрыша был угрожающий. Мы с женой представили себе накрытый к обеду стол с дурацкой чесночной настойкой и радостные лица приятелей, которые все это затеяли.

– Ну нет, – успокоила меня жена, – это слишком уж неправдоподобно.

Тем не менее, с утра она пошла на рынок, а меня отправила за чесночной настойкой. Такого напитка в магазинах не оказалось, и мне посоветовали обратиться в аптеку. «Вам сколько бутылочек?» – презрительно спросила провизорша. Оказывается, чесночная настойка является дешевым и любимым напитком безнадежных выпивох. К трем часам мы с женой уже сидели за обеденным столом. В центре стояло множество бутылочек с чесночной настойкой. Мы решили пойти до конца – стало даже интересно. Позвонили ровно в три. Я пошел открывать. В дверях появился мой стародавний знакомец, старейшина-якут. Теперь он был облачен в модный чесучевый костюм. На груди его красовался депутатский значок. Я познакомил его с женой, и он ловко поцеловал ей ручку.

– О! Вот это сюрприз! – закричал гость, увидев на столе бутылочки с настойкой.

Начались вежливые разговоры. Гость налег на чесночную настойку, опрокидывая бутылочки прямо в рот. Оказывается, когда-то в Якутии попробовали было ввести сухой закон, но совершили ошибку – одновременно завезли и эту настойку как средство от цынги. Республика, конечно, принялась интенсивно лечиться. Наш гость, ныне вознесшийся до правительственных приемов, яств и напитков, пристрастился, оказывается, пить только эту мерзость «в память о славных временах и комсомольской юности».

С «Владимиром Адольфовичем» все оказалось еще проще. Давний обмен именами наш гость принял всерьез. Когда в Якутии началась всеобщая паспортизация, он назвал себя Владимиром Адольфовичем, что и было зафиксировано в паспорте. В именах и отчествах местное начальство не очень-то разбиралось – сочло, что у гражданина такое длинное имя.

Пошла веселая беседа, количество бутылочек на столе сокращалось. Гость был в ударе и каждую очередную бутылочку выпивал теперь за здоровье моей жены. «А помните нашу первую встречу?» – спросил он и подмигнул. Потом он пожелал осмотреть нашу спальню. Спальня депутату понравилась, и он захотел вздремнуть. Мы с женой переглянулись, тихонько вышли и стали совещаться: дать ли гостю проспать здесь или разыскивать неизвестного

чиновника в Верховном Совете? И тут послышался голос из спальни. Гость просил мою жену принести ему последнюю бутылочку в постель, «на сон грядущий». Жена взяла было эту бутылочку и двинулась к спальне. Не помню, что я крикнул жене, – рассказывал Шнейдеров, – кажется, я крикнул ей: «не смей!». Жена удивилась. И тогда я вынужден был рассказать ей про древний обычай.

Но, вместо того, чтобы испугаться, жена принялась меня допрашивать злым шепотом, с кем и как часто я соблюдал древний обычай? Я рассказал все, но она, как вот теперь Фогельман, не поверила. Надо сказать, что мы до этого тоже попробовали настойку и беседа пошла на повышенных тонах.

– Я пойду к нему и все узнаю, – пригрозила жена.

– Ах, ты пойдешь к нему? – язвительно переспросил я.

– Да! А что? Теперь я свободная женщина!

Неизвестно, чем бы все это закончилось, но дверь отворилась и вышел якут в моем халате. Он поглядел на жену и укоризненно покачал головой.

– Я жду, – сказал он.

Мы с женой застыли в напряжении.

– Ведь у нас есть... еще одна бутылочка! – закончил депутат и целеустремленно пошел к столу.

Постепенно я стал привыкать к группе, людям и особенностям кинопроцесса, как высокопарно выражались теоретики во ВГИКе. Я понял, что кинопроцесс – это постоянное преодоление нелепых трудностей и непредсказуемых препятствий. Меня призвал Китаев и дал очередное творческое задание. Нужно было срочно раздобыть подробную карту волжского бассейна. Китаев собственноручно напечатал бумагу в каком-то Главное картографическое управление при Совете Министров и к ней присовокупил еще, почему-то, просьбу в Генеральный штаб. Китаев любил все делать с размахом. Сразу же возникли непреодолимые трудности. Три дня я не мог получить пропуск в это, как оказалось, сверхсекретное Управление. На четвертый день третьестепенный чиновник сообщил мне, что империалисты снова бряцают оружием, и если к ним попадет карта, на которой обозначены стройки коммунизма – Сталинградская и Куйбышевская ГЭС... Ну, вы сами понимаете, что будет! «Вам, молодой человек, нужен не пропуск, а допуск к секретной информации», – подытожил он.

На Пироговку, к Генеральному штабу меня, конечно, и близко не подпустили. Теперь каждый раз, встречая меня в студийных коридорах, Китаев почему-то взглядывал на часы и грозно спрашивал: «Где!?!» Я решил посоветоваться с Виталием Гришиным.

– Ни за что не дадут тебе карту, – предсказал тезка. – Ты разве не знаешь, что вокруг этих ГЭС самые большие лагеря. Эки там строят коммунизм. Карту лучше просто украсть.

– Где? – осторожно спросил я.

– Да в Ленинке! А я постою на стреме, – пообещал племянник первого секретаря МГК.

В тот же вечер мы пошли «на дело». Предъявив студенческий билет, я получил пропуск. Виталий с кем-то поздоровался и прошел вообще без пропуска.

– Лучше спереть карту-вкладыш, их часто даже не регистрируют, – шептал Виталий.

Я сразу нашел довоенную книжонку под названием «Ох, Жигули, вы Жигули». В серединку была вложена карта с этим самым «волжским бассейном». Там извивалась голубая змейка – вся Волга со Средне-русской возвышенностью, городами, селами и устьем! Прямо в читальном зале я хищно потянулся за вкладышем.

– Не так! – прошипел Виталий, – пошли в туалет!

Когда я вышел из кабинки, под рубахой хрустнуло.

– Здесь? – спросил мой сообщник.

Я кивнул. Пока я сдавал книжку (но уже без вкладыша), мне чудилось, что карта уж очень шелестит... нет! – хрустит!.. нет! – грохочет под моей рубахой! И все на меня смотрят. Наконец, девушка на контроле тиснула сиреневую отметку, и я шагнул на свободу. Первое, что я увидел, выйдя из библиотеки: в киоске у выхода красовалась новенькая книжка «Ох, Жигули, вы, Жигули». «Издание второе, дополненное». Книжку дополнили поэтическим описанием строек коммунизма, но, естественно, без лагерей. Была приложена и карта – тоже, само собой, без лагерей. Карту Китаев у меня взял, равнодушно кинул в портфель и побежал дальше по своим важным делам.

Картина у нас была маленькая, группа маленькая, проблемы тоже не масштабные, но они были подобием, если не сказать, пародией на большие проблемы большого кинопроцесса. К Шнейдеру пришел редактор картины – скромный человек с учительской внешностью. Он сказал, что у него важное дело и покосился на меня.

– Ничего, – ответил Шнейдеров, – это практикант. Пусть сидит и практикуется.

Редактор положил перед Шнейдером сброшюрованные листы с текстом. Дальше я стал свидетелем примерно такого диалога:

Шнейдеров: Ну?

Редактор: Третий вариант вполне приемлем...

Шнейдеров: Чего мнешься?
Редактор: Джунгли.
Шнейдеров: Чего джунгли?
Редактор: Сценарий называется «В каспийских джунглях»
Шнейдеров: Знаю.
Редактор: Я-то ничего, но главный говорит, что могут быть осложнения...
Шнейдеров: Почему?
Редактор: Это просто смешно, но главный говорит, что «джунгли» – иностранное слово. А зачем нам в фильме о великой русской реке иностранное слово? Это не я говорю! Это главный говорит! Вы понимаете?
Шнейдеров: Это просто смешно!
Редактор: Вот я тоже говорю, что смешно, но «джунгли» нужно как-то заменить! Могут возникнуть какие-нибудь ассоциации, аллюзии! Мы ведь привыкли, к примеру, говорить: «капиталистические джунгли», имея в виду те джунгли, где человек человеку волк. А в этом случае...
Шнейдеров: Волки в джунглях не водятся.
Редактор: А кто водится?
Шнейдеров: Тигры.
Редактор: Ну, вот я и говорю – какие же тигры на Волге?
Шнейдеров: Ты меня не путай!
Редактор: «Джунгли» не пройдут!
Шнейдеров: И не пугай!
Шнейдеров (после паузы): Виталий! Тащи словарь синонимов! На всякий случай.
Редактор: Ну, вот и ладненько!
Картину решено было назвать: «В зарослях волжской дельты». Скучновато, но зато без «джунглей». Уже уходя с утвержденным сценарием, редактор вдруг вернулся. «Владимир Адольфович! – сказал он испугано, – «дельта» – тоже нерусское слово!» Шнейдеров молча швырнул в него толстый словарь синонимов.

Плашкоут «Камбала»

Неспешное плавание на белом теплоходе окончилось, не начавшись. Во всяком случае, для нас с Виталием Гришиным. По велению Китаева, нас со всем нашим скарбом: аппаратурой, громоздкими натурными подсветками, различными ящиками и ящичками погрузили в плацкартный вагон и отправили в Астрахань «готовить экспедицию». Мы протряслись на грузовике по жарким астраханским улочкам, внедрили в гостиницу «Волга», и про нас надолго забыли. Целыми днями мы слонялись по пивным, грызли воблу, ели арбузы, потом снова шлялись по пивным, а от Китаева не было ни ответа, ни привета.

– Это бывает, – объяснял Гришин, – нас выкинули в Астрахань, чтобы поскорее открыть счет на экспедиционные расходы. На такие расходы деньги дают без проволочки, а контролировать их труднее.

– А зачем их контролировать? – спросил я.

– Вот те раз! – поразился Виталий. – Ну, ты дремучий! В кино все предусмотреть невозможно, а отчитываться велят за каждую мелочь – до абсурда! Для пользы дела лучше государство обмануть сразу и по-крупному, а потом уж разумно распорядиться в пользу того же государства.

Наконец, пришла телеграмма от Китаева, и в тот же день явился перепуганный директор гостиницы.

– А что, ребята, – спросил директор, – черный «ЗИМ» для товарища Китаева подойдет? У нас есть один, в «Интуристе».

Мы дали свое согласие и отправились в роскошном авто на вокзал. Из дверей мягкого вагона возник Китаев весь в белом. Он проследовал в гостиницу и вечером велел явиться на совещание в единственный на всю гостиницу номер-люкс. Китаев потребовал у нас отчет о проделанной работе. Гришин не дал мне заговорить и тут же предъявил встречный счет: за погрузку-выгрузку экспедиционного имущества, за круглосуточную охрану этого имущества, за оборудование фотолаборатории, за проявку фото и кинопроб, а также за работу, произведенную практикантом Мельниковым по подбору типажей для съемки массовых сцен. Китаев лениво отмел все претензии.

– Проявлять будешь в сортире, там достаточно темно, – отбрил он Гришина. – Не выпендривайся, – сказал он мне, – сниматься у тебя будут, в основном, змеи да черепахи. И вообще, ребята, работать надо экономно.

– А теплоход? – спросил Гришин.

– С теплоходом пока не ясно, – ответил Китаев, – но для первых съемок в заповеднике я кое-что придумал!

С утра Китаев взялся за дело. Сперва он посетил областное начальство, а потом всякие пристани и причалы. Окруженный толпой просмоленных речников, он карабкался на баржи и катера, о чем-то спорил, разъяснял и чего-то требовал, а вечерами, вздев очки, Оскар Евгеньевич щелкал на счетах.

– Поехали! – сказал однажды утром довольный Китаев.

Интуристский лимузин подкатил к дырке в заборе, ограждающем дальний причал. «Так короче», – объяснил Китаев и полез в дыру. Тощий Китаев и я благополучно пролезли, а Гришин повис на заборе и порвал штаны. «За штаны уплачу», – сказал директор и устремился к берегу. Там стояла у причала плоскодонная баржа под названием «Камбала». Название было намалевано дегтем по середине борта и потому, где у этого сооружения корма, а где нос, определить было невозможно. Человек в рваной тельняшке и в галифе откозырял Китаеву и подал трап.

«Прошу на судно», – пригласил Китаев. Мы поднялись и пожали руки Володе. Китаев нанял этого шестидесятилетнего Володю в качестве шкипера, проводника и егеря-охотника.

– Шурка! – крикнул Володя, и на борт с ведром помидоров поднялась краснощекая толстушка.

– Шурка – моя жена, – представил толстушку Володя.

– И наша кухарка, – добавил Китаев.

Он сообщил нам, что «Камбала» станет плавучей базой киноэкспедиции. На палубе плашкоута плотники соорудят деревянный каркас и обтянут его парусиной. Получится уютный летний домик. Домик потом разгородят на каютки по числу участников экспедиции, плюс кухня, плюс операторская кабина для хранения аппаратуры и пленки. Специальный катер отбуксирует «Камбалу» сначала в заповедник «Дамчик», а потом вверх по Волге. В плавании мы будем, где надо, причаливать, жить и снимать все задуманные Шнейдеровым эпизоды. Просто, удобно и дешево! Никаких тебе дорогих гостиниц и роскошных теплоходов!

Я слушал Китаева и мучительно вспоминал, где я что-то подобное уже видел. И я вспомнил про агитбригаду «Бей врага!». Я рассказал Китаеву, чем тогда дело кончилось, но воодушевленный дешевизной и романтикой Китаев даже и слушать меня не пожелал. Тем более, что он уже созвонился со Шнейдеровым и Фогельманом. План был одобрен, а жены мэтров даже заказали туалеты. По мере созидания нашего киноковчега возникали и трудности, и неожиданности. Когда каркас обтянули парусиной, выяснилось, что шкипер Володя впереди по курсу не увидит ровно ничего, так как уютный парусиновый домик заслонил обзор. «Ну и наплевать на обзор, – успокоил всех Володя, – нас все равно потянут на буксире».

Второй проблемой стал гальюн. Китаев лично начертил его на плане. По ходу работ он неоднократно сам в него влезал и примеривался. Но он не учел разницы в габаритах. Тощему Китаеву в гальюне было просторно, а вальяжный Шнейдеров теоретически помещался ровно наполовину. Тогда дали телеграмму Шнейдерову. Пришел лаконичный ответ: «Наплевать. Шнейдеров». Шеф, будучи закаленным путешественником, среагировал, как и следовало ожидать, мужественно. Проект гальюна был утвержден и пошел в работу.

После первого же ливня парусиновая крыша домика прогнулась и превратилась в бассейн для дождевой воды. Но было жарко и вода, на этот раз, быстро высохла. Кухарка Шура спросила, где будут храниться продукты в такую жару? «Наплевать, – сказал теперь уже Китаев, – мы будем жить в заповеднике, там полно свежей дичи, а егерь-охотник у нас – твой собственный муж». Гальюн достроили, крышу усилили фанерой и стали ждать приезда всей группы.

Шнейдеров вступил на перрон астраханского вокзала в пробковом шлеме, охотничьем костюме из негнущегося джута и с роскошным винчестером через плечо. У пояса болталась замшевая, украшенная бахромой, сумка-ягдташ – для дичи. Глаза путешественника были защищены противосолнечными восьмиугольными очками. Навстречу Шнейдерову сразу же двинулся местный милиционер. Он робко потребовал документы. Милиционер был прав. Шнейдеров смотрелся, как типичный колонизатор и палач угнетенных народов.

Потом все долго размещались в ковчеге, вскрывали чемоданы, искали термосы, несессеры и всякую мелочь, которую обычно все в дороге забывают и теряют. В дальнем закутке шептались и хихикали жены – они уже примеряли купальники. Отплыли мы только к вечеру. Подвалил катерок. Володя принял буксир. «Камбала» стала удаляться от берега, и вскоре астраханские огни уже не светились, а слабо мерцали вдали. На самом стрежне дунул ветерок и «Камбалу» потащило боком. Я был знаком с этим явлением. То же самое произошло когда-то и с агитбригадой «Бей врага». Парусиновый домик имени Китаева сработал и теперь, как настоящий парус. Ковчег развернуло бортом к волне – началась беспорядочная качка. Трос тотчас лопнул и катерок скрылся в темноте.

– Куда мы плывем? Куда мы плывем? – забеспокоилась жена Китаева, появляясь в новом купальнике.

Гришин и Фогельман уже немного выпили по случаю «дня приезда – дня отъезда» и настроены были философски.

– Плывем по течению, – ответил Гришин, – а Волга, как известно, впадает в Каспийское море.

– Оскар! Ты слышишь? Ты это знал? – всплеснула руками жена Китаева.

Набежавшая волна окатила ковчег до самой крыши. Ветер взвыл и принялся больно хлестать нас мокрой парусиной по головам.

– Оскар! Сделай что-нибудь! – требовала жена директора.

Но дирекция была бессильна перед стихией. Все вокруг раскачивалось, скрипело и выло. С той стороны, где скрылся катерок, пустили ракету, не то призывную, не то – прощальную. И наступила кромешная тьма. Мы забились по углам и обреченно затихли. Оставалось плыть по воле волн, ждать либо счастливого случая, либо

рассвета.

Я был еще в том возрасте, когда бессонницей не страдают, и проснулся только утром от надрывного, нескончаемого воя. «Камбалу» затащило в какую-то протоку и она теперь покачивалась среди тростников. То, что вначале показалось мне утренним туманом, оказалось несметными полчищами комаров. Дышать было невозможно – в горло и легкие втягивались комары. Они слепили глаза, набивались в уши и ноздри. Они с каким-то истерическим визгом клубились и закручивались в смерче-видные воронки. Самая густая и черная комариная туча выла над потерпевшей бедствие съёмочной группой.

Парусину, конечно, ночью сорвало и теперь все сидели на палубе беззащитные, под открытым небом, застыв в неподвижности и укрывшись с головой, чем попало. Куртки, пледы и одеяла казались бархатными и слегка шевелились. Они были покрыты несколькими слоями комаров, жаждущих крови. Надежды Китаева на какое-то жалкое гвоздичное масло были просто смехотворны. Такое средство сгодилося бы, разве что, в парке культуры имени Горького или в Серебряном Бору.

Чтобы морально поддержать товарищей, Шнейдеров поделился с нами сведениями, полученными от ученых консультантов. «Комаров нужно ценить, хранить и беречь! – сказал распухший от укусов Шнейдеров. – Комары просто необходимы, чтобы ими питались птицы и рыбы, а птицами и рыбами – все остальное население заповедника, включая и членов нашего коллектива. Так что, – закончил Шнейдеров, – мы должны включиться в жизненный круговорот и терпеть». Сотрудники и жены выслушали лекцию внимательно, но как-то невесело. Происходило молчаливое прощание с мечтой о белом теплоходе и безмятежном летнем отдыхе.

Исчезнувший прошлой ночью катерок вдруг выскочил из тростника и пришвартовался к «Камбале».

– А вот и мы, – приветствовала нас повариха Шурка. – Сейчас позавтракаем, зачалим вас и потянем прямехонько к заповеднику.

Никто из команды даже не вспомнил о кораблекрушении. Видимо, происшедшее считалось пустяком, не заслуживающим внимания. Тем не менее, Китаев вынужден был хорошо заплатить за поиски и спасение «Камбалы», а также за восстановление хлипкого Китаевского домика. Его пришлось дополнительно усилить толстым армейским брезентом, а потом еще и дефицитной вагонкой. Дорогая процедура «усиления» повторялась неоднократно и стоила Китаеву значительно больших денег, чем билеты на белый теплоход. Но «Камбалой» Китаев гордился и своей ошибки не признавал. «Такова специфика работы в экспедициях», – важно разъяснял он мне, несмышленишу-практиканту.

Территория заповедника «Дамчик» – это лабиринт больших и малых протоков, заросших тростником островков и полузатопленных чащоб. Вода здесь постоянно меняется. То она пресная, то соленая. Все зависит от ветров и течений. За бортом «Камбалы» вдруг открывались перед нами экзотические картинки с колониями носатых пеликанов или розовых фламинго. Животный мир никак не реагировал на шум мотора и громкие восторги опухших кинематографистов. Заповедник жил своей заповедной жизнью. «А вот и свежая дичь летит!» – поразился Фогельман, увидев стаю бакланов. Если б он знал, как жестоко он ошибался!

Управление заповедником размещалось в трех домиках, стоящих на сваях. Под сваями проживали водяные крысы, змеи и другая нечисть. Домики соединялись переходами, тоже стоявшими на сваях. В одном домике находилась контора и жил директор заповедника с семьей, во втором – клуб, он же – столовая, а третий дом был набит полуголыми практикантками и аспирантками биологического факультета МГУ. Появление «Камбалы» было воспринято с восторгом. Мы еще не пришвартовались, а биологини уже спрашивали у Гришина, когда будут танцы. Шнейдеров, под общие аплодисменты, лично поднял флаг экспедиции – желтая рыба-камбала на голубом фоне.

Состоялся и банкет в клубе-столовой. Банкет неприятно удивил Фогельмана. Директор извинился за несколько однообразное меню и предупредил, что коллектив заповедника стремится подавать пример местному населению и учащейся молодежи в деле сохранения уникальных животных и птиц. Потом он пожелал творческих успехов кинематографистам. В зал впорхнули биологини и стали разносить еду. На тарелках лежали одинаковые коричневые тушки какой-то дичи. Директор снова встал и сказал, что нам повезло – сегодня проводился плановый отстрел бакланов. Так что – приятного аппетита!

Фогельман поковырял черное, вонючее бакланье мясо и спросил у директора, не ожидается ли в ближайшее время плановый отстрел осетрины? Директор шутку не оценил и стал ругать браконьеров. «А на гарнирчик чего-нибудь не найдется? Или хоть хлебушка – заесть баклана?» – попросил Фогельман у соседки-биологини. И та нам рассказала следующее: по причине повышенной влажности и жаркого климата в заповеднике хлебные изделия и крупы покрываются плесенью за ночь, а все остальное съедают какие-то особо ценные заповедные муравьи. Борются с муравьями директор запретил.

– Если у вас есть припасы, их лучше съесть сегодня же, – посоветовала биологиня.

– Как хорошо, что у нас нет припасов! – сказал Фогельман и больше вопросов не задавал.

С утра Китаев отправился в Астрахань добывать все необходимое для жизни во «вновь открывшихся обстоятельствах». Чтобы заранее подготовиться к другим неприятностям, мы отправились на места предполагаемых

съемок. Выяснилось: для того, чтобы поближе подобраться к колонии пеликанов, нужно почти километр брести по горло в воде. А чтобы пеликанов не спугнуть, – советовал Володя, – лучше вообще скрыться под водой и во рту держать тростинку для дыхания. Шнейдеров и Фогельман с ужасом слушали Володю. Избалованные игровым кинематографом, они привыкли творить, развалившись в креслах и попивая кружон в обществе хорошеньких ассистенток. Представить себе Шнейдерова с тростинкой в зубах было невозможно.

Раздалось отвратительное кваканье. Мы теперь уже знали, что это летят бакланы. Егерь Володя, с криком «отстрел разрешен», пальнул в бакланов. Эффект был неожиданный. На нас обрушился поток бакланных объедков, непереваренных рыбьих голов и вонючих испражнений. Оказывается, если бакланы чувствуют опасность, они поспешно облегчаются, чтобы быстрее скрыться от врага. Все мы выглядели плачевно, особенно пострадали пробковый шлем и охотничий костюм Шнейдерова. Зачем Володя палил в несъедобных бакланов, было непонятно. Выяснилось это позже. Володя был браконьером-рецидивистом. Его раздражало все, что еще живет и движется. Худшего помощника не придумаешь!

Съемки решили начать с колонии цапель. «С ними легче, они еще молодые», – туманно объяснил Володя. Учитывая накопившийся опыт, мы понимали, что в нашем облачении мы будем съедены комарами и обгажены заповедной живностью в самые короткие сроки. Нужны были также и всякие приспособления для маскировки и скрытного передвижения с нашей неуклюжей аппаратурой. Фогельман никак не мог смириться с отсутствием раскладных стульев, громоздких подсветок и солнцезащитных зонтов.

Наконец, приехал Китаев. Он подружился с руководством какого-то лагеря, в котором сидят классные специалисты-гидростроители. Там создан особый режим и все хорошо с обмундированием и едой. Этот спецлагерь как бы взял над нами шефство. На «Камбалу» явились крепкие парни, по виду – малиновые, и выгрузили ящики с консервами. Под руководством Китаева они притащили тюки с одеждой. «Мы вам еще и ковбоечки подарим, – пообещали малиновые, – у нас контингент, когда им разрешают погулять вне зоны, всегда гуляет в ковбоечках!» Китаев шефов поблагодарил и сказал, что обязательно пошлет нас в лагерь для проведения культурной работы.

Шефская одежда состояла из ватников черного цвета, таких же ватных штанов и высоких резиновых сапог. Нам выдали шапки-ушанки и брезентовые рукавицы. Следует добавить, что средняя температура воздуха держалась на отметке плюс тридцать пять по Цельсию. К каждому комплекту прилагались еще тряпочки с номером, которые зек сам должен пришить на спину и колено. Но мы тряпочками не воспользовались. В группе даже началось брожение – надевать это никто не желал, но за штаны и ватники горячо вступился сам Шнейдеров. Он вспомнил про ватные бухарские халаты. «Носят же их узбеки! Значит, в этом что-то есть?» – говорил он. И действительно – в зековской одежде мы обнаруживали все новые и новые преимущества. Во-первых, ее не прокусывали комары. Во-вторых, черная одежда в черном, полуза-топленном черной водой лесу идеально нас маскировала. И, в-третьих, на солнцепеке мы не обгорали, а комфортно потели и даже ощущали некую влажную прохладу. По выходным дням мы щеголяли в арестантских ковбоечках. Лысый Виталий Гришин носил еще и зековскую шапку-ушанку – биологиням нравилось, это было «мужественно».

У камеры

Утром мы выехали на лодках, а «Камбалу» оставили Китаеву и женщинам. Начинался первый съемочный день. В полузатопленном лесу нужно было снять колонию цапель. Неподалеку от намеченного места мы соорудили на двух лодках настил – получилось что-то вроде катамарана. На этот настил водрузили замаскированную ветками камеру, Фогельмана и Шнейдерова. Мы же с Володей и Гришиным должны были, стоя по горло в воде, постепенно и бесшумно подталкивать наше сооружение поближе к цаплям. Объясняться можно было только знаками. Поначалу все шло неплохо, только очень медленно. После каждого всплеска или шороха мы застывали в неподвижности, чтобы не вспугнуть птиц. Впрочем, они сидели на корягах-топляках без движения. К одной цапле, сидевшей особняком, мы стали мало-помалу приближаться. Шнейдеров поднял руку, что означало: «внимание!» Цапля тоже уставилась на нас выжидательно. Мы придвинулись еще ближе и остановились.

– Камера! – громовым режиссерским голосом скомандовал Шнейдеров.

– Стоп! – одновременно с ним крикнул Фогельман.

Его ассистент Гришин в тот момент находился под водой, и потому Фогельман забыл поставить диафрагму. К общему удивлению, цапля не улетела. Она терпеливо ждала, когда Фогельман, наконец, приготовится к съемке. Из воды с шумом вынырнул Гришин, вскарабкался на свое место и поставил-таки диафрагму.

– Камера! – снова провозгласил Шнейдеров.

Затрещала старенькая «Аскания», на которой Фогельман работал бог знает сколько лет. Цапля и тут не улетела. Она сидела на коряге и только по-куриному дергала головой. Фогельман принял это как должное. Он привык к тому, что артисты позируют перед камерой часами, пока знаменитый оператор не поставит свет и не уточнит композицию.

– Виталий! – окликнул меня Фогельман. – Переставь цаплю правее и выше – вон, на ту ветку!

Я пришел в замешательство.

– Счас, Моисеич! – сказал Володя Фогельману и деловито двинулся к цапле. Он схватил ее одной рукой за длинную шею, а другой за ноги и поставил на облюбованный оператором *censored*к. Птица стояла неподвижно, как чучело в зоологическом музее.

– Я ж говорил, что они еще молодые! – объяснил Володя. – С виду они большие, а на деле, еще нелетные птенцы. Сидят вот и ждут, когда их матери покормят. Ты, Витька, главное, гляди, чтоб она тебе глаз не выткнула! Дитя все-таки! Любит блестящее!

Первый съёмочный день прошел замечательно! Фогельман был доволен. Он переставлял цапель, как ему заблагорассудится, подсвечивал их фольговыми подсветками и менял фильтры. Он велел Володе повлиять на цапель, чтобы они в нужный момент поворачивали головы, глядели в камеру и радостно хлопали крыльями, якобы приветствуя сородичей. И Володя «влият»: он шокировал цапель разбойничьим свистом, гоготом и угрожающими жестами. Потом голодные, запуганные птенцы отупели и впали в транс. Шнейдеров прокричал по традиции: «Спасибо! Съёмка окончена!», и мы отправились в заповедник, к родной «Камбале».

Постепенно у нас выработался распорядок дня. Утром, в половине шестого, Китаев объявлял «подъем», и мы прыгали в воду, чтобы очнуться и проснуться. Затем, по команде Шнейдерова «очистить палубу!», мы все отправлялись переодеваться, а Шнейдеров оставался на палубе в одиночестве. В гальюне он, как известно, помещался не полностью. После завтрака мы шли на веслах к намеченным местам съёмки. Съёмка в колонии цапель была, конечно же, исключением. Обычно приходилось часами выжидать и таиться, чтобы зафиксировать гнездо какой-нибудь пичуги. Иногда в засаду отправлялись с ночи и тряслись от сырости в камышах до самого рассвета. Классики – Шнейдеров и Фогельман все чаще поручали нам с Гришиным «самостоятельные задания». К камере они теперь подходили только по воскресеньям, когда жены отправлялись в Астрахань «развеемся и отдохнуть».

Тогда Фогельман приказывал ассистенту поставить камеру на палубе, в тенечке, и снабдить ее телеобъективом. Обычно этим объективом мы пользовались, когда необходимо было наблюдать за живой природой издалека и скрытно. Частенько обезумевшие от жары биологини выпрыгивали в воду прямо из окон общежития и резвились на волнах в чем мать родила. Фогельман и Шнейдеров наблюдали за этой живой природой по очереди. Все-таки знатный якут, видимо, не зря имел претензии к Шнейдеру. Владимир Адольфович был большим жизнелюбом. В отсутствие жен наша «Камбала» преображалась. Разомлевшего шефа обступали биологини, и он рассказывал им всякие экзотические и романтические истории. О наблюдениях через телевик он, конечно, не упоминал. Впрочем, всеобщая нагота уже стала привычной, а девицы – все, поголовно, были влюблены в него и прощали ему маленькие шалости.

Однажды Шнейдеров вызвал меня и вручил потрепанный режиссерский сценарий. Это был его личный экземпляр с пометками, вопросительными и восклицательными знаками. «Прочитай внимательно эпизод номер семь, – сказал Шнейдеров, – будешь им заниматься». Эпизод был про то, как некий научный сотрудник плывет на лодке по заповеднику и ему открывается сокровенная жизнь окружающей природы. Правильнее было бы сказать, что жизнь от него скрывается, так как в сценарии было написано: «уползает змея», «ныряет в воду крыса» и «взмывают над гнездами птицы».

– Если птицы летают над гнездом, значит, они встревожены, – рассуждал я, – а если, к тому же, от научного сотрудника поспешно скрываются все водоплавающие и пресмыкающиеся, то он просто неумеха или браконьер.

– С чего это ты взял, что наш биолог – браконьер? – обиделся Шнейдеров. – Мы оденем его поприличнее. Я дам ему свой шлем и бинокль! И, вообще, легче снять зверье, когда оно убегает, а вот как его к камере подманить, я, например, не знаю.

На этом разговор и закончился. Между тем, Китаев уговорил Шнейдерова снять в роли научного сотрудника самого директора заповедника, «для укрепления связей и улучшения деловых отношений». Съёмкой вынужден был руководить сам Шнейдеров.

Директор заповедника явился в своем лучшем костюме и при галстуке. На фоне камышей и бакланов он смотрелся странно, а переодеть его мы не решились. Директор глубококомысленно смотрел вдаль, дергал головой, как цапля, и безнадежно каменел перед объективом. От режиссерских команд Шнейдерова он каменел еще больше. Пришлось, из дипломатических соображений, в камеру вставить пустую кассету и весь день изображать процесс киносъёмки. На роль сотрудника вместо несправившегося директора тайно определили Володю-егеря, и, конечно же, Шнейдеров немедленно поручил мне «самостоятельное задание». Чтобы не смотреть в глаза обманутому директору, Китаев и «классики» неожиданно уехали в Астрахань.

Возня с «научным сотрудником» продолжилась уже под моим руководством. Завидев камеру, Володя тоже стал каменеть и глядеть вдаль. Было что-то роковое в этом эпизоде номер семь! Чтобы не подводить нас с Гришиным, Володя очень старался, но это, пожалуй, было еще ужаснее. Если, например, я просил его оглядеться, он тарачил глаза и сгибал руку козырьком, как в матросском танце «яблочко». Володя не смотрел, а изображал «смотрение». «Взгляни-ка, Володя, – просил я тогда, – этот куст вроде походит на птицу?» Вот тогда взгляд у Володи становился

осмысленным, а реакции естественными. Он переставал «изображать», так как делал нечто конкретное и понятное – сравнивал куст с птицей. Так, с помощью наводящих вопросов, больших и малых провокаций мы все-таки продвигались вперед. Появлялся даже азарт, кураж! И сам Володя чувствовал, что с ним что-то происходит. Он вел себя все увереннее, с достоинством и пониманием относясь к своей маленькой роли.

Не стоило бы, наверное, и рассказывать о таких пустяках, но эта первая встреча с «типажом» запомнилась мне и часто помогала потом в работе. В то время каждый в нашей стране постоянно чувствовал себя «под присмотром». Одним казалось, что так и нужно, так и должно быть, другие тяготились этим, замыкались в себе и привычно «делали вид». Делали вид, что счастливы и благополучны, делали вид, что слышат и понимают друг друга, и, главное, делали вид, что лояльны! лояльны! лояльны! Любое отклонение от привычного, дозволенного невольно настораживало уже и нас самих! И возникал некий замкнутый круг, а точнее, всеобщий негласный сговор! «Черна – бела не берите! «Да» и «нет» не говорите!» Объектив камеры, направленный на человека, был уже, сам по себе, неведомой угрозой: а вдруг ты выглядишь не так, как надо? А вдруг ты оговоришься или, не дай бог, проговоришься? Потому, оказавшись перед камерой, каждый, прежде всего, «делал вид» – прятал самого себя. Интеллигентный биолог и не очень грамотный егерь вели себя примерно одинаково. Эта всеобщая человеческая закрытость была тогда главным препятствием для киносъемок. Особенно в неигровом кино. Требовались большие усилия, чтобы эту преграду как-то преодолеть.

Возвращение наших руководителей затягивалось, и нам велено было самостоятельно приступать после человеческой, уже и к «звериной» части эпизода номер семь. Таким образом, весь эпизод был теперь в нашем полном распоряжении! Мы с трепетом взялись за работу. Первый кадр: «полоз поспешно уползает от биолога» мы сняли быстро. Биологи притащили полоза и поместили его в мешок. По моей режиссерской команде, мешок встряхнули и полоз талантливо уполз в тростники. Тут Шнейдеров был прав – убегающий объект снимать легче. Гришин сказал, что неплохо было бы снять дубль. Вот тут и возникли трудности – другого полоза у нас не было, а указаний на замену какой-нибудь другой змеей от Шнейдерова тоже не было. Решили пока отловить впрок несколько разных змей-дублеров, а потом действовать по обстоятельствам. Мешки со змеями Гришин, для надежности, запер у себя в лаборатории. Безвредного ужа он свернул колечком и положил в пустой кассетник. После этого мы с Володей отправились пополнять запасы живности для других кадров.

Однако и на этот раз проявилась зловредная сущность эпизода номер семь. Как только мы уехали, явились классики с женами. Фогельман никогда не оставлял мечты о «плановом отстреле осетров», тайно побуждал Володю к браконьерству и потому сразу же заинтересовался мешками, лежавшими в укромном месте в лаборатории. В мешках шевелилось что-то холодное, скользкое и округлое. «Молодцы, ребята!» – обрадовано крикнул Фогельман и потащил мешки на кухню к поварихе. Прибежали и жены. Фогельман энергично встряхнул первый мешок – на стол, вместо осетров, шлепнулся полоз и две гадюки.

Первой реакции коллектива мы сами не видели, потому что вернулись в заповедник уже вечером. Безлюдная «Камбала» покачивалась в стороне, а трап был снят. Коллектив молча ужинал на берегу у костра, Китаев неумело ставил для жены палатку. Мы присоединились к обществу, еще не понимая, что произошло.

– Почему у вас какие-то змеи? – спросил, наконец, Фогельман.

– Для съемок эпизода номер семь, – ответил я.

– И сколько у вас этих ваших змей?

– Это наши общие змеи! – сказал Гришин. – Даже придется еще немного подловить для дублей, а пока...

Гришин, загибая пальцы, стал считать. Получалось пять. Хотя двух гадюк и полоза следовало считать без вести пропавшими – то ли они уползли на волю, то ли затаились в недрах «Камбалы». Искать их в темноте как-то не хотелось. Мрачного Шнейдерова пригласил на ночлег директор заповедника. Китаев с женой устроились в палатке, а мы остались дежурить до утра.

Чуть свет, пошарив по судну, мы доложили начальству, что все чисто – гады покинули судно. Китаев со Шнейдеровым не поверили и явились к завтраку: Шнейдеров с винчестером, а Китаев с тростью.

– Все чисто! – еще раз отрапортовали мы.

Шурка уже накрывала к завтраку и вдруг охнула. Крышка кассетника приподнялась и в щели появилась змеиная голова. Про ужа в кассетнике Гришин забыл. Все опять бросились с «Камбалы» на берег.

– Так жить и работать нельзя! – заявил Шнейдеров. – Сразу же после завтрака назначаю производственное совещание!

Никакого опыта в такого рода съемках у «классиков» не было, нехудожественная возня с гадюками и черепаками им казалась унижительной. А между тем, одна за другой, возникали новые проблемы. Живность нужно было где-то содержать и чем-то кормить. поголовье нужно было еще и восстанавливать, потому что оно разбегалось и дохло.

– Кто у нас еще значится в эпизоде номер семь? – спросил Шнейдеров.

– Кадр шестнадцатый, – прочитал я, – «утка-поганка защищает родное гнездо».

– Гм, а... гнездо у нас есть? – спросил режиссер-постановщик.

– С чего это? – возразил Володя. – Гнезда строят сами поганки!

– Может быть, построить декорацию? – предложил Фогельман. – Да только как должно выглядеть это самое гнездо?

– Просто кучка всякого дерьма, – пояснил Володя.

– Виталий! Уточни! – строго сказал Шнейдеров. – А что у нас еще в том эпизоде?

– «Семейство диких кабанов пробирается через тростники», – прочитал я.

– Этого нам только не хватало! – сказал Китаев.

– Кабаны записаны в эпизоде номер семь, – заметил я.

– Плевать я хотел на эпизод номер семь! – закричал Китаев.

– То есть? – сурово переспросил Шнейдеров. – Мой сценарий – это официальный документ, и вы обязаны его воплощать! Виталий! Учись быть требовательным! – обратился ко мне Шнейдеров.

Даже в такой драматический момент он не забывал воспитывать практиканта. Руководители затем удалились на еще одно совещание – закрытое.

После совещания шеф обратился к нам с речью.

– Друзья! – сказал он. – Как вы знаете, нам предстоит большая и ответственная работа – съемки на стройках коммунизма! Каждый из нас должен занять свое место в строю. У нас в коллективе уже наметилась специализация: Гришин проявил себя на отлове пресмыкающихся, практикант Мельников неплохо поработал с типажом. Мы надеемся, что они успешно и самостоятельно завершат съемки эпизода номер семь. Этот скромный участок работы очень важен в контексте моего творческого замысла.

– Эпизод нужно отснять через неделю, а основная группа поедет на Сталинградскую ГЭС к шефам-гидро-строителям, – добавил Китаев.

Перед отъездом Китаев пытался, по возможности, урезать расходы на недоснятый эпизод. Семейство живых диких кабанов, например, он предложил оформить по цене свинины второй категории. После споров и наставлений «основной состав» быстренько отбыл.

– Небось, плывут на белом теплоходе! – вздыхал Гришин.

Какой-то человек с вороватым браконьерским взором – хороший Володин знакомый – привез на «Камбалу» очередной мешок с живым товаром.

– Вот вам утка-поганка! – сказал человек, – с вас магарыч!

– Товар стоящий! – заверил Володя.

В мешке что-то злобно шипело и дергалось.

– А дубль? – спросили мы.

– Дубля не будет, экземпляр единственный, – предупредил егеря.

Наученные горьким опытом, мы решили съемки проводить с возможной осторожностью и по этапам. Сперва мы чуть расширили отверстие в мешке, и перед нами явилась птичья голова с желтыми яростными глазами и острым изогнутым клювом. Похоже, птица никого не боялась – она, скорее, выбирала жертву. Двух биологинь мы попросили временно прикрыться и надеть белые халаты. Одна из них принялась мешок с поганкой взвешивать, а другая разглядывала ее через лупу. Это должно было изображать научную деятельность. Для полного впечатления мы написали на мешке длинное латинское название птицы.

Поганка вытянула шею и ловко выбила лупу из рук биологини. Момент был зафиксирован камерой. Таким образом, запасной вариант, можно считать, у нас уже был. Теперь следовало приступить к самому главному – снять, как птица будет «защищать родное гнездо», согласно творческому замыслу Шнейдерова. Решено было поганку привязать за ногу длинной бечевкой, а мешок развернуть в нужном направлении. Выпущенная из мешка поганка кинется в сторону камеры, оснащенной телеобъективом. Володя будет за бечевку удерживать птицу на нужном расстоянии, а Гришин снимать, и, таким образом, мы получим крупный план разъяренной героини. Судя по поведению поганки, ярость нам была обеспечена. Все приготовились, и я скомандовал «Камера!».

Однако поганка кинулась не к камере, а почему-то на Володю. Володя повернулся и вдруг побежал от нее, высоко подкидывая ноги. Гришин с камерой побежал догонять поганку, а я помчался за Гришиным с криком: «снимай до конца!». Огромный дядька в охотничьем снаряжении, убегающий от маленькой смелой птички – зрелище было поучительное! Я еще не знал, для чего мне оно, но почему-то чувствовал удовлетворение. Немужественное поведение егеря вскоре объяснилось. На Володе были совсем новые резиновые сапоги. Володя, оказывается, спасал их от острого клюва поганки.

Мы наснимали рассветов и закатов, всяких незапланированных красот, а главная наша проблема оставалась нерешенной. Не было у нас семейства кабанов! Каждый вечер за ужином мы горячо обсуждали создавшееся положение.

– Я, конечно, простая женщина и ничего в вашем деле не понимаю, – сказала однажды Шурка, – но кабаны эти проклятые бегают по ночам к совхозным свиньям и портят породу. Поросята в совхозе получают остромордые и

мохнатые. Если б не полоски, то от диких их не отличить.

– Так где же они? – одновременно воскликнули мы с Гришиным.

С раннего утра мы отправились в ближний поселок. Там располагался свиновхоз «Диктатура». Чья именно диктатура, не уточнялось. Просто местному начальству понравилось это революционное слово. В сложенном из самана свинарнике «Диктатуры» плавали по брюхо в воде и навозе чудовищные остроносые и мохнатые свиномутанты. Начальника в зеленой велюровой шляпе и таком же галстуке мы немедленно сняли крупным планом на пустую кассету и получили от него разрешение на дальнейшие съемки.

Тростник рос тут же, рядом со свинарником. По нашему указанию, свинью и трех поросят подогнали к зарослям. Начальник лично руководил операцией. Семейство «диких кабанов» нам понравилось, но нас смущало отсутствие отца семейства, т. е. дикого кабана. Нарисовать на поросятах полоски мы могли, но приделывать свинье кабаньи клыки не было никакой возможности. Решили пойти на компромисс и считать кабанье семейство «неполным».

– Так может быть в природе? – спросили мы у начальника.

– Еще как! – ответил он.

Осталось решить вопрос с полосками – вдоль их рисовать или поперек. Начальник никогда отмытых поросят в своем хозяйстве не видывал и затруднился ответить на наш вопрос. Тогда мы стали рассуждать логически. Для чего природа наделила диких поросят полосками? Ясно, что для маскировки и мимикрии. Тростники, в которых, по слухам, водятся кабаны, растут вертикально. Отсюда следует, что и у кабанят полоски должны быть поперечными!

– Как у тигров! – сказал Гришин.

– Вот именно! – поддакнул я.

Мы поставили камеру и приготовились. Начальник говорил своим свиньям ласковые, успокоительные слова, а свинарка, тем временем, спряталась в тростниках. По моему сигналу она закричала из зарослей: «Манька! Манька! Манька!» и свиноматка с поросятами кинулась к ней через тростники. Затрещала кинокамера. И вот вам нужный кадр: «семейство диких кабанов пробирается через тростники».

Мы послали Китаеву телеграмму: «Эпизод номер семь отснят» и считали это дело законченным. Но ошиблись. Оно получило сначала приятное, а потом угрожающее продолжение. Приехал «основной состав» и привез письменный отзыв о снятом материале. В отзыве было написано: «Отснятый материал соответствует утвержденному сценарию. В представленных кадрах убедительно показана жизнь колонии цапель и напряженная научная работа коллектива заповедника» (это, наверное, написано про биологиню с лупой). «Взволнуют зрителя и опасности, с которыми встречаются биологи, познавая дикую природу» (а вот это, наверняка, про поганку). «Необходимо отметить также эпизод из жизни диких кабанов. Научный консультант академик В. Н. Кирсанов просит срочно сообщить, при каких обстоятельствах удалось зафиксировать экземпляры диких поросят с редкой поперечной по-лосатостью. Желаю дальнейших творческих успехов. Главный редактор И. С. Хлебников».

Вечером был торжественный ужин по случаю съезда всей группы и наших творческих побед. Я тихонько спросил у Шурки, какими все-таки должны быть полоски.

– Ну, конечно, продольными – вдоль спинки! – сказала Шурка.

Теперь нужно, наверное, разъяснить, отчего полоски на поросятах вызвали такой интерес у академика и радостное оживление у «основного состава». В стране начиналась очередная кампания по «переосмыслению некоторых устаревших теорий». Копали, на этот раз, под старика Дарвина. Как известно, марксистская теория не только «всепобеждающая», но «всеобъемлющая и революционная», а Дарвин со своей эволюцией всегда путался у наших ученых под ногами. Теперь пришло время со стариком, наконец, разобраться. В прессе научной и ненаучной стали появляться сообщения о диковинных скачкообразных изменениях в живой природе. Обнаружили, например, что где-то в Прибалтике есть сосна, на которой вдруг выросла еловая шишка. Посыпались сообщения о шестиногих ослах, синих кроликах и других чудесах.

Чудеса эти наши ученые объясняли тем, что развитие в природе и обществе идет не эволюционно, а революционно. Накопятся в природе «революционные предпосылки» и – хоп! – происходит изменение – вдруг вырастает на сосне еловая шишка! Теория, которую в нас втемяшивал Эдуард Христофорович Степанян, стала теперь воистину «всеобъемлющей», легко объясняющей любые потрясения и чудеса. Академик Елизарова, например, скачкообразно обнаружила чудотворное действие содовых ванн, продлевающих человеческую жизнь до бесконечности. Наверное, наш стареющий вождь воспринял это открытие с особым удовольствием. Собственно, для него оно и было придумано. Каждый старался, как мог! Любое подтверждение «революционных изменений» могло обернуться докторской диссертацией, почетным званием или лауреатством.

Впрочем, одно сообщение меня огорчило. Товарищ Сталин не только содействовал процветанию наук – он по-прежнему следил и за кинематографом. В каком-то киножурнале он заметил, что передовые рыбаки вытягивают сеть, в которой рыба не трепыхается. Видимо, улов, утомленный длительным процессом киносъемки, подох, а оператор этого не заметил. Немедленно последовало постановление ЦК «О некоторых недобросовестных киноработниках». Газету с этим постановлением к нам привезли одновременно с хвалебным отзывом главного

редактора. Теперь оставалось гадать, отнесут ли нас с Гришиным к «недобросовестным работникам» или похвалят за «поперечную полосатость». Меня вдруг вызвали телеграммой в Москву. Прощаясь, Шнейдеров крепко пожал мне руку, а Китаев назвал меня Виталием Вячеславовичем. Про то, как возникла сенсационная полосатость, они, конечно, не знали.

Одним из смертных грехов, присущих молодым кинематографистам Эйзенштейн считал безмерное самомнение. Оказывается, меня вызвали в Москву не для того, чтобы покарать или возвысить, а только для того, чтобы отправить в военные лагеря на переподготовку. Я вернулся из лагерей младшим лейтенантом, но без всякой перспективы на будущее. Пока я отработывал приемы «длинным коли!» и «коротким коли!», классиков Шнейдерова и Фогельмана уволили с «Детфильма» и отправили на вновь созданную студию «Моснаучфильм». Волжские замыслы Шнейдерова, конечно, тоже законсервировали. Будучи прикрепленным к Шнейдерову, я автоматически оказался на «Моснаучфильме», и теперь мне следовало самостоятельно искать какой-то материал для дипломной работы.

В период тотального бескартинья снять на пленку дипломную работу было практически невозможно. Дело обычно ограничивалось тем, что дипломант рисовал кадрики-картинки и писал экспликацию, в которой на бумаге излагал, каким замечательным будет его дипломный фильм. Дипломант Глеб Нифонтов, например, поставил самодеятельный спектакль в одном заводском клубе. Он попросил считать спектакль его дипломной работой, «созданной в содружестве с рабочим классом». Ход был безотказный! После некоторой заминки и консультаций в ЦК, диплом ему все-таки утвердили. Моим однокурсникам Басову и Корчагину удалось устроиться на практику к прощенному Юткевичу. Диплом им пришлось защищать так: на экране демонстрировали черновой материал фильма Юткевича «Пржевальский», а Басов и Корчагин кричали из темноты: «Снято с участием Басова!» или «Здесь репетировал Корчагин!». Больше ничего сказать они не успевали.

Потом настал и мой черед. Не без интриг и рекомендаций Шнейдерова, мне предложили снять несколько маленьких новелл в только что созданном киноальманахе «Новости сельского хозяйства». Новеллы были пятиминутные и давали возможность внятно, развернуто рассказать о каком-либо событии или человеке. Это мог быть и фельетон, разыгранный артистами, и документальный очерк и лирическое эссе. Условие было одно – сельская тематика.

Ознакомившись с газетными сообщениями, заявками и «письмами трудящихся», я поехал в Подмоскowie на машиноиспытательную станцию. Здесь проверяли в деле первые, авторские экземпляры всяких механизмов, способствующих осушению болот. На испытательном болоте застыли гусеничные мастодонты, шагающие землечерпалки и одно сооружение, схожее с колесом обозрения. Только вместо привычных кабин, на нем были ковши для вычерпывания болотной жижи. В болоте ржавело множество подобных механизмов, порожденных неистовым человеческим воображением. У всех изобретений был один недостаток – они не умели передвигаться по болоту. Некоторых монстров удалось вытянуть на твердь, и я снял их в деле. Они тяжело шагали, стонали, скрипели и размахивали вхолостую чудовищными антиболотными приспособлениями. Все это я тщательно отснял и смонтировал под легкомысленную музыку. Это был апофеоз человеческой глупости. Так я понимал свое произведение, но на студии оно почему-то понравилось. Мне предложили работать и дальше.

Следующая новеллка была про сельский клуб. Даже и не про клуб, а про некий кинорадиокомбайн, который смастерил деревенский энтузиаст Семен Михайлович Новиков. Его изобретение следовало «пропагандировать», а по-современному говоря, – рекламировать. Суть в том, что киномеханик Новиков соединил с кинопроектором еще и передатчик для деревенского вещания, радиолу для клубных танцев и микрофонное устройство для самодеятельных концертов и выступлений начальства на собраниях. Больше всего мне у Семена Михалыча понравился рабочий пульт.

На пульте были кнопки с обозначениями. На первой было написано слово «раскачка». Нажав на эту кнопку, Новиков включал зазывную музыку перед клубом. От второй кнопки со словом «кино» включался проектор. Третья кнопка – «передышка» – означала, что сеанс окончен и пора переходить к местным объявлениям, пока старики расходятся, а молодежь готовится к танцам. А далее, под следующей кнопкой, красными буквами было выведено: «танцы до упаду». Важной и ответственной была также кнопка «Урылов». С помощью этой кнопки предколхоза Урылов делал радиоразносы лентяям и пьяницам. Последней, но не менее важной, была кнопка с коротким словом «жена». Нажав на эту кнопку, Новиков сообщал на всю деревню, что он отправляется обедать, и отдавал другие неотложные домашние распоряжения. В моей интерпретации получалось, что изобретатель стал всевластным хозяином местной жизни. Нажмет он на кнопку – и все поспешно бегут в кино. Нажмет на другую – и все танцуют и т. д. Получилось очень весело.

Я защищал диплом этими двумя новеллами. Как и все прочие дипломанты, я получил «пятерку». «Старик Довженко нас заметил» и подписал диплом.

В съемочной группе «Сельского клуба» работал ассистентом оператора человек по фамилии Кривицкий. Я как-то обратил на него внимание в студийном буфете. Он постоянно носил с собой потрепанную сумку от противогАЗа, а в сумке лежала порожняя консервная банка из-под американской свиной тушенки. Остатки обеда Кривицкий

аккуратно складывал в эту банку, а кусочки хлеба бережно заворачивал в газету и клал в отделение сумки, предназначенное для противогазной маски. Движения у него были привычно-последовательными – процедура неизменно завершалась протираанием и укладыванием солдатской алюминиевой ложки. И позже, на съемках, наши общие трапезы заканчивались тем же обрядом.

Кривицкий жил до войны в Ленинграде и служил фигурантом в Мариинке. Он потерял в блокаду всех близких, а сам остался, как он говорил, «ни жив ни мертв». Что-то с ним случилось непоправимое, и он это сознавал. Потому и уехал в надежде на какую-то другую жизнь. Он казался совершенно нормальным человеком. Вспоминать о блокаде не любил, а если вспоминал, то с юмором. Однако... однако к нему постоянно возвращалось неистребимое желание протереть начисто ложку и припрятать кусочек хлеба. В нем по-прежнему жило его второе блокадное «я». Глядя на него, я часто спрашивал себя, как можно было выжить в этом аду, и вообще, что это за город такой и какие в нем люди? Я и не предполагал тогда, что жизнь соединит меня с этим городом и с этими людьми навсегда.

Орден Ленина имени Ленина

На Малом Гнездиновском, в Министерстве кинематографии, мне вручили направление в Ленинград, на студию научно-популярных фильмов. Замминистра (это был, кажется, Баскаков) поздравил меня с назначением.

– Но я же только диплом неигровой снимал, а хочу я в игровое, в художественное хочу! – объяснял я.

– А где теперь оно – это твое «художественное»? – спросил Баскаков. – Бери бумагу и скажи спасибо.

Я сказал «спасибо» и пошел с бумагой по узким коридорам и комнаткам. В одной конуре меня вписали в толстую регистрационную книгу, в другой велели получить подъемные.

– Какую мебель и сколько мест багажа вы будете перевозить в Ленинград? – спросила дама-чиновница.

– Нисколько, – ответил я.

– Совсем нисколько? – переспросила дама.

– Совсем, – подтвердил я.

– Вы можете также перевезти багаж близких родственников, – посоветовала она.

Тогда пришлось объяснить, что из багажа у матери имеется только швейная машинка и портрет товарища Молотова.

– Жаль, – посоветовала чиновница, – на перевозку багажа вам полагаются приличные деньги.

Вместе с ней мы стали придумывать мебель и багаж, которые мне якобы нужно перевозить в Ленинград. Я сказал, что неплохо бы мне иметь стол, стул и кровать.

– Вы же режиссер – напрягите фантазию! – сказала дама.

По ее совету, мы внесли в список еще письменный стол и буфет. Потом дама добавила диван и два кресла.

– Вы же молодой человек, – пояснила она, – к вам будут приходить гости – приятели и приятельницы. Необходим чайный сервиз! Пока на шесть персон!

И она принялась изобретательно раздувать мои запросы. Когда она добавила платяной шкаф и увеличила сервиз до двенадцати персон, я спросил, дадут ли мне жилье?

– Вот с этим в Ленинграде плохо, – вздохнула советчица, – война, блокада – сами понимаете! А список я вам подпишу. С паршивой овцы – хоть шерсти клок.

Кого моя благодетельница считала паршивой овцой, было непонятно.

Потом я приехал в Питер. Была середина мая, светило солнце, но прямые питерские улицы продувал холодный ветер. Дома стояли облупленные, не отремонтированные еще с революционных и блокадных времен. По углам расставлены были синие пивные ларьки и прохаживались строгие милиционеры. Развеселило меня метро. Оно называлось: «Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени Ленина». Во дворах громоздились поленицы дров. Ленинградцы не спешили переходить на центральное отопление и ломать печи. Этому их научила блокада. Из темных подъездов пахло треской и щами из «хряпы» – зеленого капустного листа, который подбирали жители после уборочных кампаний. Это был главный запах в Питере пятидесятых. Много попадалось болезненно полных людей – сказывались последствия блокадной дистрофии. Я невольно вспомнил ассистента Кривицкого с его противогазной сумкой. Блокадная Хиросима жестоко поразила город и людей. Они долго еще будут восстанавливаться и оживать.

Студия «Леннаучфильм» размещалась за Невской лаврой в здании бывшего Общества трезвости. Стены Общества трезвости никак на обитателей студии не повлияли – посиделки в буфете и служебных закутках были неизменной традицией. За рюмкой водки студийцы рассказывали каждый свое но всегда – о блокаде. Студия была в то время сборным пунктом и своеобразным штабом фронтовых операторов. Сюда они приезжали с фронта отсыпаться и перезарядиться, здесь получали новые задания. Меня познакомили со старожилами. Фамилии у кинематографистов-блокадников были такие: Голод, Замора, Умрихин и Гробер, а представил своих товарищей оператор по фамилии Могилевский. Ничего себе!

Жилья, конечно, мне не дали и даже не пообещали. Пока что, меня передавали с рук на руки знакомые еще по ВГИКу ленинградцы и новые сердобольные коллеги. Если бы я вдруг стал знаменитым и в Питере установили памятные таблички на домах, где я ночевал, снимал койки и углы, то по количеству мемориалов я затмил бы даже Владимира Ильича. На студии работали, в основном, уволенные по бескартинью ленфильмовцы. А вот уже упоминавшийся Голод пострадал из-за фамилии. Однажды, отчитываясь о проделанной работе, он должен был из экспедиции сообщить, что работы в Совете министров некоей республики окончены, но здешняя милиция помощи не оказывает. На «Ленфильм» пришла такая телеграмма: «Совет министров снят. Милиция ненадежна. Голод». Даже когда он присылал вполне оптимистические телеграммы, получался скандал. Из Одессы он сообщил следующее: «Прибыл Одессу. Все в порядке. Голод». Страдалец был переведен на «Леннаучфильм» «без права служебной подписи».

В числе изгнанных оказался и оператор фильма «Чапаев» Александр Иванович Сигаев и многие другие. Мне показали недавно выпущенного из психушки классика советского кино режиссера Петрова-Бытова. Весь мир его знал по знаменитому фильму «Каин и Артем». Студийцы доверительно рассказывали, что однажды Петров-Бытов появился на людной трамвайной остановке и обратился к народу с речью. Он заявил, что мы живем при деспотическом режиме, а Сталин – кровавый диктатор. Слышать такое было необычно и страшно. Люди попрыгали в трамвай, а к Петрову тут же подъехала «скорая». Нормальный человек сказать такое, конечно, не мог, поэтому его не судили, даже не допрашивали, а просто надели на него смирительную рубашку. Большой вел себя спокойно, психушка была переполнена, и вот теперь громадный, горластый Петров-Бытов как ни в чем не бывало расхаживал по студийному вестибюлю. Ему дали и работу – учебный фильм: «Профилактика болезней сельскохозяйственных». В редакции работали приличные люди: Саша Лившиц (будущий Александр Володин), брат поэта Мандельштама Евгений Эмильевич Мандельштам и моя однокурсница Фрижа Гукасян.

Фрижин муж, оператор Генрих Маранджян, был вроде бы направлен на «Ленфильм», но в последний момент, в связи с бескартиньем, вызов отменили, а Генриха отправили в армию, в Сибирь. Он занимался там аэрофотосъемками и регулярно писал письма товарищу Сталину. «Дорогой товарищ Сталин! – сообщал вождю муж Фрижи. – Государство в меня вложило много денег, а я нажимаю в самолете на какую-то кнопку. К тому же распадается молодая семья. Прошу восстановить справедливость и снова сделать меня оператором на «Ленфильме». Он отправлял письма аккуратно, раз в неделю. Дружеская, но односторонняя переписка с вождем продолжалась до самой его кончины. Возможно, Генрих как раз и довел Сталина своими письмами до инсульта. Позже Маранджян стал известным кинооператором, но в описываемое время Фрижа, как верная жена декабриста, ждала вестей из Сибири.

Мне переслали из Москвы сценарий. Это было как бы продолжение моего дипломного сюжета про болотные машины. Так временно смягчилась квартирная проблема – я уехал в командировку в Прибалтику и жил в гостиницах.

Прежде я часто встречался с латышами в наших ссыльных краях, а теперь увидел их, так сказать, в родной среде. Симпатий к русским у них не прибавилось. В газетах писали о социалистической Латвии, выполнениях, перевыполнениях и дружбе, а на самом деле, здесь шла тайная всенародная война. В больших городах это было не очень заметно, а в хуторах и маленьких городишках, вроде Цессиса, этого даже не скрывали. Наш водитель Арвид Степанов (он был из русско-латышской семьи) отвез нас на маленькую машиноиспытательную станцию. Здесь мы поселились и снимали. Хуторяне-латыши нас просто не замечали. Когда мы заходили в здешний клуб посмотреть кино, вокруг нас возникало пустое пространство.

Посредниками между нами и местными жителями были Арвид и начальник испытательной станции. Это был уже пожилой человек, окончивший когда-то Петербургский университет и хорошо говоривший по-русски. Он заходил к нам иногда по вечерам. Начальник, Арнольд Янович, был вдовцом и жил неподалеку с дочкой – семнадцатилетней девушкой редкой красоты. Недавно, по вине отца, она лишилась ноги. Ее покалечил плуг, а трактором управлял сам отец. Начальник расспрашивал нас о Ленинграде, который называл Петербургом. Он интересовался, насколько изменился город, и перечислял места, которых давно уже не было. Потом Арнольд стал приходить чаще – по мере того, как у него накапливались вопросы. Начинать он без предупреждения.

– А почему вы не продаете крестьянам трактора? – вдруг спрашивал Арнольд. – Все у вас разваливается, потому что все чужое и никому ничего не жаль.

Мы ссылались на послевоенные трудности. Арнольд вежливо раскланивался и уходил. Но через день все начиналось сначала.

– А почему вы всегда врете? И до революции врал – я помню. И после революции врете. У нас над вами смеются. И в Европе смеются – я слышал по радио.

– По нашему радио? – спрашивал я.

– Ваше я не слушаю – оно врет.

В следующий раз он пришел уже с дочкой. Она поставила на стол глиняную миску с какой-то латышской закуской

и молча уселась в темном уголке, стесняясь своей хромоты и скрипа протеза.

Арнольд выставил бутылку.

– Я хочу с вами немного выпить и немного поговорить, – сказал Арнольд.

Мы выпили.

– Я учился в Петербурге и знаю историю. Вашу историю и нашу историю, – издали начал Арнольд, – почему вы не послушались Екатерины Великой? Она запретила вам строить деревянные избы. Велела строить каменные дома. Ваша деревянная история сгорела и сгнила. Теперь вы про нее ничего не знаете.

Потом Арнольд чокнулся, выпил и помолчал. Дочь с интересом ждала от нас ответов, но мы обычно уваливали и отшучивались.

– После Октября вы обещали нас отпустить, а потом опять забрали. Это нечестно, – с новой силой на нас латыш.

– Чего он к нам пристал? – возмутился оператор Леша Ерин.

А я представлял себе, как вдовец Арнольд вечерами обихаживает дочку – помогает ей перед сном снять протез, обмыть культю. Потом они лежат без сна в своих комнатах. Дочка думает о покалеченной жизни, а вдовец Арнольд о своей Латвии. Поздно ночью явился к нам водитель Арвид. Он был озабочен и предупредил нас, что утром, пораньше, он подгонит машину.

– Уезжайте, ребята, – сказал Арвид, – наши парни хотят вас побить, а вашу аппаратуру поломать.

– За что? – удивились мы.

– За достижения, – пояснил Арвид, – наши парни думают, что вы приехали снимать про достижения. Они видели киножурнал, а там все вранье.

– Мы не снимаем киножурналов, – сказал я.

– Уезжайте, ребята, – повторил Арвид, – они все равно не поймут.

По счастью, все необходимое мы уже отсняли. Утром наша полупортка уезжала из хутора. Жители занимались обычными сельскими делами. Никто даже не обернулся в нашу сторону.

Когда я вернулся в Ленинград, меня ждала комната в самом центре – на углу Фонтанки и Невского. Мне ее временно уступил режиссер Владимир Николаи. Жить мне предстояло в квартире, когда-то принадлежавшей известной актрисе Савиной. Квартира была огромная с длинными коридорами и большим холлом, в котором теперь хранились дрова – квартира была, конечно, коммунальная. Из окна открывался вид на Аничков мост. Комнату опоясывала длинная лента-гравюра. Текст с твердыми знаками и «ятами» извещал, что это «Панорама города Константинополя». Меня окружала белая с золотом ампириная мебель. В углу громоздились кожаные вольтеровские кресла. Позже выяснилось, что под каждой пупочкой каждого кресла постоянно живет по клопу. Они кидаются на посетителей даже при свете дня. Послевоенное клопное нашествие перекинулось и на Ленинград. Только здесь клопы были еще злее, потому что пережили блокаду.

На нашей студии, в отличие от «Ленфильма», было много работы. Преобладала «заказуха». Различные министерства заказывали фильмы по собственной надобности и на свой вкус. «Санпросвет» заказывал фильмы-плакаты, Минобороны делало особо секретные произведения о маневрах и взрывах. В такие дни у просмотрных залов и монтажных стояли и что-то охраняли автоматчики. Некоторые богатые ведомства заказывали и полнометражные игровые фильмы. Особой гордостью режиссера Анци-Половского, например, был довоенный фильм «Если завтра война». Анци-Половский до сей поры считался «ведущим» режиссером студии, но фильмов его, кроме секретных – заказных, никто никогда не видел. Рассказывали, что для того, чтобы на съемках его слушались солдаты и офицеры, Анци-Половский пришивал к своим штанам генеральские лампасы. Его фильм «Если завтра война» я хорошо запомнил. Под песню из этого фильма я, будучи второклашкой, маршировал еще в Благовещенске.

В вестибюле «Леннаучфильма», как на вокзале, постоянно сидели в ожидании безработные сотрудники. Если появлялся заказ, тут же формировались съемочные группы. Рядом со мной, среди ожидающих, часто сживал и фронтальной оператор Борис Дементьев. Он провоял с камерой в руках всю блокаду, а потом наступал до Берлина. Первые кадры в разрушенной рейхсканцелярии и мертвое семейство Геббельса снял именно он, Борис Дементьев.

– Из-за этого типа, – указал Борис на Анци-Половского, – мы чуть войну не проиграли!

– Как так? – удивился я.

Фильм «Если завтра война» был снят с включением документальных кадров, с массовыми авиадесантами и грандиозными танковыми атаками. Это были кадры знаменитых киевских маневров. Победная музыка и диктор обещали скорый разгром любого врага. Фильм гипнотизировал наивных предвоенных зрителей браво красотой победоносной прогулки по «территории врага». А на деле, как известно, все получилось иначе.

– Это вот он обманул нас перед войной! – тыкал пальцем в Анци-Половского подвыпивший Дементьев.

А «ведущий режиссер», как ни в чем не бывало, прогуливался тут же, по вестибюлю студии, с очередными полковниками. Наверное, обсуждал с ними проект нового кинопроизведения. Это было очень наглядно и смешно.

Меня вызвал директор студии и предложил снять киноплакат на гриппозную тему. В плакате положительный, но

несознательный герой, вместо того чтобы обратиться к врачу, заражает гриппом окружающих. Сценарий написал врач из «Санпросвета», а редактировал Евгений Эмильевич Мандельштам. Он был хоть и Мандельштам, но, отнюдь, не поэт и не сценарист, а тоже врач. В кинопроцессе участвовал еще и художественный совет. Он заседал в Москве, где-то на Чистых прудах, и, конечно, состоял из эстетически продвинутых врачей. Все было, как настоящее. Даже обсуждались те же «проклятые вопросы», которые уже довели до ручки большое игровое кино.

– Мы должны придерживаться, – говорили врачи, – традиций соцреализма, чтобы в наших плакатах отражалась только борьба хорошего с лучшим. Никаких летальных исходов! Только мягкие намеки на возможные осложнения! У больных должны быть приятные лица, а в фонограмме – бодряя музыка!

– Но ведь зрителей нужно насторожить, даже слегка напугать, – возражал я.

– Только борьбой хорошего с лучшим! – твердили врачи.

Теперь я ехал в Москву с готовой картиной. Я еще тогда не знал о странных закономерностях, связанных с моими смертоносными наездами в столицу. На платформе меня встретила траурная музыка. Это было пятого марта пятьдесят третьего года. Скончался вождь народов, великий Сталин. У прохожих были застывшие лица, многие не скрывали слез. Я поехал в Зачатьевку, к испанцам, бросил у них коробки с пленкой, и мы, все вместе, отправились во ВГИК. В этот день хотелось быть на людях. У ВГИКа уже толпились студенты. Все рвались куда-то ехать – к Кремлю или к Колонному залу. Ведь именно там, по общему мнению, будут происходить какие-то траурные церемонии.

По Ярославскому шоссе в сторону центра уже двигались отдельные группы москвичей с наспех убранными крепом портретами Сталина. От Рижского вокзала и по Мещанской люди шли уже сплошной молчаливой массой. Возле Сретенских ворот потоки сливались и поворачивали вниз, к Трубной площади. Спуск был крутой и скользкий, а толпа все напирала. Когда людская масса почему-либо останавливалась, она сплющивалась в неразделимое целое. Освободиться было невозможно. Кто-то охал и возмущался, а кто-то даже смеялся, еще не осознав происходящего. В народе просыпался инстинкт российских очередей – люди работали локтями и громко ругались. О скорбной причине народного шествия напоминали теперь только шесты с портретами, которые раскачивались над головами. Когда людской поток вдруг приходил в движение, случалось самое страшное: если человек спотыкался или падал, он не успевал подняться и сразу же пропадал где-то внизу. Но никто этого словно не замечал – толпа обезумела. Отдельные крики и стоны слились в протяжный, однообразный вой.

В какой-то момент я почувствовал под ногами что-то мягкое и живое. Я попытался не наступить на это мягкое и подогнул колени повыше. Меня стиснуло и выдавило куда-то вверх. На мгновение открылся окутанный паром бульвар и многоголовый человеческий муравейник. Он упирался и бился об стену из грузовиков, которыми бульвар был перегорожен. Это была безнадежная, смертельная ловушка. Сдерживаемый кордоном людской поток как бы завихрялся и на глазах преображался в чудовищную воронку из живых извивающихся тел. Центробежная сила кинула меня в сторону, и я уцепился за чугунный столбик какого-то навеса. Рядом была заколоченная досками дверь. Меня прижало к этой двери, расплюснуло, в глазах потемнело. Я понимал только одно – падать нельзя!

Под напором толпы дверь затрещала и распахнулась. Того, что я увидел, я не забуду никогда: мы ввалились в помещение, где хозяева видимо, завтракали. Теснимая с улицы толпа мгновенно заполнила комнату, опрокинула стол и прижала хозяев к стене. Так мы и стояли лицом к лицу – окаменевшие хозяева с тарелками в руках и незваные гости. Мы попали, оказывается, в дворницкую, а вход с улицы был заколочен по нашему советскому обычаю. Из дворницкой мы проникли во двор и разбрелись по крышам и проходным дворам, подальше от «трупной площади» – так долго еще называли Трубную площадь после мартовских дней.

В Зачатьевке, потрясенные увиденным, мы обсуждали события. Траурная музыка из репродуктора время от времени прерывалась короткими правительственными сообщениями. О событиях на Трубной не говорилось ни слова. Мы узнали, что прощание народа с вождем будет происходить на следующий день, в Колонном зале. Опыт прошедшего дня нас ничему не научил. Каждый считал своим долгом обязательно побывать у гроба.

На улице Горького нас с Карлосом сразу же схватили и потащили в фильтрационный пункт, организованный в театре Ермоловой. В зрительном зале театра уже томились сотни задержанных и неизвестно в чем заподозренных прохожих. С нами-то все было понятно: вызвал подозрение чудовищный акцент Карлоса. «Чего они боятся? – удивлялись мы. – Покушений? Но вождь-то уже помер!»

Строгий полковник долго разглядывал мое студийное удостоверение и студенческий билет Карлоса. Дальше произошло непредсказуемое. Полковник вручил нам пропуски на вход в Колонный зал. Он решил, что мы имеем отношение к кинохронике. Слово «кинематограф» сбilo его с толку. Мы решили сначала добраться до приятелей-грузин. Чхеидзе и Абуладзе тоже были в Москве и обитали в общежитии грузинского постпредства. Отсюда мы собирались двигаться к Дому Союзов уже вместе. Улицу Разина, где было общежитие, перегораживала конная милиция, но пропуск оказал свое действие. Практически, мы уже были рядом с Красной площадью.

Общежитие размещалось под самой крышей какого-то гостиного двора с узкими лестницами и переходами. В комнатах-кельях рыдали грузинские студентки, расхаживали из угла в угол мрачные грузины в черном. Их скорбь

выглядела как семейное горе. Мы рассказали Чхеидзе о пропусках в Колонный зал, но он только махнул рукой. Квартал, непосредственно примыкающий к Красной площади, был уже блокирован полностью – ни войти, ни выйти.

Мы с Карлосом остались у грузин на неопределенное время. Среди них прошел слух, что похороны будут через день. Дата и время не указывались ни в газетах, ни по радио, но вечером к Резо приходил комендант общежития и они о чем-то шептались. Наутро нас разбудил Чхеидзе, мы быстро собрались и долго шли чердачными переходами. Впереди с фонариком шел комендант. Один за другим мы пролезли в слуховое окошко и оказались на крыше. За соседним скатом, под нами, видна была Красная площадь. Мы ожидали увидеть здесь несметное скопление людей, но людей не было. Площадь была завалена венками и цветами от Исторического музея до Василия Блаженного.

На мавзолее уже были готовы две свежие надписи: «Ленин» и «Сталин». Перед мавзолеем стоял орудийный лафет с гробом и небольшая кучка людей. Другие фигурки поднимались на трибуну мавзолея. Потом до нас донеслись слова прощальной речи. Мы не слышали и не знали, кто говорил. Только потом мы узнали, что это был Берия. С площади понеслись звуки «Интернационала». Мы стояли на крыше и плакали. Нам казалось, что рушится мир! Плакал Резо, у которого Сталиным были репрессированы близкие, плакал я, у которого вождь расстрелял отца и деда. Плакал всегда сдержанный Тенгиз Абуладзе. Пройдет несколько лет и он, Абуладзе, снимет первый антисталинский фильм «Покаяние». Вот такими мы были, и из этой песни слова не выкинешь!

Без кормчего

К нашему удивлению, мир не обрушился и началась жизнь без «отца и учителя». «Может быть, меня и в Испанию отпустят?» – предположил Карлос. Но до этого было ох как далеко. Непривычные к самостоятельности соратники вождя грызлись между собой и металась в растерянности. Следствием стала неожиданная хрущевская «оттепель», которая тут же и заморозилась. Преемники-исполнители, лишённые дара стратегического мышления, постоянно хватались за мелочи и жили от компании до компании. «А что, ежели учредить «совнархозы», как при Ленине? – гадали они. – А что, ежели засеять страну кукурузой, как в штате Айова?»

Незадачливые руководители «спускали» указания, а внизу их так же бездумно «претворяли в жизнь». Мне поручено было создать полотно под названием: «Кукурузу – на Северо-Запад!». Только теперь я понял грустное пожелание Ромма: «Вам нужно научиться служить!» Цветной полнометражный фильм должен был убедить крестьян, что теплолюбивая кукуруза, если очень постараться, вырастет и в наших краях. Старательные уполномоченные из райкомов приказали отдать под кукурузу лучшие земли, но кукуруза здесь расти не пожелала. Колхозы попали в тяжелое положение. Крестьяне роптали, уполномоченные старались – развернулась трагикомическая кукурузная эпопея.

Меня торопили со сроками съемок, но есть агрономические сроки роста кукурузы, и через них не перепрыгнуть. Тогда велено было перенести съемки южнее. То есть совершенно официально предложено было врать. Конечно, съемки пошли веселее, да только причем здесь Северо-Запад! Киношная, показательная кукуруза росла и крепла так: сеяли мы честно – под Ленинградом. Прополку уже пришлось снимать где-то под Орлом. Уборку зеленой массы снимали под Киевом. А кукурузоуборочный комбайн и горы початков мы красиво зафиксировали в степи под*сensored*соном. Еще немного, и мы добрались бы до Черного моря и субтропиков. Получилось настолько беспардонное вранье, что нужно было хоть что-то придумать – хотя бы для самоуспокоения. Я решил в заключительных титрах фильма поблагодарить южно-русские и украинские колхозы за помощь и содействие в съемках. Поскольку конкретные места съемок будут названы, совесть моя будет чиста.

Так думал я, но иначе думало начальство. Картину показали в просмотровом зале Смольного. Оказывается, существовал свой порядок на этих просмотрах. Большие начальники – члены бюро обкома и секретари сидели на возвышении, отделенные специальным барьером. Внизу, в общем зале, находились многочисленные инструкторы – специалисты по отраслям и отделам. По ходу просмотра узкие специалисты осторожно подавали реплики, наводя на размышления выше сидящих товарищей. Так постепенно складывалось коллективное мнение. В конце просмотра его обычно формулировал главный начальник. Но до резюме дело, на этот раз, не дошло. В зале поднялась какая-то женщина со звездой на груди.

– Господи! – громко запрочитала женщина. – Почему вон там все растет, – зрительница ткнула пальцем в экран, – а у нас не получается?

– Стараться надо! – ответили из-за барьера. – Поднимать агрокультуру!

Женщина, громко сморкаясь и вытирая слезы, пошла из зала.

– Кто такая? – спросили из-за барьера.

– Федорова. Героиня социалистического труда! – доложил инструктор.

– А кто здесь из киностудии?

– Режиссер Мельников! – указал на меня другой инструктор.

– Вы, товарищ Мельников, про Украину-то отрежьте – это лишнее, а остальное все оставьте. Очень убедительно показано. До слез! – добавила какая-то руководящая дама.

Не успела страна опомниться от кукурузной кампании, как неутомимые руководители придумали движение тридцатитысячников. Про двадцатитысячников было известно еще в годы коллективизации. Сознательные рабочие, по зову партии, ехали тогда в деревню укреплять колхозы. Помните шолоховского Давыдова в «Поднятой целине»? Так вот, Давыдов был двадцатитысячник. А теперь, годы спустя, вдруг было решено освежить старый эксперимент и добавить в село еще тридцать тысяч преданных борцов. Ничего хорошего от этого эксперимента ждать не приходилось. Но судьба моя была предрешена – после «Кукурузы» меня записали в аграрники и велели снять фильм о тридцатитысячниках. Отказываться было бесполезно. Я отправился по нашей обширной родине – искать героев. Дело это оказалось не простым. Прежде всего, выяснилось, что новый почин воспринимался здешними начальниками как повод для того, чтобы избавиться от неугодных подчиненных, отправить их в глубинку. Были, конечно, и идейные, которые рвались самостоятельно хозяйствовать и не боялись экспериментов. Но именно таких, как раз, и не рекомендовали местные кадровики. Дело зашло в тупик.

Я поехал в Москву, в Министерство сельского хозяйства.

– Как? – удивились там. – Вы не выбрали героя из тридцати тысяч наших посланцев? Посоветуйтесь в нашем киноотделе. Этот отдел заказывал фильмы и сценарии, придумывал темы. В нем хранилась информация о тружениках села, достойных прославления и подражания.

– Нашли мы для вас тридцатитысячника, – порадовали меня, наконец, в отделе. – Это москвич. Руководил серьезным учреждением, но, по зову партии, поехал в деревню поднимать сельское хозяйство. Успехи поразительные: поднялись удои молока, увеличился привес и поголовье скота, радикально решена проблема кормов. Новый председатель сразу же завоевал доверие и уважение колхозников. Повсеместно укрепилась дисциплина. Это же будущий герой соцтруда! С гарантией! – расхваливали героя в киноотделе.

– Где же такое происходит? – спросил я.

– В Подмосковье, – сказал один.

– В ближнем Подмосковье, – уточнил другой.

Подмосковье действительно оказалось ближним, даже совсем ближним, потому что ехать туда нужно было на троллейбусе, до Серебряного Бора. На конечной остановке я спросил, где тут деревня Троице-Лыково? Мне показали. Деревня виднелась на высоком берегу Москвы-реки. От пляжа в Серебряном Бору до деревни ходил речной паром. Левее деревни к самой воде спускался глухой зеленый забор.

– А это что? – спросил я парня, лениво разлегшегося на бережку.

– Строение, – ответил парень.

– А какое строение? – спросил я.

– Документы ваши предъявите, – среагировал он.

Я показал документы, и парень объяснил мне, что здесь расположены государственные дачи.

– Чтобы здесь снимать кино, потребуется специальный допуск, – предупредил он и представился.

Фамилии я не запомнил, но по званию он был капитан. Потом я часто встречал этих капитанов, бездельно сидящих на бережку напротив зеленого забора. Пока паром тянулся через Москву-реку, тетки с корзинами и бидонами раскрыли мне все секреты расположенного передо мною объекта.

– Вон тот забор, что справа, – объяснили они, – это дача товарища Молотова, а подальше и левее – Кагановича. Там еще олень ходит за кустами. Видите?

Я спросил, взаправду ли там олень? Тетки хором подтвердили, что олень натуральный, живой. Кто-то из деревенских сам видел, как оленя привозили на грузовике. Мне тут же подробно рассказали, в какое время гуляет Молотов, в какое Каганович, и когда они гуляют по бережку вдвоем.

– Они и к нам на хоздвор приходили, – добавила тетка-перевозчица.

– На хоздвор? – поразился я.

– Точно! – подтвердили бабы. – И к свинарнику подошли, и к коровнику! Были они задумавшись. Потом Каганович сказал Молотову, что колхоз надо поднимать.

– С тех пор все и началось, – сказала перевозчица.

– Что началось? – спросил я.

– Приехал Паншук Иван Васильевич! Деловой мужик! – наперебой рассказывали попутчицы. – Погнал казенными машинами объедки в свинарник. Ежедневно! В страду привозит зеков! Молодых, здоровых! Им работа на свежем воздухе только в радость!

– Каких зеков? – не поверил я.

– Так ведь Иван же Васильич – начальник Бутырской тюрьмы! Из Бутырки он!

Я зашел в контору представиться председателю. Меня встретил плотный мужчина полковничьего облика. Он сразу все понял, вызвал помощника, по виду шофера-порученца. Полковник стал спрашивать, а помощник

записывать, что мне нужно для съемок, когда и сколько человек приедет и прочее необходимое. Так я встретил первого толкового тридцатитысячника, но и тот оказался начальником тюрьмы.

– Чтобы поднимать так сельское хозяйство, – сказал я председателю, – потребуется много таких начальников и много тюрем.

Паншук не обиделся, а рассмеялся.

– Мне пора на пенсию, – пояснил он, – и квартиру в городе пообещали.

– Говорят, – обнаглел я, – что при вас в колхозе сразу поднялась трудовая дисциплина?

– А вот и нет, – возразил Паншук, – совсем разболтались – только на мой контингент и надеются!

Уровень вранья в сельскохозяйственной сфере был значительно выше нормы. Хрущев считал себя специалистом в этой области и постоянно ждал «сдвигов». «Сдвиги» ему и подавали – ввали вдохновенно и безбоязненно. По наводке краснодарского начальства, в поисках очередного тридцатитысячника меня занесло под Адлер, в одно «передовое хозяйство». Увидев «хозяйство», я сразу же сбежал, не знакомясь с «хозяином». Роскошный белоснежный коровник стоял на берегу моря. У въезда в арочные ворота покачивались стройные пальмы. Это хозяйство воспитывало молочных телят для нужд правительственного санатория. Тридцатитысячник здесь был в генеральском звании. А в бумагах, как и про Паншука, было написано о «быстром росте», «дисциплине» и прочем, без упоминания некоторых особенностей «хозяйства». Недаром, со знанием дела, Ленин говорил: «Формально, все правильно, а по существу – издевательство».

Пока в Троице-Лыкове мы снимали очерк о Паншукке, рядом, за зеленым забором, произошли исторические события. Молотов, Каганович и «примкнувший к ним Шепилов» были объявлены антипартийной группой. Лыковские колхозники огорчились. «В кои-то веки нам повезло, – роптал народ, – появились приличные соседи, поднять нас обещали и вдруг такое! Хоть бы Паншук наш уцелел!» Но Паншука никто не тронул, и он у нас успешно снимался до самого завершения работы. Количество прогуливающих капитанов в Троице-Лыкове уменьшилось. Опальную «антипартийную группу», видимо, уже никто не охранял.

Я подумал было, что их здесь никогда и не было, что это легенда. Но однажды я решил спрямить дорогу и пошел леском вдоль знакомого зеленого забора. На тропинке показались два человека в серых негнущихся шляпах, длинных серых макинтошах и при галстуках. Выглядели они так, словно только что сошли с трибуны мавзолея. Они двигались прямо на меня, постепенно приближаясь. Я узнал знакомые усы Кагановича и усики Молотова. Падшие вожжи тихо беседовали. О чем они говорили? Плели интриги? Перемывали косточки Хрущеву? Этого я не знаю. Я вежливо поздоровался. Встречные экс-водители приподняли серые шляпы. Вот такой был исторический момент! Вячеслав Михайлович был очень похож на свое изображение на нашем семейном портрете, но с тех пор очень похудел и постарел. Еще бы! В Троице-Лыкове, вообще, постоянно случалось что-нибудь историческое. Именно здесь поселился через много лет великий писатель Солженицын.

Бобик против Гамлета

Как-то незаметно повысился у меня статус на «Лен научфильме». Теперь я получил возможность отказываться от некоторых предложений. Я сам предлагал темы для своих маленьких фильмов, сам писал сценарии и дикторские тексты.

Иногда меня заносило в «шнейдеровщину» – тянуло к экзотике. Однажды генерал Бара-Бараев – внук знаменитого генерала Бараева, который штурмовал Шипку, предложил мне поучаствовать в поисках следов Ледового побоища на Чудском озере. В маленькую деревушку Самолву прилетели два вертолета со снаряжением, пригнали катера с аквалангистами, и мы долго что-то искали в мутной воде. Прилетел академик Тихомиров и по секрету сообщил нам, что Ледовое побоище – плод фантазии Эйзенштейна. На этом месте произошла какая-то мелкая стычка, но не более.

– Кто ищет, тот всегда найдет – категорически заявил генерал Бараев и строго посмотрел на военных аквалангистов.

Аквалангисты запаслись грифельными досками и нырнули в Чудское озеро. Вынырнули они подозрительно быстро с корявым изображением каких-то квадратов.

– Древняя каменная кладка! – доложили они.

– Ну, вот! Оборонительное сооружение новгородцев! Давно бы так, – похвалил их генерал.

Позже он написал про это длинную статью в каком-то военно-историческом журнале.

Мне приходилось много ездить по стране и встречаться с людьми на всех социальных уровнях. Это было интересно и поучительно. Я теперь удивлялся собственной наивности и самонадеянности. Как я мог рассчитывать на то, что сделаю когда-нибудь что-то стоящее в кино без солидного житейского опыта? Что я намерен был поведать миру? Я очень многим обязан «Леннаучфильму».

Между тем, ситуация в игровом кино после кончины нашего главного «худрука» – Сталина, постепенно менялась. Я узнал, что начали самостоятельно работать и некоторые из моих однокурсников. Володя Басов и Слава Корчагин

приступили на Украине к съемкам фильма по повести Гайдара «Школа». Чхеидзе и Абуладзе сняли в Тбилиси симпатичную короткометражку «Лурджа Магданы». И здесь, на «Ленфильме», тоже начались изменения. В нашем Доме кино мы увидели новую картину Иосифа Хейфица «Дело Румянцева». В ней рассказана была простая история, случившаяся с пареньком-шофером. Все в этом фильме было узнаваемо, сделано с сочувственным вниманием к мелочам жизни и простому человеку. После помпезных, натужных славословий, к которым мы привыкли, фильм Хейфица был открытием, смелым прорывом. «Подумать только! – поражаются коллеги-кинематографисты, – в фильме показан отрицательный милиционер!» Наиболее проницательные увидели в этом даже намек на репрессии тридцать седьмого года.

На «Ленфильме» появились и режиссеры-дебютанты. Это были приглашенные новым директором Киселевым местные театральные режиссеры – Киселев пришел на студию из театральной среды. Никто звать меня на «Ленфильм», конечно, не собирался. Более того, чем лучше шли мои дела в неигровом кино, тем меньше у меня оставалось шансов попасть в кино художественное. Здесь меня уже определили в хроникеры, а хроникерам в храме киноискусства – не место!

Но тут вмешался господин Случай. Я уже упоминал об операторе фильма «Чапаев» Александре Ивановиче Сигаеве. Все его величали Сигай. И действительно, он обладал способностью сигать сломя голову во все конфликты и споры, если ему казалось, что кто-то обижен. Он был правдолюбом по содержанию и матерщинником по форме. Никто не знал, когда именно и что именно Сигай сочтет несправедливостью. Он не признавал никаких авторитетов, резал правду-матку, а ленфильмовских классиков Хейфица и Козинцева называл Оська и Гришка. За эту его, мягко говоря, неуравновешенность его и выжили с «Ленфильма» – не помогла даже чапаевская слава. Меня он окликал не по имени, а просто кричал «эй, ты!».

– Эй, ты! – крикнул мне однажды Сигай на весь просмотровый зал в Доме кино. – А ну, поди сюда!

Я, конечно, поспешил за скандалистом. Сигай крепко взял меня за руку и куда-то повел. Привел он меня в комнату, где сидел седовласый, вальяжный человек.

– Слышь, Оська! – обратился к нему Сигай. – Ты картину начинаешь – возьми к себе вот его, – Сигай ткнул в меня пальцем.

Я поздоровался и назвал. Видимо, чтобы не связываться с Сигаем, вальяжный человек (это был Хейфиц) стал меня расспрашивать о себе. Я рассказал. Хейфиц поблагодарил и собрался было уходить.

– Оська! – строго крикнул Сигай. – Скажи, когда ему приходиться!

– Ну, – вяло пообещал Хейфиц, – пожалуй, через недельку и ролик свой захватите.

Что Хейфиц называл роликом, я не понял. На всякий случай, я взял с собой короткометражный фильм, который назывался «Рождение картины». Как известно, в Третьяковке хранится множество подготовительных этюдов к суриковской «Боярыне Морозовой». Кроме того, несколько малоизвестных эскизов сохранилось в провинциальных музеях. Я знал, что в семье Михалковых-Кончаловских есть альбом Сурикова, уцелевший еще со времен его путешествия в Италию. Там, среди итальянских зарисовок, есть и первые «почеркушки», касающиеся «Боярыни Морозовой». Мне показалось, что если выстроить весь этот материал в хронологической последовательности и снабдить его соответствующим комментарием, может получиться любопытная картина.

Я пришел к Наталье Петровне Кончаловской, чтобы испросить разрешение на съемку альбома и вообще посоветоваться. В разгар беседы появился длинный подросток в серой школьной форме, когда-то купленной на вырост.

– Ма, – сказал подросток ломающимся баском, – дай полтинник!

Подросток откликнулся на имя Никита. Наталья Петровна мысль о фильме тогда одобрила. Вот с этим-то двадцатиминутным фильмом я и пришел к Хейфицу. В просмотровом зале я увидел знакомых вгиковцев. Это были художники Исаак Каплан, Белла Маневич и оператор Маранджян. Они уже приглашены были в группу для работы над новым фильмом Хейфица «День счастья». Все вместе мы посмотрели мою картинку.

– Смотрите, как сюжетное кино, – с некоторым удивлением сказал Хейфиц, – вы приходите еще через недельку – что-нибудь решим.

Через недельку, не без психологической обработки со стороны моих вгиковских приятелей, Хейфиц пригласил меня на картину в качестве второго режиссера.

Я хорошо знал, что второй режиссер в игровом кино – это чисто административная должность. Второй режиссер – своего рода посредник между производственной и творческой половинками съемочной группы. Функции его постоянно меняются на разных этапах кинопроизводства. В подготовительном периоде – он плановик и проектировщик. На этапе кинопроб он превращается в сыщика-дознавателя, дипломата и координатора одновременно, так как в это время идет поиск исполнителей и формируется актерский ансамбль. О съемочном периоде я уж и не говорю. Во время съемок второй – царь и бог, но одновременно, он и «прислуга за все», и мальчик для битья. Во всех просчетах, ошибках и неудачах традиционно считается виноватым второй режиссер.

«В какой мере я смогу проявить себя на "Ленфильме" как второй режиссер?» – спрашивал я себя. Ответ мне был

ясен – ни в какой! Во-первых, я уже привык самостоятельно принимать решения и руководствоваться собственными представлениями о хорошем и плохом. Преодолеть этот психологический барьер очень трудно. Во-вторых, я плохо знал актерский рынок и закулисы. И, в-третьих, я совсем не знал цехов и цеховых работников на «Ленфильме», а если ты не знаешь плотников, осветителей, маляров в лицо и по имени-отчеству, то дело твое безнадежное.

Однако соблазн поработать с таким мастером, как Хейфиц, был велик. Я решил пойти на «Ленфильм», но только на картину к Хейфицу, не связывая себя постоянной работой в штате студии. «А дальше видно будет, – думал я, – тылы в неигровом кино у меня обеспечены».

Первый дискомфорт я почувствовал, когда прочитал сценарий. Благополучная, обожаемая мужем женщина рвется из семейного мирка в большой мир создателей, строителей и т. д. Муж ее – геолог – как раз и живет в этом большом мире, но жену заботливо оберегает от него. Жена огорчается, отношения охлаждаются. Жена случайно знакомится с врачом скорой помощи – обаятельным представителем «большого мира». Раздираемая противоречиями женщина уезжает в деревню учительствовать. В сценарии было много симпатичных подробностей и типично хейфицевских деталей, но общее ощущение какой-то неловкости сохранялось. Слишком хорошо мы знали наш послевоенный мир вдов и сирот, мир одиноких женщин, лишенных любви и заботы, чтобы проникнуться сочувствием к героине. Неприятности меня ожидали совсем не там, где я предполагал.

Чисто организационные сложности мне как-то удавалось преодолевать при поддержке профессионалов высокого класса – главных художников и оператора, но стали сказываться сценарные неясности и несогласия между автором Юрием Германом и постановщиком Хейфицем. Сцены переписывали прямо на съемочной площадке, постоянно менялись и места съемки. Такие замены приводили к частым простоям и неразберихе. Директор картины все это сваливал, конечно же, на второго режиссера. Алексей Баталов, игравший главного героя-врача, будучи деликатным человеком, в прямые споры с постановщиком не вступал, но я вынужден был как-то реагировать на его возражения и сомнения. Реагировать и маневрировать.

Закончилось все это совершенно неожиданно. Хейфиц простудился и заболел, а мне после съемок поручил провести речевое озвучание. Именно на этом этапе, обычно, и уточняют сценарные невнятицы, мотивировки и противоречия. Здесь есть еще возможность отчасти смягчить актерские просчеты. Словом, именно на этом этапе окончательно редактируется картина. Почему Хейфиц доверил мне такую важную работу, я понял значительно позже, когда монтировал свой первый большой фильм. На этом этапе режиссеру, перешагнувшему, наконец, через все сложности, случайности и тяготы съемок, каждый эпизод, каждая клеточка-кадрик кажутся самыми важными и необходимыми. Мало кто решается недрогнувшей рукой изымать созданные тяжким трудом эпизоды. Их качество и значимость режиссер невольно измеряет количеством затраченного труда и волнений. Это естественный самообман. Во многих странах важной монтажно-редакторской работой занимается профессионал-монтажер. У нас своя традиция – у нас постановщик – единовластный хозяин отснятого материала. Во всяком случае, так было долгое время. В данном запутанном случае Хейфицу важно было сохранить «свежий глаз», оказаться над схваткой. При этом постановщик мог в любой момент поправить новичка и даже отстранить его. Мои неудачные, ошибочные действия для меня, хроникера и чужака, могли иметь тяжелые последствия в будущем. Но, все равно, я был глубоко благодарен Хейфицу за возможность «порулить», которую он мне тогда предоставил.

Премьера прошла скромно. Отзывы о фильме тоже были сдержанные. Хлебосольный Герман устроил пышный банкет, но за столом отсутствовал. Не было и Хейфица, который еще не вполне оправился от болезни. Только съемочная группа беззаботно гуляла и веселилась.

Слухи о моем нештатном участии в работе над «Днем счастья» дошли и до директора «Ленфильма» Киселева. Человек он был, как принято говорить, неоднозначный. В нем удивительно сочеталась безоглядная решительность с самой позорной трусостью. Илья Николаевич отсидел десять лет в лагерях и панически боялся любого начальства. На приемках новых картин в Смольном его трясло, он потел, заикался и соглашался с любой бредовой поправкой. Но у себя в кабинете Киселев преображался. С истинно цыганским темпераментом (Киселев был цыган) он играл сразу за всех артистов на худсоветах, режиссировал за всех режиссеров и анализировал за всех редакторов. «Эх, жаль! Времени нет, а то бы я сам сыграл!» – говаривал часто Киселев своим подчиненным актерам, режиссерам, сценаристам и т. д. В творческом экстазе он мог разбить в кабинете любимую вазу или спеть под гитару любимый романс. Тут у него не было соперников. При всем при этом, он был деловит и хитер.

– Вот что! – сказал Киселев, призвав меня в кабинет. – Мне летунов не нужно! Или оформляйся, как нормальный человек, в штат, или я с тобой по-другому буду говорить!

– Мы с вами никогда ни о чем не говорили, Илья Николаевич, – удивился я.

– Как это не говорили? Вот, у меня помечено, – Киселев ткнул пальцем в блокнот. – Семнадцатого в тринадцать ноль-ноль ты должен дать окончательный ответ.

Подобного разговора, конечно, у нас не было и пометки в блокноте тоже не было. Просто у Киселева была такая манера: захватывать собеседника врасплох и ставить его уже перед свершившимся фактом. Так, наверное, его родичи-цыгане продавали на ярмарках негодных лошадей простодушным крестьянам. Когда я вторично пришел к

Киселеву, он уже, оказывается, договорился с директором «Леннаучфильма» о моем переводе в штат «Ленфильма». И это происходило в то самое время, когда я еще мучался сомнениями и держал совет с родными. Ведь я, по выражению Ильфа и Петрова, был уже закоренелым «матрацевладельцем». Я был женат, обзавелся двумя дочерьми, ко мне переехала мать и «Зингер-полукабинет» уже был с почетом установлен в нашей новенькой хрущобераспашонке. Теперь мне предстояло бесповоротно решить: начинать ли мне все сначала, кидаться ли в неведомое?

– А что я буду делать на «Ленфильме»? – спросил я у Киселева.

– Работать будешь, – сказал директор, – есть у меня кое-что на примете. Сегодня оформляйся – завтра приходи.

Я пришел на завтра и состоялся такой разговор:

Киселев: Поздравляю.

Я: Спасибо.

Киселев: Предлагаю тебе работу. Для начала короткометражку. Комедию.

Я: Спасибо.

Киселев: Но есть условие.

Я: Какое?

Киселев: Короткие сроки. Маленькая смета.

Я: Согласен.

Киселев: Но есть еще одно условие.

Я: Какое?

Киселев: Последнее, но главное. Сниматься у тебя будут собаки.

Я: Не понял.

Киселев: Чего же тут непонятного? Ты хроникер. Опыт работы с актерами у тебя маленький. Вот и начнешь с собак!

Подоплека этого разговора такова: некогда в план «Ленфильма» была включена короткометражка – экранизация рассказа Носова «Бобик в гостях у Барбоса». Плановики подумали и записали ее как мультипликацию. Но, во-первых, «Ленфильм» мультиков никогда не делал, а во-вторых, стоимость рисованного фильма очень высока. Теперь никто не знал, что с этой «плановой единицей» делать. Киселев принял волевое решение – пустить короткометражку в производство, как обычную, игровую. Тогда отдел труда и заработной платы запросил, по какой ставке платить артистам, приглашенным на роль собак. Ведь в сценарии фигурируют не какие-то безмолвные, второплановые собаки, а собаки-герои, у которых даже есть текст. Действительно, для большей художественности Носов дописал в сценарии своим героям внутренние диалоги-монологи: «А не попробовать ли мне колбаски? – подумал Бобик» или: «Побегу-ка я восвоюси, – решил Барбос». Отдел зарплаты сразу понял, что за все эти чудеса нужно кому-то платить. Теперь они интересовались, сколько?

Я сказал, что не понимаю, как вообще такой фильм делать.

– А ты придумай, – парировал Киселев, – для того я тебя и пригласил, даже в штат взял. Если придумаешь – озолочу! То есть не то чтобы озолочу, но ты оправдаешь мое доверие. Все! Свободен!

Классический рассказик Носова все знают: комнатная собачка, в отсутствие хозяина – Дедушки, приглашает в гости дворового пса. Собачка хвастается, что все в доме принадлежит ей, угощает гостя разными вкусностями и собаки засыпают на хозяйской кровати. Возвращается Дедушка и устраивает псам выволочку. Я подумал, что поведение собак можно разделить на простейшие действия, а реакции вызывать искусственно, как это проделывал когда-то с цаплями наш астраханский егерь. Продуманно смонтированное сочетание реакций и поступков может, при известной изобретательности, создать иллюзию осмысленного, «разумного» поведения четвероногих.

По предложению Германа я проконсультировался с Лидией Ивановной Острецовой – талантливой дрессировщицей собак. Именно она работала на картине по сценарию Германа «Ко мне, Мухтар!». Острецова сказала, что в принципе, такая затея осуществима, «если найдем собак с характером и талантливых». Лидия Ивановна рассуждала о собаках, как о людях, и имела, как позже выяснилось, особый дар общения с четвероногими. Она не угрожала им и не ублажала. Она с ними разговаривала. Пустолайке она говорила просто: «собака, помолчи» и пустолайка замолкала. Если собака упрячилась, Острецова строго ей замечала: «не выпендривайся!» И собака смирялась. Как все это у нее получалось, никто понять не мог.

Собачьи реплики в фильме я решил сократить до минимума, чтобы только понятен был смысл происходящего. Для этого нужно было при помощи комбинированных съемок регулировать бессмысленный лай «артистов», разделять собачью артикуляцию на смыкания и размыкания, с тем, чтобы на речевом озвучании вложить им в пасти необходимые разумные слова. Для режиссера комбинированных съемок это была кропотливая, тягостная работа, и я предложил режиссера Михаила Шамковича включить в титры, как сорежиссера.

Все на съемках этой картинке выглядело пародией на серьезный кинопроцесс. Был и приказ по студии о запуске в производство, вывешивался и еженедельный график работ. Для смеху так было сделано или случайно получилось, но график висел рядом с графиком работ по картине Козинцева «Гамлет». На одном листочке значилось: «Натура.

Постройка декорации "Замок Эльсинор". На соседнем было написано: «Натура. Постройка декорации "Конура Барбоса"». Ленфильмовцы, встречая меня в коридорах, лукаво улыбались. Возникли кадровые проблемы: никто не хотел работать гримером на собачьей картине, непонятно было, что должны делать костюмеры. Только главный художник Исаак Каплан был всем доволен. «Вот увидишь, – хохотал Каплан, – это полотно войдет в историю "Ленфильма"!»

Как положено по графику, начались кинопробы. Об этом сообщили по радио. Это была ошибка. Клуб собаководства располагался где-то на Красноармейских улицах, а уже, не доходя до Измайловского, я услышал многоголосый лай и визг. Перед клубом выстроилась гигантская очередь из граждан с овчарками, болонками, борзыми и прочая. Каждый гражданин расхваливал своего питомца и демонстрировал его таланты. Иные требовали особых льгот. Одна старушка, очень похожая на собственную болонку, утверждала, что собака пережила блокаду и потому у нее особые права. На роль комнатной собачки предлагали звероподобных огромных псов, на роль дворняги – изысканных аристократов с длинными родословными. Кое-кто застенчиво предлагал Острецовой взятку. Лидия Ивановна невозмутимо делала на списке какие-то пометки, иногда коротко замечала: «бездарь» или «вяловата, нет темперамента». Наконец, мы приняли решение: на роль комнатной собачки утвердить карликового терьера Мишку – он талантливо ходил на задних лапах и очень был самодоволен. На роль дворового пса взяли беспородного кобеля по имени Люкс. Он был невообразимого, грязно-желтого цвета и носил бороду, унаследованную от какого-то терьера. Взят он был, главным образом, за «непосредственность».

По ленфильмовским правилам, исполнителей ведущих ролей нужно было утверждать в главной редакции. Сначала мы – Острецова, я и две собаки – долго сидели в приемной у главного редактора Ирины Павловны Головань – ее срочно вызвали в Смольный. Я спросил у ее заместителя Гомелло, не утвердит ли он сам моих артистов. Гомелло вышел в приемную и с омерзением оглядел собак. Потом он спросил, не кусаются ли они, и без слов удалился в кабинет. Секретарша посоветовала все-таки дождаться самой редакторши, потому что заместителя, товарища Гомелло, недавно покусала собака. Мы стали ждать Головань. Выяснилось, что собак она любит и потому героев утверждает. Просила только приглашать ее к нам на репетиции.

В дальнейшем, это нам очень помогло. Репетиционная комната была на «Ленфильме» только одна, и ею обычно пользовались по очереди. Нашему творческому процессу очень мешал Смоктуновский, который безвылазно сидел в репетиционной, отработывая фехтовальные приемы для своего Гамлета. Время от времени, мы все-таки вытесняли Смоктуновского, ссылаясь на то, что главный редактор желает проконтролировать наши репетиции. Тогда Смоктуновский гордо удалялся, а звон шпага в репетиционной сменялся собачьим лаем. Люкс, между тем, проявил незаурядные способности. Он стал всеобщим любимцем. После многократных купаний обнаружилось, что он не грязно-желтый, а ослепительно белый.

Однажды на просмотр текущего материала вдруг пришел тот самый, покусанный, Гомелло. Он сказал, что еще на сценарной стадии кое-что его насторожило.

– В сценарии, – сказал он, – настойчиво проводится мысль о социальном неравенстве. Одна собака, видите ли, купается в роскоши, а другая живет в конуре! Что вы этим хотите сказать?

– Что одной собаке повезло, а другой нет, – ответил я.

– Ну, предположим, – не отставал Гомелло, – а почему у вас люди и вся наша действительность снята, так сказать, ниже пояса?

– Потому что фильм у нас из жизни собак и окружающее мы видим как бы с собачьей точки зрения, – объяснил я.

– Ну-ну, к этому мы еще вернемся, – пообещал Го-мелло и удалился.

Был еще заочный спор с автором Носовым. Поскольку выяснилось, что исполнитель роли Барбоса оказался ярче и талантливее партнера, нам показалось, что картину лучше назвать «Барбос в гостях у Бобика», а не наоборот. Носов всерьез возмутился и даже сослался на авторское право и Союз писателей. Словом, все на картине было как настоящее, только смешнее.

Наступил и день большого худсовета. Для того чтобы понятно было, что это такое, требуются некоторые пояснения. После очередной либеральной перестройки коллектив «Ленфильма» разделен был на три творческих объединения: Первое объединение возглавили Хейфиц и Козинцев, Второе – Александр Иванов, Третьим руководили Владимир Венгеров и Герберт Раппопорт. Раппорт после прихода Гитлера к власти уехал из Германии в Советский Союз и сделал антифашистскую картину «Профессор Мамлок». После этого, он так и осел на «Ленфильме». У каждого объединения был свой худсовет, в котором заседали всякие уважаемые люди. В Первом объединении это был Юрий Герман, Ольга Берггольц, известный поэт Дудин, художник Эней, а также профессора университета, критики, журналисты и т. д.

В особо важных случаях, при завершении очередной картины на «Ленфильме» собирали объединенный худсовет, который и назывался большим. Здесь соединялись все интеллектуальные резервы и являлись все известные, влиятельные люди. На этот блистательный форум была почему-то представлена и короткометражка «Барбос в гостях у Бобика». Как я потом узнал, аншлаг нам обеспечили панические намеки Гомелло на «пропаганду

социальной розни». Картину вначале глядели с недоумением. Потом раздались смешки, а закончилась она под всеобщий благодушный смех. На обсуждении неутомимый Гомелло выступил одним из первых и обвинил картину в «бездумном смехачестве». Но тут он совершил ошибку, потому что к «смехачеству» оказался причастным весь худсовет. Завершая худсовет, Козинцев сказал, что в фильме есть не только дрессура, но и режиссура, и пожелал нам «дальнейших творческих свершений».

Но больше ничего не свершилось, только я лишился зарплаты, потому что попал в простой. На «Леннаучфильме» я работал беспрерывно и даже не понимал, что это такое – простой. А на студии художественных фильмов пауза между картинками могла тянуться очень долго. Даже годами! С моим героем – кобелем Люксом мы оказались на равных. Мне, как и Люксу, не предлагали больше картин, и я был никому теперь не нужен. Декорацию «Конура Барбоса» перенесли во двор студии, и безработный Люкс жил в ней до особых распоряжений. Его кормил и о нем заботился лжедрессировщик Гуревич. Получая пока что деньги на пропитание Люкса, он нелегально подкармливал еще и собственного персонального медведя.

Он содержал его в подвале института Рентгена, отчего медведь облучился и начисто облысел. Вид его был ужасен. Лысый медведь был похож на свинью без пятячка. Кроме того, мишка страдал алкоголизмом. Юность его прошла в клетке по соседству с каким-то заводским домом отдыха. Отдыхающие трудящиеся для смеху угощали медведя пивом. С тех пор он употреблял ежедневно полкружки пива. Если пива не давали, медведь приходил в неистовство. Представляете, каково жилось непьющему Гуревичу с таким зверем. А почему он «лжедрессировщик», я сейчас объясню.

Жители ближайших от «Ленфильма» домов все были немного чокнутые. Они подрабатывали в массовках, постепенно втягивались в киношную жизнь и уйти с «Ленфильма» уже не могли. Таким был и Гуревич. Если не удавалось хоть немного посниматься, он слонялся по «Ленфильму», предлагая услуги подсобного рабочего. В этом качестве он пребывал и на картине «Укротительница тигров». В фильме тогда снимался знаменитый тигр Пурш. Он уже постарел и «мышей не ловил», если, конечно, можно так сказать про тигра. Когда дрессировщику Константиновскому задерживали зарплату, он привязывал Пурша на веревочку и шел с ним в бухгалтерию. Пурш обнюхивал окаменевших от ужаса финработниц и необходимые деньги Константиновскому тут же выдавали. Под конец съемок Пурш не выполнял уже простейших заданий и постоянно дремал. Однажды Константиновский никак не мог заставить Пурша поднять голову и «с удивлением», как сказано в сценарии, поглядеть в небо.

– Тому, кто расшевелит этого кретина, плачу пятерку, – объявил дрессировщик.

К нему тут же подошел Гуревич и пообещал, что тигра расшевелит.

– Веревку мне! – скомандовал Гуревич.

Веревку привязали к осветительным лесам и доброволец вскарабкался по ней, оказавшись как раз над Пуршем.

– Мотор! – скомандовал Гуревич.

– Есть! – откликнулся оператор Розовский.

И тут Гуревич издал нечеловеческий визг. Он принялся извиваться, кривляться и раскачиваться на веревке, не смолкая ни на секунду. Пурш проснулся и удивленно поднял голову.

– Снято! – торжествующе крикнул Гуревич и показал большой палец.

Но он забыл, что следует держаться за веревку и упал вниз на Пурша. Ошеломленный тигр убежал из декорации, и его потом долго искали по всей студии. Тем не менее, слух о дрессировочных талантах Гуревича распространился, разросся и сам Гуревич в него поверил. Вот тогда-то он и приобрел своего дефективного медведя и принялся его дрессировать и откармливать за счет безработного Люкса.

«Начальник Чукотки»

На творческих встречах зрители часто просят рассказать что-нибудь веселенькое. Когда им говоришь, что жизнь у нас не такая, они вежливо соглашаются, но в глубине души не верят. Я их понимаю. Им очень хочется сохранить веру в то, что существует где-то особый, веселый и беззаботный мир. От этого им становится как-то легче. Должен сказать, что и нам, когда мы шутим над собой, тоже становится веселее. Для этого не нужно ничего и придумывать, потому что жизнь у нас не то чтобы веселая, но, мягко говоря, разнообразная.

Безработный Люкс затосковал. Он отказывался от еды и никак не реагировал на появление многочисленных делегаций из соседних школ. Детей специально привозили посмотреть на знаменитого Люкса. Но Люкс отворачивался и забивался в дальний угол конуры. Он тосковал по киношной суете, яркому свету, сладким запахам грушевой эссенции, табака и кожаных курток. Гуревич изредка выводил Люкса на прогулки. Однажды Люкс увидел, что в конце студийного коридора широко распахнуты ворота первого павильона и декорация озарена ярким светом. Наша декорация «Квартира дедушки» еще не была разобрана, и в ней время от времени делали мелкие досъемки и кинопробы. Люкс оборвал поводок, влетел в декорацию и уселся в кресло, которое считал своим законным рабочим местом.

В обычной суете никто поначалу не обратил на него внимания. Все готовились к пробам очередной революционной картины. Артист, который должен был играть английского фантаста Уэллса, гримировался, а за декорацией допивал кофе артист Смирнов, который обычно играл Ленина. Я говорю «обычно», потому что это был период, когда именно Смирнова утвердили где-то в ЦК на роль Ленина. Теперь Смирнов был самым востребованным и занятым артистом. Он перелетал со студии на студию, из театра в театр, чтобы исполнить свою ответственную роль. В чемоданчике при нем всегда была знаменитая кепка и галстук в горошек.

Смирнов был уже полностью загримирован, и, таким образом, за декорацией сидел, неотличимый от настоящего, вождь мировой революции. Смирнов в последний раз прикинул, как он скажет Уэллсу «приезжайте к нам, батенька, через десять лет», и вышел на съемочную площадку. Перед ним в его кресле сидел белый бородатый пес. Смирнов удивился и сказал собаке «пшел!». Люкс в ответ зарычал, но с места не сдвинулся.

– Эй, кто-нибудь! – позвал Смирнов.

Прибежал народ. Люкса стали упрашивать и улещивать. Но пес, почуяв в лысом человечке с галстуком в горошек главного соперника, заливался злобным лаем. Люкс даже вскочил в кресле, а Ленин испуганно отскочил. Ситуация возникла двусмысленная и странная. С лесов свешивались осветители и нехорошо улыбались. Оскорбительное зрелище увидел директор Первого объединения Гринер. После больших реабилитаций, Гринер, в прошлом начальник какого-то архангельского лагеря, был уволен и теперь, по рекомендации своих же бывших узников, сценаристов Фрида и Дунского, а также Алексея Каплера, пристроен на «Ленфильм». Гринер знал толк в разных проявлениях контрреволюции и тут же позвонил Киселеву.

Киселев, как известно, тоже побывал в лагерях, но по другую сторону проволоки. Оба они здорово перепугались и прибежали в декорацию. Позиции сторон с тех пор не изменились – Люкс рычал и лаял, отстаивая свое право на труд, а Смирнов нервно ходил вокруг да около. Призван был и Гуревич, но был отвергнут и облаян. Решили вызывать Острцову. Свет в павильоне выключили и стали ждать. Люкс тоскливо выл в темноте и одиночестве. Прибежала запыхавшаяся дрессировщица и нырнула в эту темноту. Примерно через час вой в павильоне вдруг смолк. Появилась Острцова, затем показался Люкс. Понурился и поджав хвост он покорно поплелся за ней.

– Что вы ему сказали? – спросил я у Лидии Ивановны.

– Я сказала ему: «не грусти, собака!», – ответила Острцова.

Дальнейшая жизнь Люкса опять проделала зигзаг. Его усыновила одна сердобольная редакторша, и Люкс зажил безмятежной жизнью Бобика. Его чесали и мыли, его прогуливали и пичкали лакомствами. Он полюбил телевизор, растолстел и потерял непосредственность. О нем все забыли. Таков уж удел всякого артиста: «То вознесет его высоко, то в бездну бросит без следа».

Мать приехала ко мне в Ленинград, преисполненная решимости разыскать отца или получить о нем хоть какую-то весточку. «Человек – не иголка», – твердила мать, и у нас образовалась целая канцелярия. Мы писали сначала Никите Сергеичу, потом Леониду Ильичу. Потом – всем, всем, всем! Мать аккуратно подшивала ответы. Ответы каждый раз были разные. В одной бумаге сообщалось, что отец умер в ссылке от воспаления легких. В другой утверждали, что он был освобожден и добровольно уехал на поселение куда-то в Красноярский край. Вся страна уже знала, что эти ответы – чистое вранье, но матери об этом лучше было не говорить. Она не спала ночами и все писала и писала четким учительским почерком в разнообразные инстанции.

О моих ленфильмовских делах домашние старались не говорить. Жили мы только старыми сбережениями, которые быстро таяли. По старой памяти, я иногда подра-батывал дикторскими текстами и другой литературной заказухой. Полоса счастливых случайностей, видимо, кончилась. Выяснилось, что киселевское приглашение в штат ровно ничего не означает. В каждом творческом объединении уже сформировался свой круг режиссеров и сценаристов. Из расчета на них составляли планы на будущее. Судя по всему, я в этих планах не числился. Однажды на студии документальных фильмов я встретился с вги-ковцем Витей Рабиновичем. Он работал редактором в киножурнале, и через него проходило много всяческих информашек и сообщений. Все средства информации готовились тогда к пятидесятилетию Октября и публиковали соответствующие материалы.

Виктор показал мне короткую заметочку журналистки Ирины Волк. В заметке рассказывалось про комиссара Алексея Бычкова, который в двадцатых годах первым стал собирать пошлину с американских купцов, скупавших пушнину на Чукотке. Бычков собрал уже некоторую сумму, но произошел очередной белый переворот и комиссар, спасая себя и казенные доллары, бежал на Аляску. Потом он проник в Калифорнию и, обогнув земной шар, добрался до советской России, где и вручил валюту властям. Как использовать этот материал, Рабинович еще не знал, но для киножурнала он явно не подходил – про это можно было написать, но нечего было показать.

Мы с Виктором сочинили заявку на историко-революционный фильм про «беззаветного борца за народное дело, который, не щадя сил, защищал угнетенный чукотский народ от империалистов». Как будет заканчиваться фильм, мы еще не знали. По одной версии, наш комиссар умирал в тундре, сжимая в застывших руках мешок с трудовой валютой. По другой, объединившись с друзьями-чукчами, побеждал врагов, и они позорно бежали на свою Аляску. Факт бегства в Америку самого героя мы деликатно обходили. Заявка, как ни странно, заинтересовала редакцию на

«Ленфильме», которая занималась «самотеком». В этой редакции обычно рассматривали заявки, сценарии, пьесы и романы, поступавшие на «Ленфильм» от сумасшедших, графоманов и, вообще, случайных людей.

Накануне пятидесятилетия Октября предложенная нами тематика была в дефиците. Революции на Украине, Кавказе, в Крыму уже многократно были отражены. Штурмы Зимнего и баррикады на Пресне – тоже, а вот гражданской войны в Заполярье еще не было. Нас попросили написать новую, уже расширенную, заявку и передали ее в Первое объединение к Хейфицу. То ли потому, что в его объединении также не отражена еще была революция в тундре, то ли потому, что Хейфиц увидел знакомую фамилию, но и здесь заявка наша была одобрена. Нам только посоветовали пригласить в соавторы сценариста, имеющего опыт работы в художественном кино.

Рабинович вспомнил про вгиковца Володю Валуцкого, который уже написал что-то революционное. Приехал из Москвы Валуцкий, познакомились. Дела у него тоже были не очень хороши. Недавно его поперли из ВГИКа. Поперли при смешных и грустных обстоятельствах. В эти годы появились первые магнитофоны, громоздкие, неуклюжие, но способные записывать и воспроизводить любимые, еще не так давно запрещенные джазы и диксиленды. Валуцкий и его приятели, в том числе Гена Шпаликов, развлекались записями всяческих пародий. Однажды они записали пародию на заседание Политбюро. Кто-то из них говорил за Брежнева, кто-то за Ворошилова и так далее. Среди веселящихся был студент, который немедленно сообщил об этом куда следует. Валуцкого и компанию поперли из комсомола и из ВГИКа.

Мы собирались втроем и болтали о том, о сем, не зная, с чего начать работу. Жаловались на засилье помпезных произведений, высмеивали каноны революционной тематики. Времена были послеоттепелевские, и мы не стеснялись в выражениях. Потом вспоминали, что мы сами как раз и эксплуатируем сейчас эту самую тематику, и надолго задумывались. Рассказывали, конечно, всякие анекдоты и случаи из жизни. Я иногда вспоминал и о своем детстве: об Амуре, Сибири – о краях, схожих с местами, которые должны были стать местом действия в нашем фильме. На ум приходили почему-то случаи смешные и парадоксальные. Видимо, масштабы революционной стихии и стихии земных просторов, сопоставленные с муравьиной деятельностью человека, давали юмористический эффект.

Кроме того, к некоторым «святым» понятиям и привычным, расхожим представлениям люди шестидесятых годов относились уже с растущей иронией. Появились прежде невозможные анекдоты про «Василь Ваньча Чапаева», запели частушки про «Берия», который вышел «из доверия». Народ потихоньку распоясывался. Как-то незаметно, по ходу нашего трепа, история отважного комиссара тоже трансформировалась. Комиссара мы похоронили в тундре, а вместо него приехал мальчишка-секретарь, недоучившийся гимназист, напичканный книжно-революционными фразами. Полный юношеского энтузиазма, наш герой пытается построить в тундре «мы наш, мы новый мир». Тут же мы придумали и название фильма: «Начальник Чукотки». Противником и оппонентом начальника становится старый царский чиновник, чудом сохранившийся во льдах Заполярья и неразберихе революций. Стало интереснее, веселее.

История постепенно обрастала подробностями, диалоги стали афористичными, почти репризными. Нас понесло – мы уже не думали о том, что «пройдет» и что «не пройдет». Рабинович едва успевал за нами хоть как-то фиксировать возникающие эпизоды. Кругосветное путешествие начальника Чукотки тоже разрасталось. По ходу действия, он сталкивался у нас, например, с белоэмигрантами, которые гонялись по всей Калифорнии за чукотским миллионом. Попутно, в доках Сан-Франциско наш герой пытался раздуть мировую революцию. Потом, в фильме этот эпизод сократился до одного мгновения, где начальник Чукотки кричит негру-стюарду: «Рот фронт!» На худсовете было много споров и предостережений. Однако сценарий понравился Юрию Герману, и мы победили. Но это была победа на уровне творческого объединения, а требовалась виза директора Ленфильма, Киселева.

Так уж повелось – каждый начальник на своем уровне должен был нести ответственность за будущий фильм. У Киселева было два таланта: во-первых, он с чувством пел цыганские романсы, а во-вторых, смешно рассказывал еврейские анекдоты.

– Ну и накрутили вы, ребята! – сказал Киселев. – Просто анекдот! Кстати, – спросил он у Виктора, – твоя фамилия Рабинович?

Виктор кивнул.

– Видишь, что получается, – обратился Киселев к Виктору, – сценарий у вас – сплошной анекдот, да еще и автор – Рабинович. А фильм юбилейный, к Октябрю. Я, конечно, не антисемит. Я сам, можно сказать, цыган, но я бы, на твоём месте, взял псевдоним. Согласен?

Виктор пожал плечами. Киселев размашисто написал на сценарии: «Утверждаю», а пониже и помельче дописал: «Под ответственность тов. Хейфица». Мы вышли от Киселева с утвержденным сценарием. Его бережно нес сценарист Виктор Викторов (бывший Рабинович).

Теперь предстояло как-то узаконить нашу затею. Перестраховщик Гринер не заключал с нами никаких договоров, и мы работали «за так». Необходим был и официальный приказ о запуске фильма в производство. Гринер тут же отослал меня к Хейфицу. Иосиф Ефимович, глядя куда-то в сторону, объяснил, что он хорошо ко мне относится, но,

поскольку я, формально, не числюсь в его объединении, «разговор о постановке картины пока начинать преждевременно». Для меня это было полной неожиданностью. Но, поскольку Хейфиц вскользь упомянул фамилию Гомелло, мне все стало ясно. Покусанный редактор оказался еще и злопамятным редактором.

Утром Гринеру поступил ультиматум, гласивший, что авторы сценария «Начальник Чукотки» Владимир Валущий и Виктор Викторов (бывший Рабинович) доверяют постановку своего сценария только режиссеру В. Мельникову. «В противном случае, не будучи связанными с Первым объединением никакими обязательствами, мы передадим сценарий на другую студию». Хитрец Гринер оказался в собственной ловушке. На следующий день он вызвал нас всех троих и, как ни в чем не бывало, заявил, что мы безответственно опаздываем с началом работы, что близится осень, а еще не выбрана натура, и, вообще, пора начинать кинопробы.

– А приказ? – спросил Валущий.

– А Мельников? – спросил бывший Рабинович.

– Приказ уже висит на стене! Давным-давно! – нагло удивился Гринер.

Начались хлопоты с комплектованием съемочной группы. Название картины всех пугало. Съемки на Чукотке – это не для теплолюбивых киношников. Мы сговорились с моим сотоварищем по «Леннаучфильму», оператором Эдуардом Розовским. Нам пришлось вместе поколесить по европейскому Заполярью и Карелии на съемках одной видовой картины. Кроме того, Розовский только что снял фильм «Человек-амфибия» и трудностей не боялся. В свою очередь, Розовский рекомендовал мне художника Гаухмана-Свердлова. И мы полетели!

На Чукотку в то время лететь нужно было через Новосибирск, Якутск, Магадан, Марково, Анадырь. На каждом перевалочном пункте пассажира поджидали непогоды, пересадки и прочие неприятности. В бухту Провидения мы попали уже к середине сентября. В Беринговом проливе романтически плавали льдинки и фонтанировали киты. Все было как положено в Арктике. Взлетная полоса здесь упиралась прямо в море. На облупленном фюзеляже старого самолета было написано: «Аэропорт Провидения». На этом самолете, возможно, летали еще Чкалов, Байдуков и Беляков. В хвосте бывшего лайнера располагался буфет с «прохладительными напитками». Самым прохладительным и самым слабым напитком здесь считалось шампанское. Дети и старики, в ожидании своего рейса, запивали им таблетки и дорожную снедь. При этом считалось, что на Чукотке сухой закон.

Марксен Гаухман-Свердлов был человек одержимый. Мы не успели еще как-то внедриться и спланировать свою жизнь, как он уже потащил в казарму, где нас приютили пограничники, все, что ему казалось нужным для обстановки и реквизита. Он тащил с побережья вонючие тюленьи шкуры, оленьи рога, выпрашивал у местных жителей утварь и старые кухлянки. Взор его горел диким огнем искателя сокровищ.

Однажды распахнулась дверь в нашу комнату и в проеме появился ящик с коньяком. Над ящиком возвышалась зеленая велюровая шляпа. Владелец шляпы с грохотом поставил ящик на стол.

– Будем знакомиться, – сказал гость, – я Леонид Ильич Черемисов, председатель исполкома Святого Лаврентия.

Увидев в наших глазах удивление, Леонид Ильич разъяснил, что он руководит районом, расположенным в заливе Святого Лаврентия. Согласно каким-то морским картографическим правилам, переименовать это место мы не имеем права.

– Не то что район, – у нас и райком партии тоже Святого Лаврентия, – пожаловался Черемисов, раскупоривая первую бутылку.

Он скинул велюровую шляпу, ротиновое пальто с накладными плечами и предстал перед нами в сталинском френче, галифе и белых бурках. Мода в одеянии начальников здесь запоздала лет на двадцать. Мы рассказали Леониду Ильичу краткое содержание сценария, обходя, по возможности, сомнительные места. Сценарий он одобрил, но усомнился, сможем ли мы снимать на Чукотке. Не потому, что тут полярная ночь, а потому, что много пьют. Так, попивая армянский коньячок, он рассказывал нам всякие случаи и перечислял степени, до которых допивается население в подвластном ему районе.

Недавно, например, одного передового охотника ухлопал собственный сын. Они с отцом обмывали почетную грамоту, которую вручил отцу сам Черемисов. После первого же тоста у отца с сыном возникла дискуссия: оградит ли отца от злых духов почетная грамота или не оградит. Отец утверждал, что оградит и даже от пули уберезет. Более прогрессивный сын не верил. Еще выпили. «Правда, подсыпали себе в стаканы сушеный мухомор», – уточнил Черемисов. После третьего тоста отец и сын решили на деле проверить бронезащитную силу почетной грамоты. Отец встал поближе к свету, сын прицелился и вплепал папе заряд точно в лоб. «Я же ему говорил, а он не верил!» – объяснял потом сын.

Пили здесь, конечно, много. «Но только не мы», – утверждали знакомые пограничники. Однако территория погранзаставы была украшена у них своеобразно. Призывные надписи и лозунги были сложены из бутылочного стекла. «Мы за мир» уложено было из зелененьких пивных осколков. «За светлое будущее!» – из светлых водочных. А звезды и алые гвоздики сотворены были из дефицитных темно-красных бутылочных осколков. Таким образом, ребята пытались украсить свой быт в пустынной вечной мерзлоте.

– Зато у вас дисциплина высокая, самоволок нет, – утешали мы здешних командиров.

И здесь есть самоволки, – вздохнул политрук, – вот недавно был случай: одна бойкая вдовушка поставила свою ярангу [16 - Яранга (чукотск.) – переносное жилище кочевых чукчей, коряков, некоторых групп эвенов и юкагиров. – Ред.] неподалеку от заставы. Земля общая, советская, вдову не прогонишь, но появились у солдат случаи заражения нехорошей болезнью. Я, – продолжал политрук, – явился к вдове, объяснил ей, что она подрывает мощь нашей армии и за это ответит. Вдова только смеялась. Пришлось с ней выпить и поговорить по-хорошему. «Если ты, ведьма, – говорю я ей, – примешь хоть одного солдата с зелеными погонами, я тебя пристрелю». Это подействовало, но то же самое началось у соседей-ракетчиков. Вдова откочевала к ним – погоны-то у них не зеленые, а черные!

Мы сидели в бухте Провидения больше недели – ждали летной погоды, чтобы посетить, наконец, владения Черемисова – поселок у залива Святого Лаврентия. Так и не дождавшись вертолета, мы, вместе с Черемисовым, решили отправиться водой, на сторожевике «Корунд» вдоль побережья. Затея эта окончилась плохо. «В связи с изменением ледовой обстановки», мы еще на неделю застряли в проливе. Слева в тумане виднелся красный флаг на Лаврентии, а справа темнела глыба – остров Ратманова. Это уже была Аляска. Окруженный льдами «Корунд», согласно присяге, охранял госграницу и мы с ним за компанию.

Неизвестно, как долго это продолжалось бы, но однажды из тумана у борта сторожевика вынырнул мотобот. Это были местные рыбаки. Мы выгрузились и несколько часов плыли в молочном тумане неизвестно куда. Бот то лавировал между льдинами, то снова погружался в туман, пока вдруг совсем рядом не раздалось пение, а потом голос диктора бодро сообщил московское время. Оказывается, рыбаков вызвал по радио Черемисов и они нас разыскали.

– Так ведь можно и границу по ошибке перейти? – удивились мы.

– Можно, – подтвердил Черемисов. – Есть у нас такая проблема – контактуется местные с Америкой. Мы-то свою границу защищаем, а сопредельники – нет. Нам, говорят, это ни к чему. Тут есть еще одна проблема, – понизил голос Черемисов, – проблема брачных отношений. Чукчи – народ малочисленный. И с нашей стороны их мало, и на Аляске их мало. Надо им как-то размножаться, обновлять кровь! Вот и получается, что у какого-нибудь чукотского гражданина вдруг в яранге объявляется жена, которая по-русски совсем не петрит, а говорит по-чукотски с английским акцентом. Об оружии я уж и не говорю – у большинства американские винчестеры последних марок. На все вопросы отвечают, что винчестер или рыболовную снасть «принесло на льдине». Течением, так сказать, – вздохнул Черемисов и задумался. Видимо, близость Америки очень его огорчала и заботила.

В поселке, подвластном Черемисову, действительно, все было имени Святого Лаврентия – и райком, и клуб, и даже гостиница. В чистой маленькой гостинице Леонид Ильич устроил нам пышный прием при участии всей местной интеллигенции числом семь человек. Они продемонстрировали, как нужно пить в Арктике. Оказывается, пить нужно только чистый спирт, а запивать экзотическим для Заполярья кефиром. Это был высший шик!

Накефирившись, Леонид Ильич рассказал, что в прошлом он был главным прокурором Магадана, но интриги и глупый либерализм тезки, то есть Леонида Ильича Брежнева, низвел его, Леонида Ильича Черемисова, до нынешнего скромного положения. «А ведь и здесь при мне опять Лаврентий, но не святой! – со смехом намекал на Берию Черемисов. – Никуда мне от него не деться!» Прилетел, наконец, вертолет, которого мы ждали. Мы слетали на нем в Уэллен – крайнюю точку Чукотки, облетели несколько становищ и возвращались в бухту Провидения, обогащенные всякой всячиной, разысканной и облюбованной Марксом.

От своих сокровищ он совершенно обезумел. В каком-то поселке он выдернул из-под старухи-чукчанки китовый позвонок, которым она пользовалась как табуреткой. Теперь в загруженном вертолете счастливый Марксен сидел на этом позвонке. Он сидел на нем и в самолете, улетавшем с нами в Магадан. Провонявшего китовым жиром и сырыми нерпичьими шкурами Марксена пассажиры отселили в хвостовой закуток, близ туалетов. Здесь, сидя на позвонке, он и завершил свой полет на Чукотку. В общем, мы хорошо поработали: не только запаслись реквизитом и впечатлениями, но и договорились с местными властями о помощи. Было решено, что к нам, на «Ленфильм», откомандируют человек десять толковых ребят из местных. Они будут нас консультировать, построят декорацию – «чукотское стойбище», будут ухаживать за ездовыми собаками и сниматься в качестве погонщиков-каюров. Марксен привез с Чукотки много интересных эскизов. Теперь пришла пора и для актерских кинопроб.

На «Ленфильме» в то время работала большая группа штатных артистов, объединенных в «Студию киноактера». Полагалось начинать пробы именно с них. Это была во многом формальная, но обязательная работа. О ленфильмовских артистах постепенно сложились устойчивые представления: кто на что способен, кому кого играть и т. д. Образовались своего рода киноамплуа.

На роль начальника Чукотки выстроилась очередь из лихих комиссаров пролетарского облика, а на роль чиновника Храмова претендовали артисты самого свирепого вида – белогвардейского! Начались обиды, пошла молва о том, что этот хроникер делает все наоборот. Слухи дошли и до Хейфица. Иосиф Ефимович деликатно посоветовал мне отнестись к студийным артистам более внимательно и даже назвал мне имена. У меня тоже были на примете некоторые имена. Я хотел, например, чтобы Храмова сыграл Алексей Николаевич Грибов. Но сразу начинать об этом разговор я не решался. Великий Грибов мог и не согласиться. Ранг у него высокий, а летать куда-

то на Север – годы не те. На главную роль я намеревался серьезно попробовать Семена Морозова, хорошо снявшегося у Ролана Быкова в «Семи няньках».

Вопреки моим опасениям и даже с энтузиазмом, Грибов согласился сниматься. Это была большая радость. С Семеном Морозовым тоже все, вроде бы, складывалось, но его мужицкая хитринка временами вступала в противоречие с возвышенными речами начальника Чукотки. Начальник нам все-таки виделся «интеллектуалом». Время шло, пробы затягивались, вернее, я их затягивал. Я ждал, когда ассистенты свяжутся с Михаилом Кононовым. Я увидел его в картине Михаила Калика «До свидания, мальчики», и мне показалось, что именно он – самая вероятная кандидатура.

Приехал Кононов, хорошо попробовался и вызвал смятение в худсовете. Слухи подтвердились – хроникер делал все наоборот. Героический комиссар в исполнении Кононова судорожно метался и в патетические моменты срывался на щенячий визг. Как только не называли наши пробы: «это пародия на комиссара!», это «Иванушка-дурачок!». Разразился скандал.

А между тем, на Кольском полуострове, на высокогорном плато Росвумчор прилетевшие с Чукотки каюры [17 - Каюр – погонщик запряженных в нарты собак или оленей. – Ред.] уже тренировали собак, а ленфильмовские плотники сооружали декорации. Уже потекли денежки и на экспедиционные расходы – приближалась зима, а значит, и начало съемок. Оказался под угрозой Его Величество План! Теперь начальство готово было снимать кого угодно, только бы картина пошла поскорее в производство. Меня вызвал Киселев и жалобно попросил «сделать что-нибудь». Я сказал, что никакой катастрофы не вижу, но, для всеобщего успокоения, повторю пробы Кононова. В тот же день я просто-напросто выбрал и снял сцену, где герой по роли должен быть серьезнее, сдержаннее. «Вот! Совсем другое дело!» – обрадовались редакторы. С тех пор, представляя кинопробы начальству, я всегда снимал что-то вроде рекламного ролика и оснащал его соответствующей музыкой, а черновую работу старательно прятал. Любой начальник – прежде всего зритель. Так с ним и следует поступать.

Плато Росвумчор, на котором мы построили наши декорации, находилось в горах, недалеко от шахтерского города Кировск. Здесь добывали руду, содержащую алюминий. Городок был более или менее благоустроен, здесь была гостиница и военный аэродром. Нас привлекало это место еще и потому, что на высокогорном плато дольше держался снег, а постоянные ветры дополняли иллюзию огромного арктического пространства. Снимать в таких условиях было тяжело, но мы выигрывали в достоверности. Яранги, построенные чукчами из привезенных оленьих шкур, охотничье и рыбацкое снаряжение – все было со знанием дела изготовлено и оборудовано самими чукотскими ребятами. Чем невероятнее, анекдотичнее развиваются события в фильме, тем убедительнее должен быть антураж и подробности. Так мы считали.

Выезжать на плато нужно было затемно, с тем, чтобы к восходу уже начинать съемки. Световой день был коротким. Нередко, вместо того, чтобы снимать, мы восстанавливали разметанные за ночь пургой и заваленные снегом декорации. И тут уж было не до чинов – орудовали лопатами и артисты, и вся съемочная группа. Исключение делалось только для Грибова.

Два раза в неделю Грибов должен был являться в Москву на спектакль. Операция «Грибов» проходила таким образом: в Москве после спектакля Грибов садился в «стрелу» и утром был в Ленинграде. Машина отвозила его в аэропорт «Ржевка» прямо к самолету. По договоренности, самолет стоял уже на полосе и опаздывал со взлетом на двадцать минут – иначе не получалась состыковка со «стрелой». После этого – четыре-пять часов болтанки в самолете ИЛ-14, и Грибов прилетает в Кировск. Час – на «реанимацию», как говорил Алексей Николаевич, и сразу же к съемочной группе, на Росвумчор. Через два дня все повторялось, но в обратном порядке. Для пожилого Грибова это было нелегко.

Первой встречи с Грибовым я, честно сказать, побаивался и тщательно к ней готовился. Все-таки, соратник самого Станиславского! Я произнес длинную речь с употреблением различных «станиславских» терминов: «сверхзадача», «сквозное действие» и все такое прочее. Грибов внимательно наблюдал за мной. Видимо, меня ему было жаль.

– Ты хочешь сказать, что Храмов жадный? – спросил Грибов.

– Да! – подтвердил я.

– Ну, так и говори: «жадный», – посоветовал Алексей Николаевич.

Будучи профессионалом высочайшего класса, он не любил абстрактных рассуждений, но реагировал на каждое толковое предложение с полуслова. Для него репетиция с серьезным партнером Николаем Волковым или с чукотским каюром Геной была одинаково важна. Первый его совет, касавшийся работы режиссера с актером, был наглядным.

– Ты козу когда-нибудь пас? – спросил Грибов.

– Нет, – удивился я.

– Вбиваешь колышек, – продолжал Грибов, – привязываешь к нему козу. Она ходит по кругу и пасется. Чем длиннее веревка, тем больше козе простору и травки. Она думает, что пасется на свободе, сама по себе, и молочка прибавляет. Держи артиста на длинной веревке! Но все-таки держи! Я свято придерживаюсь его совета! Сперва

меня пугали, что Грибов увлекается спиртным, но ни разу на съемках нашей картины ничего такого он себе не позволил.

В несъемочные и нелетные дни Грибов бродил по гостинице и томился. Однажды в мой номер явился официант с тележкой, уставленной всякими разносолами. «Алексей Николаич велели сказать, – объявил официант, – что оне приглашают вас отобедать!» Я был потрясен старорежимными ухватками молоденького официанта, а также невиданной сервировкой. Стол был накрыт на две персоны по всем ресторанным правилам и уставлен всякими соусничками и хрусталем. Ничего такого в городе Кировске просто не могло быть по определению.

Я стал ждать. Пришел Грибов.

– У вас праздник? – спросил я.

– Да нет, заскучал от безделья. Сейчас пообедаем. Садись.

Грибов принялся меня угощать и одновременно наставлять.

– Нет, не так начинаешь, – озабоченно говорил он, – налей сначала в эту рюмочку, а потом вот сюда клади семужку.

Он подкладывал мне закуски и советовал, что с чем сочетать. Ничего он не пил и мало ел, но вскоре возникло впечатление, что он слегка пьян. Видимо, пьянило его предвкушение, обстановка и сам по себе гастрономический процесс. Глаза его блестели, он раскраснелся и стал мне рассказывать про старомхатовские пиры, про великих собутыльников и партнеров, с которыми ему привелось служить в театре. О своем пристрастии он говорил с добродушным юмором, как человек, наблюдающий со стороны.

– Если я запивал, никто меня по Москве не мог разыскать, – хвастался он, – а я на ипподроме в конюшнях скрывался! Но я, как честный человек, театру преданный, за неделю предупреждал, чтоб готовили замену!

После торжественного обеда Грибов меня поблагодарил.

– За что, Алексей Николаич? – удивился я.

– А если б мы с тобой вот так, не спеша, не пообедали, я бы, может, и запил! – пояснил Грибов.

Охватывала, видимо, старого мхатовца тоска зеленая в нерабочее время! Потом я узнал, что Грибов к этому обеду долго и основательно готовился, а с официантом даже репетировал. Работать в кино – большое счастье, хотя бы потому, что встречаешься с необыкновенными, яркими людьми.

Впрочем, даже и самые обыкновенные, но увлеченные общим делом люди порой проявляют на съемках истинную самоотверженность. Так было в нашей второй экспедиции. Действие фильма продолжается весной и летом, следовательно, наше чукотское стойбище, до сей поры укрытое снегами, должно возникнуть перед зрителем уже в летнем облике – на фоне сопков и скал, на берегу моря. Как это ни странно, но похожий пейзаж мы обнаружили в Крыму под Судаком.

С Розовским и Марксеном мы целыми днями карабкались по скалам, крейсировали на шлюпке вдоль побережья и, когда, наконец, обнаружили подходящее, совершенно пустынное, место, были схвачены пограничниками и доставлены в штаб какой-то очень секретной ракетной базы. Мы долго оправдывались и объяснялись, пока скучающие ракетчики не согласились нам помочь под большим-большим секретом. Мы обещали, что сделаем все быстро и бесшумненько. Ракетчики были люди наивные и надеялись, что немного разнообразят свою монотонную жизнь. Но жизнь у них началась поистине захватывающая.

Сначала под большим секретом прибыли грузовики со стройматериалами и осветительной аппаратурой. А где приборы, там, естественно, и грохочущие передвижные электростанции – лихтвагены. Потом, «в порядке исключения», плотники построили целое стойбище с чукотскими ярангами, а на следующую ночь на ракетную базу привезли два десятка визжащих лохматых, ездовых собак. Собакам в Крыму было жарко, и они выли круглосуточно. Жарко было не только собакам, но и людям. Актерам и массовке приходилось сниматься в мехах и кухлянках: все-таки, лето у нас в картине якобы прохладное, чукотское.

Многочасовые съемки под палящим крымским солнцем произвели на пограничников огромное впечатление. Они увидели собственными глазами, какой ценой достаются метры и секунды кинозрелища. Они нас зауважали и всячески помогали. Они простили нам даже нечто ужасное. Наверное, понятно, что желающих сниматься в таких условиях было немного, и однажды по местному радио я услышал такое объявление: «Граждане отдыхающие азиатского облика! Студия «Ленфильм» приглашает вас на съемки фильма "Начальник Чукотки". Сбор на семнадцатом километре у ракетной базы». Такое приглашение сделала на весь Крым милая девочка, помреж Оля. Олю не «привлекли» только потому, что Грибов устроил творческую встречу со всеми местными начальниками. Такова уж неодолимая сила искусства!

Пришло время груды отснятого материала выстраивать в соответствии с придуманным и написанным сценарием. Я с тревогой обнаружил, что материал мне противится – то, что прежде казалось важным, он начинает оттеснять, а то, что я считал побочным, само собой выдвигается на первый план. Смешно становится совсем не в тех местах, на которые мы рассчитывали, а энергично смонтированные монтажные фразы вдруг останавливаются и кажутся затынутыми. Все, что было записано на бумаге и казалось смешным, ироничным, многозначным, нужно было еще

превратить в единое зрелище!

Очень часто информация, содержащаяся в мизансцене, монтажном стыке или детали оказывалась более емкой и многозначной, нежели длинные монологи. Часто обнаруживалось, что два формально разных эпизода все-таки повторяют, вытесняют друг друга. Выяснилось, например, что длиннейшая сцена в начале, где комиссар долго собирается в путь и где поясняется для зрителя военно-историческая обстановка на Чукотке, не нужна вообще и даже вредна, потому что она «не в жанре». Гораздо веселее открывать эту «обстановку» постепенно, вместе с героем-лженачальником.

Много недоразумений и споров вызывало непонимание первыми зрителями-редакторами особенностей жанра. И я придумал вступление, где глобус крутится, как магнитофонный диск, по воле авторов «отматывается время». Глобус или откручивается в революционное прошлое или останавливается, чтобы зритель разглядел и расслышал происходящее. Позже, этот глобус еще и наглядно иллюстрировал кругосветное путешествие начальника Чукотки. Этот прием дал возможность, время от времени, напоминать зрителям, что разговор идет не всерьез.

Но только после жестокой расчистки материала от бытовых мотивировочных эпизодов удалось выйти «на оперативный простор». Теперь веселее пошло дело и на озвучании – мы, наконец, поняли, какую картину мы снимаем. В фильме много реплик на чукотском языке. Первые же пробы нас вдохновили. Незнакомые с техникой синхронного озвучания, ребята и девушки с Чукотки мгновенно освоили все премудрости и вкладывали в артикуляцию слова и фразы со снайперской точностью. От природы одаренные хорошей реакцией и чувством ритма, они превратили процесс озвучания в удовольствие и забаву.

Я обратил внимание на то, что в некоторых случаях, вкладывая в уста исполнителей непонятные для меня фразы, они уж очень бурно веселились. На мои вопросы они отвечали, что они радуются тому, что все хорошо получается. Проверить, что они там говорят на самом деле, было невозможно. Я тайком пригласил на просмотр уже озвученных сцен специалистку по чукотскому языку. Это была милая девушка-аспирантка. Некоторые фразы, вызывавшие у моих чукотских артистов особенно бурное веселье, она переводить отказалась. Оказывается, в массовые сцены, где чукчи конфликтуют с Храмовым-Грибовым, ребята добавили совершенно нецензурные словечки и выражения. Я, конечно, возмутился, а они удивились.

– Мы всегда так говорим, когда сердимся, – объясняли они.

Наконец, пришло время показывать худруку Хейфицу вчерне смонтированную и озвученную картину. Мы сидели вдвоем в маленьком зальчике. Хейфиц сел впереди, и его реакций мне не было видно. Помня предысторию кинопроб и мытарства со сценарием, я порядком волновался. Никаких реплик и замечаний по ходу просмотра не было. Экран погас, вспыхнул свет. Хейфиц все так же сидел перед экраном и молчал.

– Что-нибудь получилось? – спросил я.

– Более чем, – сказал Хейфиц, пожал мне руку и вышел из зала.

Премьера в Доме кино у нас была пышная, театрализованная. У входа в зал и на контроле стояли красноармейцы с примкнутыми штыками. На штыки они нанизывали пригласительные билеты. На билетах было написано: «Мандат на кинопремьеру. Махорку не курить! На пол не плевать! Семечки не лузгать!» Зал был полон. На премьеру явился весь театр Ленсовета во главе с Владимиром. Они пришли посмотреть на Алексея Петренко, который дебютировал маленьким, но смешным эпизодом. Эпизод этот был почти перед самым концом фильма: начальник Чукотки, лишенный миллиона, потому что его сначала обворовали беспризорники, а потом остатки реквизировали в ЧК, бредет по пустынному ночному Петрограду. Дорогу ему преграждает громила в исполнении Петренко и угрожает ножом.

– Гони монету, – хрипит громила.

– Уже, – отвечает начальник Чукотки и печально бредет дальше.

Незадолго до премьеры меня вызвал Киселев и строго сообщил мне, что фильм в ЦК принят, но необходимо вырезать эпизод с громилой.

– Почему? – удивился я.

– Не рассуждать, а вырезать! – страшно закричал Киселев.

Я рассудил, что это усечение можно сделать и после премьеры – перед тиражированием, а сейчас не стоит огорчать Петренко. Тем не менее, Киселев без моего ведома заставил монтажниц эпизод вырезать.

Досмотрев фильм до самого конца и не обнаружив своего эпизода, Петренко был потрясен. И понять его было легко. Ссылки на ЦК он отверг.

– Какое мне дело до вашего ЦК, когда я перед коллективом и перед самим Владимиром опозорился! – возмущался Петренко.

Холодок между нами прошел только после моего фильма «Женитьба», где он замечательно сыграл Подко-лесина. О загадочном усечении громилы мне рассказал позже сам Киселев. Какому-то цековскому инструктору показалось, что в этом эпизоде мы, авторы, чекистов, реквизировавших у героя миллион, уподобляем тому самому громиле. Болезненная подозрительность этих многочисленных инструкторов доходила до абсурда. Позднее я уже научился

философски относиться к этому. После «Начальника Чукотки» мне прислали разгромное письмо из Магаданского обкома. И пришлось подробно объяснять, что наш фильм – всего лишь комедия и не претендует на анализ «революционной обстановки» на Чукотке. Письмо это я растиражировал и рассылал потом в различные возмущенные инстанции, заменяя только адреса и имена руководителей.

Мы считали большой удачей, что фильм пока еще не прихлопнули. Но потом картину неожиданно наградили комсомольской премией «Алая гвоздика» и возмущенные отзывы сразу прекратились – сменились на хвалебные. Однажды меня пригласил лукавый Гринер. Он спросил, каковы мои планы на будущее.

– Ведь вы же работаете в нашем Первом творческом объединении! – торжественно сказал Гринер. – Я должен знать ваши планы!

Марафон

Если человек долго рисует картины или долго сочиняет стихи, это красиво называется «творческий путь». Но тут вызывает сомнение слово «творческий», потому что, насколько он воистину окажется творческим, определяют другие и не сейчас. Со словом «путь» дело обстоит еще хуже. В кинематографе это скорее тропинка, петляющая в дремучем лесу. Общее направление угадываешь по наитию и приметам: с какой стороны растет мох на пне? или куда тянутся еловые лапы? При этом постоянно блуждаешь, петляешь или бродишь по кругу.

В ранние леннаучфильмовские годы я знал старого кинооператора Данашевского. Он был белоэмигрантом, жил и работал в Голливуде, но после победной Отечественной войны, охваченный патриотическим порывом, попросился в Советский Союз. Его впустили, дали ему комнатушку в коммуналке и работу на «Леннаучфильме». Серьезную операторскую работу ему не доверили – а вдруг он будет искажать советскую действительность? Пристроили Данашевского в цейтраферную кабину. Здесь, в тесной клетушке день и ночь пощелкивал, включаясь и выключаясь, киноаппарат для замедленных съемок – по кадрику в час или в день аппарат фиксировал рост былинки или раскрытие цветка. Работа была, прямо скажем, не очень увлекательная.

Однажды Данашевский решил влиться в студийный коллектив и явился на молодежную грибную вылазку. Он был обут в американские армейские суперботинки, одет в невообразимый российский ватник и ковбойскую шляпу. Запасся он также огромной корзиной, компасом, лупой и альбомом, где были изображены в красках съедобные российские грибы. По прибытии на грибное место Данашевский определился по азимуту и углубился в лес. Обычно у общего костра оставался за сторожа режиссер Гавронский. Он приезжал в лес только для того, чтобы организовать пикничок и под рюмочку пожаловаться на шалопаю-племянника Оську, который совсем сбился с пути. У костра часто оставался и редактор Саша Володин со своим литературным кружком. Он создал кружок, чтобы читать его членам собственные рассказы, которых никто не хотел печатать. Вы можете спросить, к чему это я вспомнил? Я вспомнил, потому что Гавронский ошибся на счет племянника Оськи. Племянник хоть и «сбивался с пути», но после стал Иосифом Бродским. А Саша Володин тоже, так сказать, плутал и насильно читал нам свои творения, не задумываясь, к чему это приведет. А вот Данашевский всегда точно выходил по азимуту, но ни черта не находил – красивые альбомные грибы совсем не похожи были на настоящие. Подзабыл он, верно, в далекой Калифорнии и о том, что в российском лесу ничего не найдешь, если хорошенько не поплутаешь. Это, опять-таки, – к вопросу о «творческом пути».

Марафоном описываемый период своей жизни я называю потому, что почти без пауз и передышки сделал подряд пять фильмов. Марафон этот начался случайно и даже не с моего фильма, а с чужого.

Молодой драматург Юрий Клепиков написал сценарий, который назывался: «Про Асю-хромоножку, которая любила, да не вышла замуж». Это была простая история о простых людях с их повседневными заботами, радостями и печалью. Да и события развивались в сценарии совсем не на стройках коммунизма, а главная героиня была совсем не героиня, а тихая девушка-хромоножка. Поставил картину молодой режиссер Андрон Кончаловский. Фильм привел в ярость руководителей, и его немедленно «положили на полку».

Пока он лежал на полке, Клепиков написал новый сценарий под названием «Мама вышла замуж» и принес его в творческое объединение Хейфица. Сценарий всем очень понравился, но редакторы опасались, не повлияют ли злоключения «Аси-хромоножки» и на «проходимость» новой работы Клепикова. Перспектива вполне реальная – у начальства хорошая память. И тут, поразмыслив, в объединении вдруг решили предложить этот сценарий мне, несмотря на то, что для многих я еще по-прежнему оставался хроникером, в лучшем случае, специалистом по бобикам, барбосам и чукотским ездовым собакам. Видимо, после официального премирования «Начальника» я показался начальникам достаточно «надежным». Впрочем, аргументация начальства была мне безразлична – мне нравился этот нежный, умный сценарий.

В сценарии «Мама вышла замуж» три действующих лица: ремонтерша Зина – мать-одиночка, подросток Борька – Зинин сын и третье лицо: бульдозерист пьянчуга Витя. У Зины и Вити началась любовь, а Борька почувствовал себя лишним. Вот и все. Но были в сценарии точно выписанные характеры и узнаваемая наша жизнь. Такой сценарий в

то время был большой редкостью. Обычно реалии жизни отодвигались куда-то на второй план, а на первый вылезала «идея» или «социалистическая мораль». Люди и события становились лишь поводом для авторских поучений. Сценарий Клепикова выгодно отличался от этих произведений. Соблазн был велик, и я взялся за картину.

Пришла пора очередного комплектования группы и выбора природы. Как утверждал художник Исаак Каплан, выбор природы – это самый счастливый период в жизни кинематографиста. Тогда никто ни за что пока не отвечает и еще не знает, чем дело кончится. Каплана я тоже пригласил на новую картину. С ним и с его женой Беллой Маневич меня потом надолго связала жизнь и работа. Они были талантливы, они идеально дополняли друг друга. Если Каплан работал играючи, с шуточками и прибаутками, то Белла являла собою пример неистовой приверженности делу. В войну она была медсестрой и теперь, громя «лентяев», «дураков» и «бездарей», позволяла себе и более крепкие фронтовые выражения. Исаак Каплан брал обаянием, а Беллы все побаивались. Потому результат был всегда эффективным.

Капланы были верными сотоварищами, готовыми помочь, понять и поддержать в трудную минуту. Я им многим обязан. Получилось так, что после первых двух картин у меня сложилось что-то вроде постоянной группы, а если говорить об актерах, то, стало быть, «труппы». Случайности кинематографической жизни нас постоянно разлучали, но при первой же возможности мы воссоединялись. Так было с Юрием Векслером, который снял большую часть моих картин, с Фрижеттой Гукасян, которая редактировала мои картины чуть ли не со вгиковских времен. Так было и со многими любимыми артистами: Михаилом Кононовым, Олегом Ефремовым, Евгением Леоновым, Юрием Богатыревым, Борисом Брондуковым, Олегом Борисовым, Станиславом Любшиным, Людмилой Зайцевой, Натальей Егоровой, Светланой Крючковой. Бесконечная моя признательность им всем – тем, которые есть и которых уже нет.

На новой картине с актерами сложилось все славно и гармонично.

– Куда ты меня тянешь? – спросил Олег Ефремов. – Я ведь сугубо положительный социальный герой!

На это я ответил, что Витя-бульдозерист тоже социальный герой, но сугубо российский.

– Пожалуй, – рассмеялся Ефремов.

Сценарий Олегу тоже понравился, и на этом переговоры закончились. Как мне передавали, Киселев тут же доложил по инстанциям, что с подозрительной картиной все в порядке! В главных ролях у Мельникова снимаются: народный и положительный Олег Ефремов, симпатичная хохотушка из комедии «Девчата» Люсьена Овчинникова и герой из «Иванова детства» Коля Бурляев. Меня больше не тревожили.

Нам хотелось, чтобы в картине из грубоватой обыденности постепенно прорастала и обнаруживалась нежность, даже уточенность в отношениях между героями. Мы попробовали заявить эту «обыденность» с помощью модной тогда скрытой камеры. Для этого в людном месте на Невском соорудили фальшивую афишную тумбу, проделали в ней дырку для объектива и посадили в тумбу оператора Долинина наблюдать за этой обыденностью. На первой же съемке помреж с хлопучкой встала перед тумбой и, согласно технологии, крикнула на весь Невский: «Мама вышла замуж! Один – дубль один!» Помреж громко шелкнула хлопучкой, и на этом съемки закончились. Мальчишки прыгали перед нашей засадой и кричали: «скрытая камера! у них скрытая камера!» Народ стал, на всякий случай, расходиться, вокруг тумбы образовалась пустота.

Но дело было не в технических сложностях. То, что мы потом увидели на экране, было не «обыденностью», а лишь скоплением нехудожественных случайностей. Искать нужно было в другом. Мы построили декорацию «квартира Зины». Это была точная копия «хрущобы» с пятиметровой кухонькой, узеньким коридорчиком, «го-ванной» и двенадцатиметровой комнатухой. Хрущоба была обставлена и отфактурена Капланами идеально. На этом пространстве, на расстоянии вытянутой руки, должны были постоянно общаться и действовать герои картины. Здесь, под направленным на них в упор объективом, должна была зреть домашняя драма, тихая, состоящая из мелочей, но такая важная для героев.

За недостатком места камеру Долинин подвесил, и она скользила по рельсу, прикрепленному к потолку. Передвижения актеров и камеры вычисляли буквально по сантиметру. Однажды нас посетила звезда немого кино Глория Свенсон. Восемидесятилетняя молодящаяся старушка явилась с огромной свитой. В ней были «корреспонденты», т. е. наши и американские гебешники (холодная война была в разгаре), молодой бойфренд с любимой собачкой звезды и бдительные Киселев с Гринером. Гости остановились в нерешительности. Из декорации доносились голоса и звуки, но как проникнуть в декорацию, никто не знал. Киселев крикнул: «Эй, кто-нибудь!», появился плотник и снял одну дверь с петель (иначе войти было невозможно). После этого звезда проникла в декорацию. Бойфренд и гебешники тронулись было следом, но в декорации никто больше не умещался.

Мы репетировали в этот момент сцену семейного обеда, где Зина, для примирения сторон, ставит Вите четвертинку. На столе был соответствующий исходящий реквизит: соленые огурцы, лук и прочее, а вокруг, на пятиметровом пространстве кухни, теснилась группа и актеры. Глория оказалась у стола и сказала Олегу Ефремову: «Хэлло!» Переводчик находился за пределами декорации, а Олег знал только те английские слова, которые слышал иногда на фуршетах. О звездном ранге появившейся иностранки мы ничего не знали. Глория тоже не поняла, что она в декорации и на съемках – очень уж все было натуральное, а кинокамера, ею не замеченная, висела под

потолком.

Олег сказал фуршетные слова и тут же налил в стакан водки (водка на наших съемках была настоящая). Глория ничего не поняла, но водку выпила. Они с Олегом сразу же поняли друг друга. Завязалась беседа. Олег стал учить звезду, как нужно правильно обмакивать зеленый лук в солонку. Маразматическая Глория заявила, что Олега сразу узнала, потому что, кажется, бывала у него на вилле в Ницце. Олег сказал, что виллу продал, потому что тесновата. Так они беседовали, а в это время за пределами декорации нервно прохаживались «корреспонденты» обеих держав, упустившие звезду. На руках у бойфренда непрерывно лаяла звездная собачка. Ее от хозяйки отделяли спины и зады столпившихся зевак. Время от времени Глория кричала собачке что-то успокаивающее. Голос актрисы становился все веселее и беззаботнее, ее реплики перемежались заразительным хохотом Олега Ефремова. Только после того, как все было выпито, Олег и Глория, бережно поддерживая друг друга, появились из декорации. Сопровождающие лица повеселели. Киселев даже спросил, понравилось ли звезде у нас на съемках?

– На каких съемках? – удивилась Глория.

Мы тоже, со своей стороны, были рады, потому что достигли высокого уровня достоверности.

Американцы боготворят своих звезд и позволяют им делать, все, что им вздумается. Однажды мне пришлось присутствовать при одном таком американском «камлании». В один из моментов очередного потепления на «Ленфильме» снималась совместная картина «Синяя птица» с участием Элизабет Тейлор. В это же время с дружеским визитом в Неву вошел американский ракетносец. Команда ракетносеца пригласила Элизабет к себе в гости. Это была внутриамериканская акция, но, по каким-то причинам, на корабль пригласили ленфильмовских начальников и нас с Чурсиной. На палубе в строю застыл весь экипаж ракетносеца. На белых, желтых и черных лицах моряков был мистический страх и обожание. Огромный капитан на негнущихся ногах подмарши-ровал к Тейлор и отрапортовал приветствие. Тейлор поцеловала его, и морской волк чуть не упал в обморок. Элизабет впорхнула на ступеньки трапа, послала воздушный поцелуй экипажу, и стала подниматься на мостик. Морской ветер задирает подол, и, когда звезда поднималась, она постепенно являла взору новые и новые свои прелести. Экипаж, окаменев, следил за этим восхождением. И вдруг командир выскочил перед строем и громко скомандовал: «кругом». Строй дружно отвернулся от божества, а по новой команде, когда Элизабет, наконец, взобралась на мостик, строй снова повернулся. Это было по-детски трогательно.

Потом был обед, на котором звезда потребовала водки. Командир ей рассказал, что на американском флоте уже полтора года действует сухой закон. Звезда помрачнела и сказала, что тогда она поедет к русским матросам. Ракеты у них тоже есть, но зато есть и водка. Командир виновато улыбался, а потом не устоял и сказал, что вопреки вековой традиции, он приглашает мэм осмотреть боевую рубку.

– Боевая рубка – это хорошо звучит, – согласилась Тейлор.

Она вернулась оживленная и повеселевшая. Стала нам рассказывать про съемки на «Ленфильме» и при всех удивляться неповоротливости и косности ленфильмовских служб. Потом всей компанией мы осматривали ракетносец. Элизабет спросила у меня, в какой стороне находится «Ленфильм». Я честно показал. Тогда она попросила командира повернуть одну ракету в сторону «Ленфильма». Командир сказал, что это невозможно. Если ракеты привести в готовность в центре Петербурга, то русские друзья могут неправильно это понять.

– Ну, хоть одну! Ну, пожалуйста! – просила Тейлор.

– Может быть, лучше еще раз прогуляться до боевой рубки, мэм? – предложил командир.

Но Тейлор заупрямилась. Положение у командира было ужасное. Он разрывался между долгом и чувством. Он понимал, что в эти дикие времена могло произойти все, что угодно. Прибежал озабоченный резидент американского посольства по культуре, потом снова убежал. Следом убежал и командир. Наступила пауза. Через некоторое время что-то заурчало, и ракетная установка на корабельном носу стала медленно разворачиваться. Надо было видеть при этом лица ленфильмовских начальников. Элизабет Тейлор захлопала в ладоши. Подошел командир и отрапортовал ей, что он сделал все, что мог. С корабля мы уезжали вместе с американским дипломатом. Он рассказал, что пришлось связаться с Вашингтоном по горячей линии, а также оповестить соответствующие советские службы. Впрочем, демонстрация силы со стороны Элизабет Тейлор на ленфильмовские порядки никак не повлияла.

Съемки на картине «Мама вышла замуж» благополучно продолжались, но появились тревожные признаки стороннего внимания. Один редактор мимоходом сказал мне, что сцену свадьбы Вити и Зины следовало бы вообще не снимать или снять во Дворце бракосочетаний, в торжественной обстановке. Другой доброжелатель предупредил, что на съемку этой сцены кем-то приглашен актер, являющийся штатным инструктором обкома партии. Я знал этого актера – это был типичный стукач. Но прогнать его я не мог. На картине, в окружении Овчинниковой, снимались актрисы, изображавшие подруг главной героини. О появлении на съемках осведомителя они, конечно, уже знали. Сам осведомитель изображал какого-то бригадира. Девчата окружили вальяжного «бригадира» и всячески его улещивали. За свадебным столом они подкладывали «бригадиру» закуски и непрерывно подливали водку. Постепенно бригадир входил в образ и уже не очень понимал, где находится. Когда, наконец, сняли первый дубль, сексот встал и сбивчиво произнес тост «за расцвет советского киноискусства». Потом он громче всех кричал

«горько» и, наконец, был заботливо препровожден за декорацию спать. Боюсь, он мало что смог рассказать потом в Смольном.

Кроме сексота, на «Ленфильм» стала регулярно приезжать главная редакторша Госкино некая Токарева. Каждый раз она требовала показать ей текущий материал, но я, под всякими предложениями, уваливал. Редакторша была томная, уводящая дама, и, когда я жаловался на ее придирки, Ефремов деловито спрашивал: «Может, ее соблазнить?» Наконец, Токарева потребовала показать ей весь отснятый материал картины. Деваться было некуда. Я собрал все дубли, остатки и проклейки, чтобы, по возможности, утомить начальницу и притупить бдительность. Просмотр должен был длиться более четырех часов.

Наверное, судьба картины сложилась бы иначе, если б не одно прискорбное происшествие. По студии пронесся слух, что Токареву обокрали. Но как обокрали! В «проекции номер один», т. е. в просмотровом зале директора студии, всегда была жуткая холодина. Даже в летние дни перед просмотром все утеплялись, а сейчас стояла зима. Зная особенности этого зала, Токарева в дамском туалете решила согреть на горячей батарее импортные штанишки из ангорской шерсти. Пока она наводила марафет, штанишки исчезли. Весть об этом мгновенно облетела студию, потому что секретарша Ксения Николаевна в поисках пропажи лично обошла все отделы и службы. Токарева вошла в зал с каменным лицом. Она уже знала, что все все знают. Теперь каждая незначительная реплика приобретала для нее новый смысл, звучала намеком. Я предупредил Токареву, что, к сожалению, просмотр продлится долго, даже очень долго.

– Ну и холодрыга здесь! – добавил Ефремов. – Не знаю как вы, Ирина Владимировна, а я пойду и оденусь потеплее.

– Начнем, пожалуй! – с наигранной бодростью сказала Токарева.

Начался просмотр. Примерно через час Токарева стала беспокойно прохаживаться по залу. Еще через час она раздраженно заметила, что незачем показывать все дубли подряд. Через полчаса она вдруг заявила, что наш герой – совершеннейший кретин. Тут Олег с обидой заметил, что он все-таки народный артист и худрук МХАТа – почти Станиславский. Токарева спохватилась и сказала, что он играет замечательно, а вот режиссерская концепция...

Но тут в зал вплыла Ксения Николаевна с маленьким сверточком и интимно предложила начальнице «все-таки» пойти и утеплиться. Увидев наши непроницаемые физиономии, Токарева еще больше рассердилась и, обращаясь почему-то ко мне, пообещала поговорить со мной о картине отдельно. На просмотр она не вернулась – якобы опаздывала на самолет. Ничего вроде бы не произошло, но ее отношение к нашей картине, прямо скажем, не улучшилось. У Токаревой ненависть к похитителю штанишек каким-то образом преобразилась в ненависть к картине. Точь-в-точь, как у покусанного Гомелло. Это смешно и анекдотично, но такой была наша жизнь.

Если честно, то мне всегда было жаль тех, кто, исполняя служебный долг, доставляет людям неприятности. Они постоянно живут какой-то двойной жизнью. Знающий, умный редактор написал однажды разгромное заключение на один мой сценарий. В бумагу были вписаны совершенно абсурдные поправки. Я пришел и сказал ему один на один, что это глупость.

– Да, – согласился редактор, – я просто функционирую.

Что уж там редактор! Вся страна вдохновенно вралась себе в то время, сознавая и чувствуя, что попала в тупик. Кто-то уверяет теперь, что он всегда все это знал и понимал. Ну, так тем хуже! Большинство же из нас возмущалось частностями, еще не понимая до конца, что рушится вся система. Впрочем, многие и не желали этого понимать – так было проще жить.

Я получил от Хейфица длинное письмо. Он высказывал сомнения по поводу финала. Финал этот был замечательно придуман Клепиковым. Осознавший свою жестокость сын героини Борька после долгого отсутствия встречается с матерью. Он видит, как мать любит его и страдает. Матери становится плохо. Борька бежит к автомату с газировкой и через пустынную ночную площадь бережно несет матери стакан воды. Это знак милосердия, понимания и любви. Так воспринимается финал.

Хейфиц, однако, встревожен был тем, что этот финал может быть воспринят и по-другому – как жест отчаяния в пустом равнодушном мире. Он предложил переснять финал: пусть сын несет свой стакан через оживленный, бодрый людской поток, чтобы в фильме возник «оптимистический обертон». Я ответил, что от этого финал станет просто однозначным и бытовым. Через несколько дней пришло письмо уже от Клепикова. Мы тогда вели последние досъемки в Тбилиси. Видимо, напор руководства был так силен, что даже неподдающийся Клепиков сдался. Он предложил, чтобы по пустынной площади шел Борька со стаканом, а его вдруг окружила веселая толпа, вывалившаяся с последнего киносеанса. Это было предложение автора, и я должен был с ним считаться. Но мы снимали в Тбилиси, и толпа вывалилась сугубо грузинская. Русскую массовку собрать было невозможно. К счастью! Толпу нам пришлось отодвинуть на второй план, а внимание зрителей сосредоточить только на Борьке со стаканом, что, собственно, и требовалось изначально. Финал спасла случайность, которая в кино нередко оборачивается положительными закономерностями.

Вспоминая об этой картине, я не могу не рассказать о человеке, который существенно ее обогатил. Это

композитор Олег Каравайчук, с которым мы после «Мамы» сделали вместе еще несколько картин. В глазах начальства, Олег был личностью одиозной и непредсказуемой. Он был мальчиком-вундеркиндом сталинских времен и, по слухам, вождем даже подарил ему рояль. Олег об этом никогда не упоминал, но в его скромной квартирке на Васильевском острове действительно имелся роскошный рояль. Непременной частью его облачения были богемные береты. На полированной крышке рояля всегда стояли в ряд суповые тарелки с натянутыми на них для просушки беретами. Олег тщательно следил за тем, чтобы его головные уборы выглядели парадно. Из-под Олегова берета всегда ниспадали длинные волосы. Длинные волосы и бороды были почему-то особенно ненавистны начальникам тех времен. Борода у Олега, правда, росла не очень, но все равно, он вызывал подозрения.

Был даже приказ по Госкино, запрещающий приглашать на «Ленфильм» композитора Каравайчука. Дело в том, что когда-то он должен был срочно написать музыку к фильму «Поднятая целина». Фильм выпускали к важному юбилею. Как раз в день записи оркестра вдруг изменился порядок оплаты музыкантов. Прежде платили за время записи, и музыканты, не спеша, с перекурами совершенствовали качество. Теперь им стали платить за количество записанной музыки, и все стали спешить и халтурить. Олег с презрением бросил им всем на попирты деньги из собственного кармана, забрал партитуру и удалился. За это он и был проклят с лишением права работы на «Ленфильме». Тогда талантливого композитора стали приглашать на «Мосфильм».

Но и там с Каравайчуком стали происходить разные скандальные случаи. Однажды, накануне его приезда в столицу, на Красной площади произошла попытка саможжения. Весь последующий день площадь была под особым вниманием агентов ГБ – мы ведь всегда были крепки задним умом. И вот, на главной площади столицы появился длинноволосый странный человек в легкомысленном берете и пальто-балахоне. Его попросили предъявить документы. В ответ человек пропел фальцетом «ку-ку!» – было у Олега такое шутовское приветствие, а паспорта он с собой никогда не носил. Каравайчука взяли под локотки и повели в особое помещение под ГУМом. Там неизвестного обыскали и нашли у него скомканный телеграфный бланк. В телеграмме было написано: «Просим срочно прибыть переговоры. Комитет девятнадцати». У Каравайчука стали сразу же спрашивать про этот комитет, но Каравайчук заявил, что он свободный человек и не желает ни перед кем отчитываться. Тогда его повезли в другой комитет – по слухам – на Лубянку. Еще бы! Накануне было саможжение, а теперь вот объявился еще и таинственный комитет. Только к вечеру выяснилось, что Каравайчука пригласили писать музыку для фильма под названием: «Комитет девятнадцати» и просили явиться на переговоры.

Перед записью оркестра у Каравайчука иногда возникали экстравагантные требования. Однажды, записывая музыку к моей картине «Ксения, любимая жена Федора», в перечень ударных инструментов композитор включил два килограмма парной говядины. Каравайчука повезли на рынок, и он лично выбирал эту самую говядину. Оркестранты уже привыкли к его странностям, и ударник, заглядывая в ноты, деловито шлепал куском говядины по деревянной доске. Всем было интересно – Каравайчук добивался неожиданных звучаний и звуковых эффектов самыми необыкновенными способами. Несмотря на его странности и капризы, его любили. И любили его музыку, всегда приносящую нечто неповторимое, многозначное в каждый фильм.

Наконец, с готовым фильмом «Мама вышла замуж», в сопровождении взволнованного Киселева, меня повезли в Смольный. Все было, как всегда: за барьером с непроницаемыми лицами сидели партийные руководители, а в зале – инструкторы. Их было больше, чем обычно. Киселев мне шепнул, что, поскольку фильм про рабочий класс, на просмотр приехал секретарь ЦК по строительству. Посмотрели фильм. Наступило молчание. Первым, вопреки установившемуся порядку, взял слово один из руководителей. Он спросил, нельзя ли сделать так, чтобы бульдозерист Витя был непьющим. Киселев вскочил и поспешно сказал, что, конечно, можно.

– А что думает режиссер? – спросил секретарь.

Я сказал, что для этого нужно переснять картину, потому что в этой Витиной слабости причина основного конфликта.

– Все у вас держится на этом? – спросил руководитель и выразительно щелкнул по шее.

Инструкторы подобострастно засмеялись. Поднялась Пруглова, секретарь по пропаганде, бывшая передовая учительница.

– А как вы относитесь к сцене на крыше? Женская бригада у вас загорает в полураздетом виде! – сурово спросила Пруглова.

Я понял, что раздевать сейчас будут меня. Но тут из-за барьера выскочил человек, похожий на рабочего Максима из фильма Козинцева «Выборгская сторона». Это и был секретарь ЦК.

– Замечательная картина! – выкрикнул Максим. – Наконец я увидел живых людей, а то у нас в кино какие-то куклы в чистеньких комбинезончиках!

Максим хвалил фильм за то, за что все его ругали.

– Пьют? – рассуждал секретарь. – Конечно, пьют, но люди-то хорошие!

Руководители слушали гостя с каменными лицами.

«Победа!» – радовался Киселев. Но он поспешил. На следующий день в «Ленинградской правде» появилась статья «Диагонали любви на экранах». Я даже и не сразу понял, что это про нашу картину. За ночь опять все переменялось. Теперь картину опять ругали, но уже основательно и подробно. Нас обвиняли в оглушении рабочего класса – строителя коммунизма. Вместо того чтобы жить одухотворенной жизнью, герои картины живут от полочки до полочки, сквернословят и пьянствуют. В картине приведены образчики диалогов, якобы звучащих с экрана. Диалоги были попросту придуманы какой-то Калентьевой. От имени зрителей она клеймила авторов за очернительство и «мутный поток лжи». Времена были хоть и не сталинские, но такой статьи было достаточно для самых суровых мер по отношению к авторам.

Незамедлительно последовало наказание. В Госкино решили отнести картину к третьей категории качества и «не рекомендовать» ее для широкого проката. На иезуитском чиновничьем языке это «не рекомендовать» означало – запретить. Система кинопроката была тогда централизованной, и потому фильма не увидел широкий зритель ни в одном клубе, кинопередвижке и большом кинотеатре. Картину «Мама вышла замуж» большая часть зрителей посмотрела лет через пять, только когда ее показали по телевидению. Но и тогда, теперь уже телевизионные начальники, решили ее подредактировать. Во время телепоказа я обнаружил, что из фильма исчез один эпизод. В нем Зина и Витя резвились на качелях в парке культуры под модную в то время песенку «Хмуриться не надо, Лада!». Я долго гадал, за что этот эпизод вырезали? Потом мне на ТВ объяснили, что дело было в семидесятом году, когда страна праздновала столетие Ленина. Вот тогда и резанули этот эпизод. Ведь Зина и Витя веселились под куплет: «Нам столетия – не преграда!» Какое же изощренное, больное воображение нужно иметь, чтобы обнаружить в этой фразе крамолу?!

По части невезения «Мама» побила все рекорды. С тех пор, к сверхъестественной бдительности чиновников, к взлетам и падениям, успехам и провалам я стараюсь относиться спокойно. Это неизбежный риск. Он неотъемлемая составляющая избранной профессии. Я часто размышлял потом, как мне строить дальше свою ленфильмовскую жизнь? «Чудище обло, озорно, стозевно и лайя!» Так, кажется, называл Радищев российскую государственную машину. Это саморегулирующееся и самодостаточное устройство. Оно запрограммировано только на самозащиту. От него не следует ждать понимания и сострадания. Пройдет немало лет, прежде чем эта система перезагрузится в интересах своего хозяина – человека. А пока – это данность и противостоять ей можно только, сочувствуя человеку, всеми силами утверждая его самоценность, его человеческое достоинство. Сказано, конечно, пышно, однако иногда полезно взбадривать себя высокими словами.

Мы с Валуцким решили написать комедию. Настоящую, веселую комедию – почти сказку с шутливой моралью. Назидательные частушки должны были распевать под балалайку популярные в то время «Ярославские ребята». Сценарий состоял из семи новелл – по числу невест, к которым едет знакомиться по переписке демобилизованный ефрейтор Костя Збруев. Начался славный период безответственного трепя, сходный с временами «Начальника Чукотки». Жена Валуцкого Алла Демидова терпеливо переносила наше чудовищное круглосуточное пение – частушки мы придумывали сами и сами же их исполняли.

Так продолжалось до тех пор, пока укушенный редактор Гомелло не объявил на худсовете, что наш замысел – невыносимая пошлость. Однако мы уже были не те и возмущение Гомелло восприняли как добрый знак – если Гомелле не нравится, значит, в сценарии есть что-то живое. Сценарий мы написали быстро. На главную роль предполагалось взять Семена Морозова. Собственно, для него эту роль мы и придумали. Потом начались поиски невест-исполнительниц. Передо мной проходили десятки претенденток. Я обосновался для этой цели в московской гостинице «Юность». Это был, прямо скажем, неудачный выбор. Гостиница предназначалась ЦК комсомола для приезжего руководящего персонала. В крохотных номерах была тюремная меблировка: привинченные к полу металлические табуретки и стол, а также металлическая кровать-лежанка, которую на ночь выдвигали из стены, а утром задвигали. Бьющиеся предметы: стаканы, вазы, плафоны заменены были на пластмассу. Все было предусмотрено для того, чтобы буйное комсомольское племя чего-нибудь не порушило. Дежурные комсомольцы и комсомолки с красными повязками круглосуточно прохаживались по коридорам, выискивая аморалку.

Вот в таких условиях я и начал отбор. Ежедневно, утром и вечером ко мне являлись с получасовыми интервалами хорошенькие девицы. На вопросы дежурных я объяснял, что все они приходят ко мне по делу. Дежурные сначала нехорошо улыбались, а потом, видимо, сообразили, что такая интенсивная аморалка практически невозможна. Но однажды, когда ко мне явилось одновременно три девицы, порочное любопытство дежурных прорвалось. Без стука распахнулась дверь, и в номер ввалилась толпа. Все были с красными повязками, а из коридора еще тянули шеи два милиционера и лично директор гостиницы. Они не увидели ничего интересного – мы беседовали и пили чай. «Безобразия!» – почему-то крикнула самая активная дежурная и захлопнула за нами дверь.

Актерские смотрины – процедура сложная и тягостная. Тягостная потому, что постоянно приходится отказывать, и еще потому, что боишься ошибиться. Ведь в твоих руках человеческая судьба. Как ты не стараешься расположить к себе артиста, разговорить его, а напряжение, скованность все равно остается. Любое твоё слово, реакция воспринимается претендентом как сигнал «да» или сигнал «нет». Даже очень талантливые и уверенные люди в

таким стрессовом состоянии выглядят неестественно и скованно. Это нужно всегда принимать в расчет. Одни приходят подготовившись, «в образе», в надежде произвести впечатление. Одним хочется выглядеть поумнее, другим – покрасивее. За день смотрин голова идет кругом. Однажды в череде предполагаемых «невест» ко мне пришла молоденькая выпускница ВГИКа и по ходу разговора принялась расхваливать своих однокурсниц.

– Вы посмотрите Машу! Она такая талантливая! – рассказывала она. – А Надю с параллельного курса вы еще не видели?

Обычно в таких случаях соперниц элегантно топят, а эта все делала наоборот – она расхваливала возможных противниц с искренним энтузиазмом. К концу вечера, перелистывая записи с крестиками, ноликами и всякими пометками, я не мог отыскать фамилию странной девицы. Пришлось звонить ассистентке и описывать приметы.

– Да ведь это же Лена Соловей, – сказала ассистентка, – только она на такое способна!

Я вызвал повторно, уже на кинопробу, эту Лену Соловей, и потом она замечательно сыграла в «Семи невестах» зануду-медсестру. Ее сразу же заметили, и началась череда ролей, пришла известность, слава. Конечно же, Лена все равно была бы замечена, но это могло произойти значительно позже. Часто спрашивают, по какому принципу, по каким признакам режиссер делает окончательный выбор? Не знаю. Здесь есть какая-то тайна. В молодости – это интуиция, а с годами – опыт. Бывают, к сожалению, и ошибки. Но бывает и так, что выбор сделан правильный и актриса хорошо проведет роль. Но – и только! Диапазон, масштаб дарования оказывается скромным. Это невесело, но это – жизнь!

На роль одной из невест я пригласил Наталью Варлей, уже снявшуюся у Гайдая. Остальные снимались впервые. Многие тоже были замечены и потом снимались довольно часто. На «Семи невестах» я впервые познакомился с Василием Васильевичем Меркурьевым. Его уже подзабыли и редко приглашали на съемки. Мы надеялись, что появление на экране любимого артиста станет приятным сюрпризом для зрителей. Василий Васильевич, а коротко – Вас-Вас, был еще вполне работоспособен, но иногда забывал текст. Приходилось в разных потаенных местах декорации и на щитах за камерой размещать отрывки фраз, написанных крупными буквами. Вас-Вас изобретательно придумывал себе мизансцены и, передвигаясь от шпаргалки к шпаргалке, произносил без запинки длинные тексты. Ему так это понравилось, что на следующей картине он сам попросил меня придумать для него какую-нибудь «рольку».

Тогда же мы впервые встретились и с Леной Куравлевым. Между кинематографистами Москвы и Ленинграда в то время шел особенно активный обмен актерами, режиссерами, сценаристами. По существу, это была единая киношная среда. В вагоне «Красной стрелы» обязательно обнаруживался кто-нибудь из знакомых. Тогда начинался обмен новостями, слухами и анекдотами. Иногда в двухместное купе набивалось по шесть-восемь человек. Спорили, шутили, иногда и пили всю ночь. А утром с больной головой выходили на ленинградский или московский перрон, чтобы сниматься на студиях или играть в театрах. Такие утренние приезды Ефим Копелян называл: «утро стрелецкой казни».

Между тем, съемки на «Семи невестах» шли на удивление легко и плодотворно. Параллельно с основными актерскими сценами дополнительная группа снимала путешествия Збруева от невесты к невесте. Она снимала южные, северные и западные края, различные пейзажи и путевые сценки. В целом, все это смотрелось весело и свежо. На премьере в московском Доме кино я предупредил собравшихся, что им предстоит посмотреть лучшую комедию года. Публике не понравилась моя самонадеянность. Тогда я предложил считать картину также и худшей комедией года, потому что в том, семьдесят втором, году наша картина была единственной кинокомедией.

После премьеры мы, как наш герой Збруев, проехали из конца в конец страны, встречаясь со зрителями. Картину принимали хорошо. Позже выяснилось, что «Семь невест» посмотрело более тридцати миллионов зрителей. Конечно же, это было приятно – особенно в контрасте с мытарствами предыдущей работы. Востребованность картин такого жанра странно соседствовала в то время со снисходительно-ироническим отношением к «низкому жанру» со стороны профессионалов-ценителей. Это объяснимо. Ироническая сущность комедии невольно противостояла казенному пафосу, заказной риторике многих одобренных свыше кинопроизведений. Комедия предполагала какой-то особый, раскованный тон, неформальный взгляд на действительность и человека. А это привлекало зрителей возможностью не только повеселиться, но и подумать, на полтора часа освободившись от бесконечных пафосных призывов и поучений.

Знатоки-ценители были, конечно же, слугами государевыми, как, впрочем, и все мы – оплаченные служащие государственных студий, театров, издательств и т. д. Разница была только в том, что одни служили верой и правдой, а другие пытались служить не столько верой, сколько правдой. Хорошо теперь писать и говорить все это задним числом, но повседневная жизнь конкретна и непредсказуема. Однажды меня пригласил Хейфиц и деликатно посоветовал мне вступить в партию. Я сказал, что не достоин.

– Более того, – объяснил я Хейфицу, – я человек не вполне надежный и у меня даже, можно сказать, есть справка о неблагонадежности.

Я рассказал Хейфицу об отце, о деде и всех моих родичах до седьмого колена. Хейфиц сказал, что сейчас «не те

времена», но к разговору больше не возвращался. На счет «не тех времен» Хейфиц преувеличил. Времена были вполне еще «те». Мамина канцелярия продолжала функционировать. Наши письма и запросы о судьбе отца продолжали регулярно поступать в разные ведомства. В ответ также регулярно приходили отписки.

Однажды с картиной «Семь невест» я побывал в Омске. Я разыскал дедовскую халупу на Тверской, 80а и зашел к бывшему соседу. Он еще помнил моего деда. Теперь это был больной одинокий старик. Он сразу же запряг меня в санки-водовозку. Я привез ему воды, наколот дров. Он выпил водки и стал рассказывать, в какие счастливые времена он жил. Он утверждал, что его развалюха прежде была дворцом, небо – вечно-голубым, а в загаженной, обмелевшей речке Омке плескалась рыба. Я не стал его огорчать – речка Омка была загаженной и безрыбной всегда. Все остальное тоже не очень изменилось. Вот только сосед необратимо постарел. Ничего нового я, конечно, не узнал.

На одной из встреч со зрителями я познакомился с работником местной прокуратуры. Наконец-то я увидел живьем одного из тех, с кем так долго переписывался. Это был нормальный, вполне порядочный человек. Он рассказал, что главный архив, в котором хранятся документы и нужные мне сведения, находится здесь, в Омске. «Но, чтобы во всем этом разобраться, нужны годы», – посочувствовал он и обещал содействовать, чем сможет. Узнав об этой моей встрече, мать обрадовалась и заявила что «мир не без добрых людей». Снова у нее появилась надежда и цель в жизни.

В ленфильмовскую редакцию «самотека» поступила заявка какого-то Виктора Мережко. Он предлагал свою комедию из сельской жизни. К заявке был приложен и отрывок из начатого сценария. Главная героиня – некая скотница Шурка. Она мать троих детей и супруга непутевого мужа, бывающего в родном селе только наездами.

Узнаваемо и с юмором был намечен независимый характер российской женщины, тянущей на себе воз житейских и крестьянских забот. Сценарий привлекал яркими диалогами и знанием деревенского быта до мелочей. Мы познакомились с Мережко и быстро сговорились. Мережко был родом из-под Черкасс, учился в полиграфическом институте во Львове и вот сейчас написал свой первый сценарий, из которого «вырос» фильм «Здравствуй и прощай». Мы решили начать с поездки на юг России и уточнить места для съемок.

Мне важно было еще и просто увидеть эти места, почувствовать ритмы, в которых живут здесь люди. Мне почему-то казалось, что делать эту картину нужно с почти этнографической достоверностью. Только тогда зрители поверят в незаурядный характер героини, поймут истоки ее темперамента. Всякие пасторальные красоты противопоставлены, жизнь в селе должна быть увидена не сторонним наблюдателем, а глазами героев, то есть как повседневность.

Для съемок мы выбрали две казачьих станицы под Ростовом-на-Дону – Приморскую и Синявку. Казаки – народ раскованный и артистичный. Я решил «внедрить» наших актеров в среду здешних станичников, сформировать из них так называемое окружение и даже поручить им небольшие эпизодические роли. Поскольку люди должны были существовать в родной среде, сниматься в привычной обстановке, я надеялся, что они будут выглядеть свободно и убедительно. При этом я, конечно, осложнил задачу и самому себе, и актерам. Профессиональному актеру всегда трудно соревноваться в естественности с ребенком, например. Теперь актерам предстояло вступить в соревнование со свободным и естественным «окружением». За приглашенных на картину Олега Ефремова и Мишу Кононова я не беспокоился, а вот кто будет главной героиней?

Роль была заманчивая, и ею интересовались многие известные актрисы. Но в наши правила игры ни одна популярная, узнаваемая зрителями актриса не вписывалась. На роль героини второго плана я пригласил неизвестную тогда выпускницу «Щукинки» Наташу Гундареву. Она сразу же уловила комедийную природу роли, сыграла на кинопробах весело и убедительно. А вот с главной ролью долго были неясности. Помимо всего прочего, нужна была еще и убедительность особого свойства – социальная убедительность. Поведение и стать крестьянки, выработанные образом жизни, можно, конечно, имитировать, сыграть, но это будет все-таки сыграно и в подлинной среде непременно обнаружится.

В картине Ростюцкого «А зори здесь тихие» снялась в роли суровой старшины молодая актриса Людмила Зайцева. Роль была чуждая и жанру нашей картины, и характеру героини. По моим сведениям, Зайцева была родом из кубанской станицы и, можно сказать, отвоевала себе трудом и упорством возможность учиться в столичном театральном вузе.

И вот, в мой ленфильмовский кабинет вошла наша Шурка. Шурка с ее неповторимой крестьянской грацией, хрипловатым хохотком и певучим малороссийским говором. Мы с ней долго разговаривали, сделали формальные фотопробы. Потом сняли и кинопробы, которые получились неудачными. Зайцева словно застыла в испуге. Она признавалась потом, что испугалась не студийной обстановки – обстановка была привычная – испугалась она того, что сценарий у нее кто-нибудь отберет или украдет, или на «Ленфильме» вдруг начнется пожар. Она боялась какой-нибудь роковой случайности, которая лишит ее этого сценария и этой роли. Уж очень все совпадало с ее собственной биографией. Не по сюжету, конечно, а по жизни. Повторных проб я делать не стал и Зайцеву утвердил. После того как я ей об этом сказал и она ушла с «Ленфильма», я вдруг услышал визг тормозов и автомобильные

гудки. Я выскочил на балкон. Внизу, по диагонали пересекая Каменноостровский проспект, шла Зайцева, прижимая к себе сценарий. Ни визга тормозов, ни ругани водителей и, вообще, ничего вокруг она не слышала и не видела.

Летом семьдесят третьего года жара на Дону стояла невыносимая. Мы выезжали на съемки чуть свет, чтобы поработать до полудня. Потом жизнь в Приморской замирала, а мы готовились снимать вечерние, режимные, сцены. Станичники к нам привыкли, и жизнь здесь шла, как всегда. Домик, в котором жила наша героиня Шурка с детьми, мы арендовали у хозяев вместе со всей мебелью, утварью и прочим реквизитом. Только к семейным фотографиям добавили и казенные, ленфильмовские. Трое детей, которых мы временно отобрали у собственных родителей, тоже поселились у Зайцевой. Все ее соседи, проживавшие рядом со съемочной площадкой, продолжали играть сценарные роли соседей. По мере надобности, мы дописывали им тексты.

Слияние произошло абсолютное. Когда в Приморке случилась свадьба, съемки пришлось остановить ровно на неделю. Причем Зайцеву бабы подключили к подготовке свадебного стола по обязанности соседки – звали ее Шуркой до самого конца съемок. Москвичка Гундарева тоже совершенно обабилась, но по моей просьбе старалась не загореть – ей необходимо было оставаться бело-розовой и пышной «буфетчицей», в отличие от загорелой трудяги Шурки.

Директором картины был у нас бывший милицейский работник Виктор Бородин. Он широко пользовался по знакомству услугами ростовской милиции. Мы разъезжали на «газиках» с мигалками, а Гундареву возил на мотоцикле с коляской влюбленный в Наталью лейтенант. Пышнотелая Наталья важно покачивалась в люльке, а над ней, спасая ее от загара, полоскался огромный пляжный зонт. Этот зонт прикрепил к люльке влюбленный лейтенант. Кто мог представить тогда, что Наталья так быстро станет всенародно любимой артисткой. И менее всего ждала она и все мы, что на нее так несправедливо обрушится тяжкий недуг.

По вечерам на завалинке Олег Ефремов спорил с мужиками, обсуждая международное положение. Олег защищал Хрущева и хвалил Фурцеву за театр «Современник», а мужики почему-то называли Фурцеву**censored**ью и поносили Хрущева за то, что он «Америке весь наш хлебушко продал». Словом, жизнь у нас сложилась дружная и плодотворная. На свадьбе даже драка у нас назрела вполне натуральная. Бить собирались Олега Ефремова за хорошие слова про «Никитку». Мирились после свадьбы тоже почти неделю.

При всей своей уже всенародной известности, Олег вписывался в необходимую для фильма человеческую среду абсолютно, ему верили безоговорочно. Однажды, еще на съемках «Мамы», в период нашего увлечения скрытой камерой, я предложил Олегу пристроиться без очереди к пивному ларьку. Олег подошел к очереди жаждущих, вступил в беседу, а потом ненароком двинулся к вожделенному окошечку вне очереди. Начался буйный спор с размахиваниями кружками и кулаками. Неизвестно, чем бы дело кончилось, но подошел настоящий милиционер, и съемки пришлось прекратить.

Однажды Ефремова среди бела дня похитили. В Ростове у речного причала вполне солидный капитан предложил Олегу «на минуточку» подняться на палубу и выпить холодного кваса. Олег шагнул на палубу. Тут же убрали трап, теплоход развернулся и отплыл в неизвестность. Вдоль берега бежали безутешные ассистенты – ведь у нас начиналась съемка. Теплоход вернула речная милиция только к вечеру. В Тбилиси Олега похитили со съемочной площадки, прямо от камеры. Снимали в подъезде жилого дома. Подошла застенчивая девочка с открыткой и попросила автограф. Не оказалось карандаша, и Олег сделал шаг в сторону – потянулся за карандашом. На Кавказе система похищений традиционно отработана. Олега мы нашли только потому, что из открытого окна грянуло грузинское застольное многоголосье. За длинным столом на почетном месте уже сидел Ефремов с огромным рогом в руке. Как было организовано перемещение большого живого Олега, как возникло застолье, понять было невозможно.

Несмотря на жару и «отдельные трудности» работа шла успешно. Я откровенно радовался своему актерскому выбору. Радовался, прежде всего, за девочек. И Людмила, и Наталья быстро набирали опыт, обретали уверенность.

К нашему актерскому коллективу присоединился и киевский артист Борислав Брондуков. Он появился только к середине съемочного периода. Я его совсем не знал и пригласил по рекомендации Мережко. Боря мгновенно вписался в нашу компанию. Незаурядный, яркий комический актер, Борислав был и прекрасным рассказчиком, и тонким ценителем-исполнителем украинских песен. Как-то, после одного из его импровизированных концертов, я даже решил сделать музыкальной основой нашей картины его любимую песню «Ой, у поли криныченька». Песня эта, исполненная любви к родной земле, простосердечной радости крестьянского бытия, очень помогла и поддержала впоследствии романтический строй картины.

Большой удачей для нас было и то, что картину мы снимали вдали от всякого начальства и привезли ее фактически в готовом виде. Картина, кажется, понравилась, особенно игра Людмилы Зайцевой и яркий дебют Наташи Гундаревой. Мы выпустили в свободное киношное плавание двух талантливых актрис. Уже одно это приносило удовлетворение.

После многолюдной московской премьеры мы схватили наши коробки и прямо из Дома кино, в чем были, погрузились в ростовский поезд. В том же возбужденном состоянии мы прибыли к своим казакам. Никто нас,

конечно, не ждал, но весть о прибытии «нашей» картины мгновенно разлетелась. Клуб в Приморской был маленький, и потому крутили картину круглосуточно, при широко распахнутых дверях. Для того чтобы умещалось народу побольше, лавки вынесли, а люди сидели и лежали вповалку, прямо на полу. Прискакал перепуганный секретарь тамошнего райкома. Такие публичные сборища без разрешения сверху были тогда непозволительны. Секретарь, пробравшись по телам зрителей к экрану, решил легализовать мероприятие. Не знаю, кем был этот начальник до назначения на пост, но картину он представил так: «Товарищи колхозники! По моему разрешению, показую вам за хорошую работу новый фильм под кодовым названием "Здравствуй и прощай"! Фильм считаю открытым!» После этого бесконечный просмотр тянулся еще три дня. Мы без конца выходили кланяться, а потом, сидя на полу вместе со своими зрителями, в который раз снова и снова глядели картину. Мы испытывали непередаваемое счастье единения с людьми и своей востребованности.

Почти без паузы мы взялись за новую картину. Она называлась «Ксения, любимая жена Федора». Сценарий написал Александр Гельман. Он был уже известным публицистом и занимался «производственной тематикой». Поставленный по его сценарию нашумевший фильм «Премия» рассказывал про сознательного рабочего Потапова, который решил, что работает недостаточно хорошо, и отказался от премии. Половина экранного времени отведена была в фильме заседанию партбюро, которое обсуждало, как поступить с бескорыстным Потаповым. Фильм о рабочем, который отказывается от денег, очень понравился начальству. Видимо, оно рассчитывало, что под воздействием «важнейшего из искусств» народ единодушно и повально последует примеру главного героя. Этого, увы, не произошло.

Следующий сценарий Гельмана тоже был на производственную тематику. В это время Гельман как раз женился и сценарий написал в соавторстве с женой. Это была история про «легкотрудицу» – беременную женщину, которая временно, до родов, поставлена на легкую работу. На фоне грандиозной стройки, грохочущего железа и производственной суеты Ксения поглощена главной своей заботой и работой – она готовится к появлению на свет нового человека. Главное и не главное в жизни она оценивает только по этому естественному принципу. Мне показалось, что об этом можно сделать и смешную, и трогательную картину. Любящий муж Ксении Федор заботливо оберегает жену. Но он – человек, сделанный природой попроще Ксении. Он слегка жадноват и слегка жлобоват. Неуловимые, неясные тревоги владеют Ксенией в преддверии главного, грядущего события. Будущее свое и будущее нового человечка, и будущее непостижимой для Ксении, но тоже зреющей, растущей стройки слились для нее воедино.

На роль Ксении я взял Аллу Мещерякову. Я знал ее мало, но о ней хорошо говорила Людмила Зайцева. После встречи с Аллой и длительных разговоров мне тоже показалось, что Мещерякова эту роль сыграет. В ней жила какая-то затаенность, закрытость умного, тонко чувствующего человека. Теперь предстояло укомплектовать «супружескую пару». Все мои попытки соединить с Мещеряковой заведомо простоватых и незатейливых Федоров оказались бесплодными и неубедительными. Такая Ксения быстро разгадала бы и отвергла такого Федора. В этом был отчасти виноват и я. Я пытался воссоздать некую любовь «простых людей», а таковых вообще на свете не бывает. Чувства и отношения, выраженные немногословно и скупой, не становятся от этого проще. Их в обычной жизни просто скрывают. Или не умеют выразить. От этого, как правило, отношения становятся еще сложнее и мучительнее.

Так постепенно созрела идея пригласить на роль жлоба Федора киногероя-разведчика, страдальца-интеллектуала Станислава Любшина. На первой встрече Слава не отказался, но был очень смущен.

– А я смогу? – спросил он. – А как быть с этим! – И Слава предъявил свою одухотворенную физиономию.

Я понял масштабы его сомнений, только когда увидел Любшина в окружении поклонников и поклонниц. Он был популярен просто фантастически. С ним невозможно было ходить по улицам и тем более стоять на месте – мгновенно его окружали толпы почитательниц. Пообедать с ним в ресторане было просто опасно для жизни. Вначале подвыпившие поклонники скромно глазели на Славу. Потом кто-нибудь тихо и проникновенно запевал песню из фильма «Щит и меч».

– С чего на-а-чинается родина-а! – затыгивали в одном углу.

– С картинки в твоём букваре-е-е! – подхватывал другой угол ресторана.

Поклонники постепенно приближались и с протянутыми рюмками уже требовали от Любшина тесного общения с простым народом. Словом, ужасно!

Сняв Любшина в непотребном федоровском обличье, мы тем самым лишили бы народ прославленного кумира, а над Славиной головушкой развеялся бы романтический ореол. Это была реальная опасность. Часто наши впечатлительные зрители путали роль и человека. И не только зрители! Алла Демидова рассказывала мне, что после того, как в одном фильме она сыграла эсерку Спиридонову, ей, по решению политбюро, запретили сниматься в роли Крупской.

– Это что же получится? – вопрошали члены политбюро. – Левая эсерка будет спать с самим Лениным?!

Прежде существовала и официальная форма общения талантов с поклонниками – так называемые «творческие

встречи». Однажды вместе со Смоктуновским, Игорем Дмитриевым и другими знаменитостями мы приехали в Новосибирск. Сначала, в соответствии с установленным порядком, нас повезли по историческим местам. Новосибирск – молодой город, и уж очень «исторических» мест в нем не оказалось. Правда, в пяти районах города недавно воздвигли памятные стелы, посвященные Отечественной войне. У каждой стелы поджидал нас местный гид или гидесса.

– Двадцать второго июня сорок первого года фашистские полчища коварно... – начинала гидесса и рассказывала подробно обо всем, что мы давно знали. Смоктуновский сам был участником войны. Первую речь гидессы мы терпеливо и вежливо выслушали. Но, когда мы подъехали к следующему обелиску, все повторилось с самого начала.

– Двадцать второго июня сорок первого года, – сообщила уже другая девица, – фашистские полчища...

Смоктуновский мрачно слушал, и, когда гидесса дошла до битвы под Москвой, он вдруг яростно крикнул:

– И чем же дело кончилось?

Гидесса страшно перепугалась.

– Все кончилось хорошо, Иннокентий Михайлович, – залепетала девица, – мы победили!

Потом нас повели на парадный обед и обкормили. Сонные, отупевшие знаменитости доставлены были к секретарю обкома, и он доложил нам о достижениях местной промышленности. Смоктуновский немедленно снял под столом туфли, чтобы размять онемевшие ступни. Дмитриев это заметил и тихонечко туфли от гения отодвинул. Усилиями других знаменитостей туфли отодвигались от Смоктуновского все дальше и дальше. Когда настал час прощания, Смоктуновский задергался, нащупывая свою обувь. Туфли отсутствовали. Тогда артист попросил секретаря рассказать еще и про сельское хозяйство. В продолжение рассказа Смоктуновский злобно косился на коллег, но те слушали с непроницаемыми физиономиями.

Наконец, Смоктуновский решительно встал, поблагодарил хозяина и пошел, прихрамывая, в одной туфле через весь кабинет к дверям.

– Товарищ Смоктуновский! – воскликнул секретарь. – Вы же простудитесь!

Секретарь догнал Смоктуновского, задрал ему ногу и принялся лихорадочно натягивать туфлю. В это время гений грозил нам кулаком.

С тех пор поездка эта превратилась в непрерывную битву двух титанов: Смоктуновского и Дмитриева. На многочисленных встречах артисты обычно рассказывают о себе своим поклонникам заученными фразами и про одни и те же случаи. Однажды Смоктуновский опередил Дмитриева и рассказал зрителям трогательную историю о детстве, подготовленную самим Дмитриевым.

– Товарищ Дмитриев! – кричали потом из зала. – Это ж не с вами было, а с товарищем Смоктуновским!

В этом поединке опережал то один, то другой противник. Наивный любящий зритель, конечно, не догадывался об этих проделках. Народ влюблялся в своих героев и верил им беззаветно. Дело доходило до курьезов. На очередном пикнике я вдруг обратил внимание, что к костру, у которого дремали утомленные славой и шашлыками артисты, осторожно подкрадывается мощная краснощекая молодуха. Подобравшись к Смоктуновскому, она вlepила ему в уста страстный, долгий поцелуй.

– А? Что? Почему? – закричал испуганный Иннокентий Михалыч.

– Теперь буду мужу говорить, – пояснила сибирячка, – что целовалась со Смоктуновским, – пусть этот бабник казнится!

Сибирячка верила в воспитательную силу искусства, но понимала ее по-своему. Любимчик народа Слава Любшин, конечно же, понимал, что, сыграв у нас Федора, он потеряет толику прежней славы, но не испугался и от роли не отказался. Честь ему и слава!

Снимали мы картину «Ксения, любимая жена Федора» в Армении, на строительстве атомной станции. На этот раз наш директор Витя Бородин передал нас под опеку уже армянской милиции.

– Вон видишь? – спрашивал меня усатый армянский майор. – Эта гора называется Арарат. Это – наша армянская гора. Наш Ной спасал на ней людей и зверей от потопа. А Ленин отдал нашу гору туркам!

Водители и милиционеры обычно работали посменно, и каждый по-своему пересказывал нам исторические события.

– Про потоп слышал? – начинал издали новый водитель, но заканчивали они все одинаково: «А Ленин отдал нашу гору туркам!»

Этим армянские водители очень походили на новосибирских гидов. У поста здешнего ГАИ водители всегда останавливались и с гаишником здоровались «за ручку».

– Почему? – спросил я.

– Деньги дарим, – пояснил водитель.

– А если не дадите? – допытывался я.

– Что ты! – ужаснулся водитель. – Он же обидится!

На съемочной площадке всегда знали, когда прилетит Слава Любшин. В такие дни огромный лайнер пронесся над нами, покачивая крыльями. Делали это летчики по Славиной просьбе – чтоб мы не беспокоились. Здесь была какая-то своя, не вполне законная, но симпатичная этика. Я жил в интуристской гостинице «Ани». Во время очередного землетрясения обои в номере треснули и из щели высунулся здоровенный, с кулак, микрофон. Пришел армянский гебешник с извинениями. Он просил не обижаться, потому что микрофон «обслуживает» не меня, а иностранцев, «а ты наш и можешь болтать что хочешь» – разрешил гебешник.

Работалось в Армении славно, и премьера потом прошла хорошо. На премьере вместе с нами кланялся и Вас-Вас Меркурьев. Он снялся-таки у нас в обещанной маленькой «рольке». Мещерякова сыграла, по-моему, замечательно. Картину всячески приветствовал Саша Володин и расхваливал за острохарактерную роль Славу Любшина. Он хорошо знал Славу по «Пяти вечерам» и удивлялся происшедшей метаморфозе.

Я обнаружил, что у меня, от «Мамы» и до «Ксении», постепенно складывается своего рода киногалерея женских портретов и судеб. Я решил при случае ее регулярно пополнять в будущем.

Кино большое – кино маленькое

Однажды меня пригласили в партком «Ленфильма». Парторгом на студии была в то время Ада Алексеевна Лубянцева. Она выполняла свои обязанности бодро-весело. Из всех видов партийной деятельности она предпочитала дальние и долгие выезды в глубинку для творческих встреч, показа ленфильмовских картин и почетного представительства. Лубянцева заявила мне, что пора подумать о вступлении в партию. Я снова ответил, что недостойн и что у меня не все в порядке с биографией.

– Ты этим не спекулируй, – нахмурилась Ада, – партия давно об этом забыла и простила, а вы все еще выпендриваетесь!

У Лубянцевой выходило, что партия великодушно простила ею же репрессированных людишек.

– И вообще, – продолжала Лубянцева, – ты про Резо Эсадзе помнишь?

Про Резо я помнил. Он недавно появился на «Ленфильме» и сразу привлек к себе внимание. Резо Эсадзе взялся за сценарий про любовь между грузинским юношей и еврейской девушкой. Они с детства жили рядом, в интернационально населенном дворе старого Тбилиси. У молодых возникла любовь, а между взрослыми выросла стена из предрассудков и предубеждений. Это был кавказский вариант Ромео и Джульетты. Автором сценария был молодой драматург Эдик Топпельберг, впоследствии ставший американским писателем Эдуардом Тополем. Тема межнациональных отношений показалась на студии опасной, а Резо был парень упрямый и по-грузински вспыльчивый. Поскольку Эсадзе был кандидатом в члены КПСС, кто-то решил нажать на него через партком. Его вызвала Ада и грозно спросила, по-прежнему ли Резо рассчитывает на вступление в партию?

– В какую там еще партию-чмопартию? – страшно закричал Эсадзе.

Работу на «Ленфильме» ему больше не предлагали. Он уехал в Грузию беспартийным и безработным.

– Так вот, ты все-таки немного подумай, – продолжила беседу со мной Лубянцева, – и вступай-ка ты...

Я открыл было рот, но Ада меня прервала.

– И не вздумай спрашивать, в какую-то чмопартию?! – крикнула она в точности так же, как когда-то кричал Резо.

В первый же год перестройки парторг Лубянцева тихо отбыла «за бугор». Все-таки, неладно было в КПСС с подбором кадров! Ох, неладно!

Руководствуясь теорией марксизма, в партийные ряды вербовали представителей правящего «рабочего класса». Но кто у нас на студии рабочий класс, а кто нет, понять было невозможно. Швей в костюмерной мастерской – рабочий класс или нет? А дольщик, который возит операторскую тележку? Решили, в конце концов, отнести к пролетариям тех, кто имеет дело с чем-нибудь железным и занимается физическим трудом. Поэтому партийная организация «Ленфильма» теперь изобиловала слесарями, плотниками, механиками и кочегарами. Все важные творческие вопросы на студии обсуждали и решали эти симпатичные, но не очень компетентные люди.

Более того, искусственно насаждалось взаимное недоверие, закреплялось идиотское противостояние. Представители творческих профессий фактически потеряли возможность высказать свое мнение или оспорить вздорное решение. Конечно, по логике вещей и для пользы дела следовало ни в коем случае не пренебрегать членством в партии, разъяснять, так сказать, изнутри творческие, не всем понятные проблемы, отстаивать интересы своих товарищей. Но я знал еще и то, что членство в партии повязывает человека «партийной дисциплиной», а для творческого человека это – начало конца. Так что тут действительно нужно было, по выражению Лубянцевой, «немного подумать».

Проблема разрешилась, а правильное сказать, развалилась неожиданно. Оказывается, на «Ленфильме» создавали новое творческое объединение. Оно должно было делать фильмы для телевидения. ТВ предложило меня на пост руководителя, а руководитель объединения непременно должен быть партийным – таково железное правило. Но

тонкость заключалась в том, что объединение это напрямую подчинялось только телевидению. Парторг Ада и сонм ленфильмовских редакторов не властны были распоряжаться делами нового объединения. Равно бессильными тут оказывались и руководители из Смольного. Объединение возникло на стыке двух ведомств. А у семи нянек, как известно, дитя без глаза. В этом случае партийная принадлежность к «Ленфильму» стала для меня деликатной условностью. Это меня вполне устраивало, а новое дело было заманчивым. Правда, я не знал еще, что такая свобода будет у меня лишь до поры до времени.

Так или иначе, но я теперь вдруг перешел в разряд «начальников», к которым сам всегда относился настороженно и с недоверием. Мы с главным редактором нового объединения Аллой Борисовой постоянно мотались из Питера в Москву и обратно, уточняя и оговаривая наши планы. Работали мы в тесном контакте со службой ТВ под названием «Экран», которая и заказывала нам фильмы для телепоказов. Следует оговориться, что в восьмидесятые годы словом «телефильм» называли обыкновенный кинофильм, сделанный по привычным кинематографическим и технологическим канонам, но предназначенный для показа на телевизионном экране. Телевидение воспринималось всего лишь, как электронный носитель для «большого кино». Никакой специфики тут не усматривали. Интересно было теперь раз за разом обнаруживать новые возможности телекино.

Как это ни странно, но обратную связь со зрителем мы почувствовали острее и ощутимее, именно работая в телевизионном объединении. Мы задумали ежегодно делать по фильму, приуроченному к новогодним праздникам. Следовательно, снимая такие фильмы, мы не могли уже не учитывать особую, праздничную ситуацию и настроение людей – у нас, в отличие от привычного кино, возникло новое понятие: контекст показа. Нам теперь хотелось, чтобы наши фильмы, их появление стало традицией, чтобы зрители их ждали. Так появились первые предновогодние фильмы: «Соломенная шляпка» и «Приют небесных ласточек» Леонида Квинихидзе. Потом – «Приключения принца Флоризеля» Евгения Татарского. Владимир Бортко сделал стильную экранизацию сентиментального романа Мало «Без семьи». Леонид Менакер снял романтический фильм о Паганини. Потом появилась серия фильмов Игоря Масленникова о Холмсе и докторе Ватсоне. Говоря футбольным языком, наше телеобъединение из низшей лиги постепенно переключалось в высшую.

Важную роль тут сыграла согласованная работа с «Экраном». Помог и наш уникальный межведомственный статус. У нас безнаказанно канканировали монашки в «Небесных ласточках» и дурачились Стрельчик с Мироновым в «Соломенной шляпке». Благополучно проскочил и клуб самоубийц с принцем Флоризелем. Все нам пока сходило с рук. Потихоньку мы начали смелеть и предложили Илье Авербаху снять у нас фильм по полузапрещенной пьесе «Фантазии Фарятьева». Смольный промолчал, а телевидение стерпело. Тогда я, уже в собственных интересах, предложил экранизировать пьесу Вампилова «Старший сын». К замечательной драматургии Вампилова официальные власти относились с осторожностью. Объединение «Экран» предложение наше приняло, но разразилось длинным письмом, предостерегая меня от увлечения «мелочами быта» и призывая почаще окунать вампиловских персонажей в «героическое созидание».

Непременным условием этой постановки я считал участие в ней Евгения Леонова. Только он, в моем представлении, мог бы сыграть Сарафанова – неудачника-музыканта, наивного и грешного отца троих детей, сочинителя бесконечной оратории «Все люди братья», которого сбежавшая жена величала не иначе как «блаженным». Мы встретились с Леоновым в недоремонтированном репетиционном зале Ленкома, и сразу же выяснилось, что мы оба любим эту пьесу и готовы хоть сейчас начинать работу. В подходах к материалу у нас никаких расхождений не было. Я, как и Леонов, никогда не считал эту пьесу бытовой. Наоборот – это романтическая история о людях, способных жить, сохраняя надежду на лучшее. Неумирающая человеческая надежда – движитель всего сущего, и она творит чудеса.

Для воплощения такой истории нужен был еще и благородный принц, приходящий на помощь в трудную минуту. Договорившись с будущим Сарафановым, я принялся искать принца. Конечно, принц должен быть не сказочным, а вполне узнаваемым и бытовым, но в нем должны угадываться некоторые черточки и свойства, которые заставили бы наивного Сарафанова поверить и в появление мифического старшего сына, и в способность пришедшего студента Бусыгина счастливо разрешить все сарафановские проблемы. Передо мной прошла длинная череда молодых артистов, прежде чем я остановился на ленкомовце Николае Караченцове.

Я знал его по первой картине, где он играл «простого» деревенского парня. В эту роль он совершенно не вписывался, но его пластика, творческая энергетика, которая всегда угадывается даже и за неудачей, привлекла меня, и я вызвал Николая на «Ленфильм». Мои надежды на Караченцева оправдались с лихвой. Когда в основе будущего фильма лежит серьезная драматургия, талантливые люди объявляются словно бы сами собой. Так было и с молодым, никому еще неизвестным Боярским. Михаил жил тут же в Питере, я хорошо знал его отца – он у меня когда-то снимался. Словно специально, переехала в это время из Москвы в Питер и Светлана Крючкова. Сразу же я утвердил и безвестных молодых: Наталью Егорову на роль Нины, а Володю Изотова на роль Васеньки.

Все предпосылки для интересной работы теперь были налицо. По-моему, вампиловская драматургия словно создана для телевидения. Неспешно наблюдать за поведением героев, фиксировать тончайшие нюансы в

отношениях между ними, пристально следить за рождением мысли, поступка, чувства. Все это теперь можно осуществить и донести не через театральную рампу, где всегда приходится форсировать актерскую игру, и даже не через кинематографические крупные планы, которые все равно условны, потому что ограничены во времени. Успешнее это делать именно через телевидение, которое создает иллюзию непрерывности действия, а контекст домашнего показа, интимность обстановки приближает героев к зрителю. Зритель становится непосредственным соучастником происходящего. Все это сейчас общеизвестно, но мы в то время многое только открывали для себя. И для нашего зрителя – тоже.

Для съемок мы арендовали часть большого деревянного дома на окраине Питера, тщательно это жилье обставили, а потом, можно сказать, вселились. Мы репетировали здесь сутками и только, когда чувствовали, что приближаемся к результату, фиксировали на пленку оговоренное и нажитое в длительных репетициях. По ходу репетиций выяснялись и прежде неизвестные нам возможности актеров. В сцене ночного*~~censored~~*ганского пения Бусыгина и Сильвы мы, например, обнаружили, что оба они очень даже неплохие певцы. Так на этой картине мы нечаянно запустили на эстрадный небосклон теперь всенародно известных, звездных исполнителей.

Монтажный период на этой картине был, пожалуй, самым коротким. Мы просто соединяли в сценарном порядке эпизоды десятиминутной и большей длительности. Для этого движение камеры мы отработывали с Векслером самым скрупулезным образом. Но одной механической точности тут было мало. Векслер умел мгновенно реагировать на неожиданные актерские импровизации. Он тонко чувствовал и фиксировал главное в сцене, умел разглядеть это главное в сумятице репетиций и бесконечных импровизаций. Мы постоянно увлекались и отвлекались от «производственного процесса». Вампиловские тексты открывали все новые возможности и повороты в отношениях между героями.

Интересно было наблюдать в эти моменты за Евгением Леоновым. Он по-детски радовался нашим маленьким открытиям. Радовался за молодых своих партнеров и деликатно им помогал. С тех пор, и особенно после смерти Евгения Павловича, все мы, кто имел счастье делать эту картину, повязаны общей памятью и благодарностью за радостные минуты.

«Старший сын», поставленный таким вот телевизионным способом, произвел большое впечатление. Московская премьера в Доме кино случайно совпала с открытием съезда российских писателей, и в зале оказалось много известных литераторов. Были здесь и земляки Вампилова: Астафьев, Распутин, многие другие. Всем нам приятно было видеть реакцию зала, выслушивать хорошие слова.

Картину пригласили в Прагу на международный фестиваль Интервидения. В Чехословакию мы полетели втроем: журналистка и критик Нэля Измайлова, я и глава нашей группы товарищ Кузаков. Ведь прежде ни одна загранпоездка без «главы группы» не обходилась. Нашего главу почему-то чаще называли не по имени и отчеству, а официально и почтительно: «товарищ Кузаков». Кузаков был молчалив, вежлив и скромнен.

У трапа нас встретила толпа чешских начальников. Местное начальство всячески демонстрировало свое гостеприимство и радушие. Однако к товарищу Кузакову хозяева отнеслись с особой почтительностью. Причем встречающие были в ранге министров, секретарей ЦК и не менее. Прямо от трапа вереница сверкающих лимузинов под вой сирен и грохот мотоциклов пронеслась через Прагу и остановилась у какой-то резиденции. Здесь нас с Нэлей высадили и отвезли в отель.

Сопровождающие лица сообщили, что с товарищем Кузаковым мы встретимся позже, на официальном открытии фестиваля, а сейчас он поедет отдыхать. Потом мы, сопровождая Кузакова, ежедневно посещали официальные рауты, проходившие на государственном уровне, и пышные обеды в роскошных резиденциях. Получив на фестивале наши призы и выслушав приятные речи, мы возвращались с Нэлей в Москву уже без нашего «главы». Я спросил у нее, что за птица этот товарищ Кузаков и почему скромному чиновнику оказывают царские почести?

– А ты не знаешь? – удивилась Измайлова.

– По-моему, он на кого-то похож, – сказал я, – вот только не могу понять на кого.

– А ты мысленно приклей ему усы, – посоветовала Нэля.

Я послушался и мысленно приклеил Кузакову усы. Эффект был поразительный – Кузаков был похож на Сталина. Не только усы – та же стать, неспешные движения, тот же взгляд не на человека, а сквозь него. Измайлова рассказала мне, что Кузаков – побочный сын Сталина, дитя любви сибирской крестьянки и ссыльного грузина Джугашвили. Официально он признан не был, но скромно жил в Москве и занимал непубличные, но достойные государственные посты. Сначала он был замом министра кинематографии по кадрам, а теперь тот же пост занимает в Останкино. Здесь его заглазно называют «серым кардиналом», потому что, при всей своей скромности и непубличности, Кузаков – фигура влиятельная и даже могущественная.

Увенчанный фестивальными лаврами, я прибыл в Останкино и скромно предложил экранизировать еще одну пьесу Вампилова – «Утиную охоту». Наступило молчание, как будто я сказал что-то неуместное и неприличное. Оказывается, эта пьеса была повсеместно «не рекомендована» к постановке и ее появление на телеэкранах – невозможный, полнейший абсурд. В тот же день, соблюдая политес, я поехал из Останкино на Малый

Гнездииковский, в Госкино. Будучи в телеобъединении слугами двух господ, мы строго поддерживали баланс во взаимоотношениях деловых и человеческих. Между Гостелерадио и Госкино уже развернулась к этому времени конкурентная борьба. Конкуренция была наша, советская, т. е. каждая сторона стремилась доставить противнику возможно больше неприятностей.

– Ну, что там у них в Останкино? – пренебрежительно улыбаясь, спросила Элеонора Барабаш – нынешняя приемница Токаревой.

Я осторожно пожал плечами – дескать, у них ничего себе, но у вас, конечно, лучше.

– Говорят, они вам «Утиную охоту» запретили, – продолжила Барабаш.

– А вы разрешите? – спросил я.

– Мы тоже не разрешим, но у нас специфика – все-таки большое кино! А правда, что они собираются снимать «Женитьбу»? – выводывала собеседница.

Служба информации у конкурентов была неплохая.

– Кажется, намерены снять фильм-спектакль, – ответил я.

– Фильм-спектакль! – сардонически рассмеялась представительница «большого кино». – А мы как раз намеревались предложить вам поставить фильм! Понимаете? Фильм! А не какой-то ублюдочный телевизионный фильм-спектакль!

Уже вечером, перед моим отъездом на Ленинградский вокзал, раздался звонок.

– Ну, ты, знаток женской души! Сексолог-любитель! – кричал в трубку Мережко.

– Ты про что? – спросил я.

– Опять про баб кино будешь делать?

О «Женитьбе» знали уже обе столицы.

«Женитьба»

Я хорошо запомнил книжку Гоголя с ятями и твердыми знаками, которую нашел когда-то в куче старья в омской библиотеке. Такие впечатления не забываются. Книга источала таинственную силу. После нее, особенно в темноте, было страшно, но потом, когда вспомнишь про кузнеца Вакулу или черевички и полет в Петербург, становилось легко и весело. Потом мы этого носатого, длинноволосого классика проходили в школе, но от казенных слов, которые про него говорили педагоги, он и сам уже казался иной раз напыщенным и фальшивым. Но, на самом деле, Гоголей много. «Сорочинскую ярмарку» написал один Гоголь, а «Невский проспект» – другой. «Мертвые души» писал третий, а переписывался с друзьями совсем уж незнакомый – четвертый. Когда сегодня спорят, обсуждая экранизацию или спектакль, «Гоголь это или не Гоголь», нужно обязательно спрашивать: «Вы про которого Гоголя?» Гоголь многолик и универсальным схоластическим определениям не поддается. Словом, у каждого есть свой собственный Гоголь, которого ты любишь, ценишь и понимаешь на свой манер. Аминь!

Наша съемочная группа сняла уже несколько фильмов и мы были вполне сплоченным коллективом. Вопрос: «Гоголь – не Гоголь?» для нас не существовал. Но, на всякий случай, я напомнил всем, что «Женитьбу» драматург писал почти семь лет. Начинать писать один Гоголь, а завершил уже другой – тот, что написал и «Мертвые души».

Мы согласились, что в фильме должно преобладать лирическое начало. По сути, ведь в пьесе рассказывается про то, как в большом, суетном, казенном городе люди пытаются обрести свое маленькое счастье. А поскольку люди все разные, каждый представляет это счастье по-своему. У Гоголя события в пьесе развиваются накануне Екатерингофских гуляний, то есть весной, а нам лучше было, чтоб Петербург был зимний, беспринутный и чтобы на этом фоне дом Агафьи Тихоновны казался желанным воплощением уюта, тепла и всего человеческого. Таким образом, мы сразу же вступили в преступное противоречие с классическим текстом, но рискнули и сделали-таки Петербург зимним.

Мне важно было привлечь в союзники и наших артистов. На картину я пригласил, можно сказать, цвет российского актерского сообщества. Это были: Олег Борисов, Евгений Леонов, Алексей Петренко, Владислав Стржельчик, Борислав Брондуков, а также Светлана Крючкова, Майя Булгакова и Валентина Талызина. Начались предварительные беседы и первые разминки. За каждым героем была своя правда. Скрещение и столкновение этих маленьких, не совпадающих правд и неосознанных желаний – ключ к трагикомическому итогу «Женитьбы».

Мы договорились со Стржельчиком, что его герой не просто носитель смешной фамилии Яичница и корыстный ловец приданного. Он еще и человек, страдающий комплексом неполноценности. С такой фамилией и карьеру сделать трудно, да и женитьба проблематична. Жалеть его надо, а не издеваться над ним. Мы специально придумали для него сцену на скотном дворе, чтобы величественный жених столкнулся с унижительной прозой жизни и лично пересчитывал кур и поросят. Герой Леонова Жевакин ранен далекой прекрасной Сицилией и никак опомниться не может. Он «аматер» всякой красоты, в том числе и женской. Ищет он ее и найти не может. И не нужно ему приданое, не нужны хоромы. Нужна некая ускользающая красота.

Каждый из героев надеется, каждый хотел бы укрыться от житейских невзгод и одиночества. Отчего так робок Подколесин? Конечно же, он робок по натуре. Но он еще и боится за самого себя, боится разочароваться в своих холостяцких грезах о любимом «предмете». Он страшится реальности. А невеста Агафья Тихоновна со своей естественной склонностью к простым радостям бытия – самая реальность!

Разноречивый Кочкарев – фигура ключевая. Для одних он «змий-искуситель». Для других – просто шалопаи. Но только «из чего же он хлопочет»? От шаловливого избытка энергии? А может быть, он честно и от души желает добра героям? Он хлопочет, как распорядитель всей этой фантазмагии! Но тогда он не совсем персонаж. Он, скорее, автор, который включается в действие и пытается осчастливить и пристроить своих героев. Однако у него ничего не получается, потому что герои, как и сама жизнь, ведут себя своевольно, независимо от благих намерений автора. Не в этом ли драматургическая функция Кочкарева? Ее иногда называют даже мистической, а она просто гоголевская. Мы с Олегом Борисовым сочли наиболее плодотворным именно такое решение его роли.

Безмерно одинокий человек, господин Гоголь-Яновский (можете звать его и Кочкаревым) не понаслышке знал о муках одиночества, о всяческих «несбывшихся мечтаниях». Он мог и себя «в комедию вставить». Почему нет? Мы постоянно возвращались с Олегом Борисовым к проблеме Кочкарева. Олег был уже хорошо известным, преуспевающим артистом. На выездных съемках «Женитьбы» мы жили в Петрокрепости, в общежитии какого-то ПТУ. Здесь была жуткая холодыга и часто выключался свет. Вот тогда в темноте, спасаясь от холода под грудой одеял, мы и беседовали на разные темы.

Олег тоже понимал, что мы с нашей трактовкой Кочкарева плывем против течения. В это время в Москве уже прошел спектакль «Женитьба», поставленный Эфросом. Эфрос был тогда непререкаемым авторитетом, и мы предугадывали реакции его приверженцев. Олег отнесся к этому с юмором и сказал, что давно уже готов к любым неожиданностям. До самого конца съемок он был стойким союзником и упорно следовал нашим договоренностям. Это был независимый и бесстрашный художник! Тогда мы впервые заговорили с ним и о Павле Первом. Олег мечтал об этой роли.

Актерский ансамбль на такой картине, как «Женитьба» – своего рода оркестр, где каждый ведет собственную партию, чтобы в итоге прозвучало нечто единое. У нас каждый старался как можно точнее исполнить свою партию и мелочей для нас не было. Даже девочка Нина, исполнявшая роль Дуняшки, включилась в нашу оголтелость. Она постоянно спрашивала меня: «Ну как мои пятки?» Я велел ей в начале съемок постоянно ходить босиком, чтобы подошвы ног выглядели плоскими, «стоптанными», и она заботилась о точном исполнении этой своей партии.

Свою партию придумал и одноногий мужик, изображавший солдата очаковских времен. Быстро поняв, что он незаменим, мужик однообразно требовал на пиво с самого начала каждого съемочного дня. Однако самая главная, нежная партия прозвучала в исполнении Петренко и Светланы Крючковой. Это был замечательный, трогательный любовный дуэт. Оператор Векслер особо тщательно следил за внешним обликом Агафьи Тихоновны. Это именно он придумал «размыть» невесту, чтобы ресницы у нее были белесые, волосы белесые и даже глаза прозрачно-белесые. Оттого у невесты появилась какая-то детская незащищенность. Особое внимание к внешности актрисы потом привело уже не к киношной, а к самой натуральной женитьбе. Крючкова и Векслер благополучно поженились. Когда Светлана ожидала ребенка, она из бесцветной вдруг преобразилась в величественную. Я в шутку пообещал ей, что может быть, когда-нибудь приглашу ее на роль Екатерины Великой.

Мудрый Гоголь снабдил пьесу «Женитьба» подзаголовком: «совершенно невероятное событие». Как это понимать? Нередко интерпретаторы ударяются в гротеск, ищут в трюках, форсированной актерской игре всякие «невероятности». Мы, конечно, ждали упреков в «обытовлении» фантазера Гоголя, но были уверены и в том, что «невероятность» состоит прежде всего в непредсказуемых причудах нежной, ранимой человеческой натуры, которую тонко знал автор. Вот за чем хотелось пристально следить! Вот что нужно было подсмотреть и выразить в фильме!

Нас много и, я бы сказал, изобретательно критиковали. Один литературовед даже вычислил, что случай с Агафьей Тихоновной произошел как раз в год восстания декабристов. Непонятно было только, на что намекал этот исследователь. Словом, написано тогда было много всякого. Справедливо ли – судить не нам! Но тридцатилетняя полнокровная жизнь нашей «Женитьбы» на экранах как-то утешает. В те времена мы не имели возможности знакомиться с рецензиями зарубежных критиков и журналистов. Но однажды в Италии мне подарили подборку рецензий на «Женитьбу». После мне стало ясно, почему Гоголь так любил эту страну – его здесь понимали.

А вы нас обманите!

Сказать, что жизнь непредсказуема – общее место. Жизнь временами напоминает плохой сериал с примитивными, наспех придуманными мотивировками человеческих отношений и с неправдоподобными пересечениями сюжетных линий. Через год я вновь оказался на Пражском фестивале. Меня туда пригласили уже как гостя. Я слонялся по жарким пражским улицам, изучил все маршруты и любимые местечки моего обожаемого Швейка и попал однажды

на очередное мероприятие фестиваля. Прежде на московских международных фестивалях была традиция. Всех приглашали на большой красивый теплоход. Судно отплывало куда-нибудь подальше и участники веселились и братались на нем до упаду. До упаду в самом прямом смысле слова. Наши «младшие братья», т. е. народные демократии, во всем старались подражать «старшему брату». Но большое фестивальное плавание на узенькой Влтаве с ее мостами и дамбами осуществить трудно.

Плавание по Влтаве устроили, так сказать, символическое. Грохочущий музыкой и фестивальными кликами речной трамвайчик медленно вращался вокруг своей оси на середине Влтавы, неподалеку от Карлова моста, а фестивальщики делали вид, что они находятся в дальнем плавании. Делать вид было не трудно, потому что трамвайчик был до предела загружен пивными бочками и всякой снедью. Рассуждая о киноискусстве, фестивальщики самозабвенно жарили шпикачки и наливались пивом. Я поднялся вместе со всеми на судно и не сразу понял, что попал в ловушку. Чехи – народ дисциплинированный. Если в программе фестиваля было записано, что плыть и веселиться нужно до полуночи, то никакая сила уже не могла остановить вращение этого киноковчега. Высадиться с него в индивидуальном порядке было невозможно.

В укромном уголке судна я встретил одинокого товарища Кузакова. По-моему, он даже немного обрадовался и завязал беседу. Он вежливо спросил, каковы дела и планы. Я рассказал про «Женитьбу», и он ее одобрил. Потом он спросил, собираюсь ли я что-то делать для ТВ. Я сказал, что хотел бы, но в Останкино почему-то не полюбили Вампилова. Потом Кузаков, увидев фестивальную закуску, рассказал, какие замечательные помидоры он выращивает на даче. У меня дачи не было, и тема для беседы быстро исчерпалась. Тогда он как вежливый человек спросил, что это за пьеса такая про утиную охоту. Пьесы товарищ не читал, а времени у нас было много, и я пересказал Кузакову «Утиную охоту» подробно и даже в лицах. Кузаков на ТВ за репертуар не отвечал, а занимался только кадрами. Его интерес я объяснил вежливостью и безвыходным положением, в котором начальник оказался. На фестивале я его больше не встречал.

Через некоторое время я приехал в Москву по делам другого фильма – мы затевали экранизацию раннего рассказа Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью». Это была небольшая комедия абсурдистского толка. Хотелось познакомить зрителей с совершенно неожиданным Достоевским. Однако сняли мы эту картину значительно позднее. На этот раз запуск пришлось неожиданно отложить. В Останкино у меня, между делом, спросили, хорошо ли я знаю Кузакова? Я сказал, что нет, что я только прокатился с ним один раз на речном трамвае. На том разговор и закончился.

Но на другом этаже того же Останкина меня позвали в более ответственный кабинет. Там сообщили, что ситуация с «Утиной охотой» меняется и что следует подумать о возможной экранизации пьесы.

– Это пока не точно, но кто знает? – туманно пообещали в Останкино.

Такие сенсационные новости распространяются мгновенно. Я еще не выехал из Москвы, а в Питере уже засуетилась наша съемочная группа и в среде артистов принялись гадать, кому же достанется роль Зилова? Нынешняя перемена в отношении к «Утиной охоте» была загадочной. Прежде хоть было понятно, почему пьесу так не любят. Главный герой – циник и скандалист Зилов – прямое продолжение и наследник вереницы российских литературных героев, «лишних людей», не сумевших себя реализовать в жизни, сомневающихся и в себе, и во всем. Если такая фигура талантливо и пронизательно написана, она выглядит протестной, даже бунтарской. Может ли вызвать симпатию такой герой и такая пьеса на государственном телевидении? Почему пьесу не любят – понятно. А вот почему вдруг возлюбили? Возможно, после встречи в Праге Кузаков просто упомянул «Утиную охоту», а это ошибочно поняли как руководство к действию? Возможна и любая другая случайность. Во всяком случае, мы этой ситуацией поспешили воспользоваться.

В редакторских низах новость восприняли без восторга – в конце концов, отвечать за последствия будут они. Мне предложили «для удобства прохождения в инстанциях» объявить картину «антиалкогольной» и замаскировать ее под названием «Пока не поздно». «Вы сначала согласитесь, а потом нас обманите», – посоветовали умные головы в Останкино. Я до сих пор храню сценарий «Утиной охоты», на обложке которого напечатано: «Пока не поздно». Я храню его как ценнейший памятник российской чиновничьей изворотливости. Их тоже можно понять. Врать, изворачиваться им приходилось, даже когда они пытались сделать доброе дело. Впрочем, обмануть-то я их обманул и название потом сменил на нейтральное: «Отпуск в сентябре», но картине, в дальнейшем, это не очень помогло.

Мы придерживались уже проверенной тактики. Сперва выбрали натуру для съемок. Выбор пал на Петрозаводск. Здесь мы облюбовали помещение в строящемся доме на окраине и оборудовали «квартиру Зиловых». Мы решили здесь, вдали от начальства, отснять весь материал, здесь же смонтировать его и явиться из экспедиции с практически готовым фильмом. Утверждать актеров мы тоже не спешили. Я собирался представить их, когда начальству уже некогда будет выбирать, колебаться и размышлять. Такие маленькие хитрости иногда помогают. Тем более что я рассчитывал на артистов, которых хорошо знал. Это были: Леонов, Богатырев, Бурляев, артист из БДТ Богачев, Наташа Гундарева и Ирина Купченко. Утверждение Зилова я намерено оттягивал. Если раскроешь кандидатуру Зилова, то раскроешь и всю идеологию будущего фильма. Лучше это делать в самую последнюю очередь.

Артистам нет дела до дипломатических уловок, к которым приходится прибегать иногда постановщику. Олега Даля я, конечно, знал и по театральным работам и по ленфильмовским картинам. С самого начала я считал его наиболее подходящим кандидатом на роль Зилова. Олег, в свою очередь, прекрасно был осведомлен обо всех переговорах и моих встречах с другими артистами. Он тоже считал, что это его роль, и болезненно переживал мое молчание. Первая встреча была у нас напряженной. Для начала я решил не вызывать его официально на «Ленфильм» и по телефону предложил встретиться в любом удобном месте. После длинной паузы последовал сухой ответ: «Приезжайте ко мне, если желаете». Я приехал. Олег был безукоризненно вежлив, ироничен и слегка ядовит. После положенного светского вступления, он спросил: «Ну и когда же вы намерены пригласить меня на пробы»? Я сказал, что проб не будет, что я хотел бы только выяснить, совпадают ли наши представления о роли и пьесе. Если совпадают, обсудим оргпроблемы и начнем снимать.

– Долго же вы думали! – не сдержался Олег.

Я сказал, что у меня такая работа.

– Когда мне выезжать? – спросил Олег.

Я попросил его выехать на следующий день и предупредил, что все мы не вернемся ни в Москву, ни в Питер до самой осени. Даль внимательно на меня посмотрел.<

> – Вот это правильно! – сказал он.

В надежде на какие-нибудь интересные кинематографические события к нам в Петрозаводск явился кинокритик Виктор Демин. Он старательно фиксировал происходящее на съемках – намеревался использовать все это в будущей книге. Человек он был остроумный и колоритный. Огромный бородатый Виктор производил огромное впечатление на окружающих. Однажды я оказался во Вьетнаме вскоре после пребывания там Вити Демина. Маленькие вьетнамцы с неподдельным восторгом показывали мне достопримечательности.

– Вот под этой пальмой, – сообщали они, – товарищ Де Мин выпил пять банок пива! А вот это – тот стул, который под ним подломился!

Работа в Петрозаводске началась у нас с длительных репетиций по образу и подобию наших прежних репетиций на «Старшем сыне». Репетировал Олег самозабвенно, не жалея себя. Видно было, что он много думал о роли и готовился к ней. Его жена, Лиза Апраксина, делала все, для того чтобы Олег был покоен и полностью отдавался роли. Он был этой ролью одержим! Я заметил, что в нем постоянно живет беспокойство. Какие-то звончки-молоточки звенят-постукивают в нем, не дают покоя. Все эти дни и ночи в Петрозаводске он не переставал быть Зиловым. Он мог говорить о мелочах, шутить, отвлекаться, но он все равно оставался Зиловым. Как Зилов, тосковал, ждал отъезда на любимую утиную охоту и терзался неразрешимыми зилдовскими проблемами. Такое длительное, постоянное напряжение – опасная вещь.

– Вот «развяжу», как Зилов! – шутливо грозился Олег.

Картину в Останкино приняли хорошо – с реверансами и комплиментами. После многолюдной премьеры я приехал в Останкино узнать, когда фильм выйдет в эфир. Меня уверили, что начальство только и ждет удобного момента, чтоб выпустить картину, но «момент как раз сейчас неудачный и международное положение тоже». Удобного момента на ТВ ждали ровно восемь лет – до самой перестройки. А из книжки Демина главу про «Утиную охоту» выкинули.

Это хорошо, что Олег Даль ничего не знал о неприятностях с выпуском картины. Он выглядел уставшим и каким-то опустошенным. После такого творческого напряжения трудно переключаться на обыденную работу. А работа на «Утиной охоте» была еще и праздником для всех нас. Подобной работы ни у Олега, ни у всех нас в перспективе не было. В перспективе была безнадега. Недели через три-четыре я получил от Олега письмо. Письмо было на тетрадном листочке. Оно было какое-то торопливое. Олег сообщал, что отвык от безделья, ищет материал для чтения на радио, но конечно, лучше бы сниматься. Просил, если можно, прислать что-нибудь подходящее для работы в нашем телеобъединении. На полях тетрадного листка изображены были рукою Олега человеческие следы, ведущие к аккуратно нарисованной могилке с крестом.

– Ну и зилдовские шуточки, – подумал я.

Ответить ему я не успел. Еще через неделю я узнал, что Олег нелепо, трагически погиб в Киеве. Я никогда не писал и никому не рассказывал об этом. И так много глупостей болтали после его смерти. Роль российского «лишнего человека» Олег Даль сыграл блистательно и до конца.

У меня еще оставался должок перед телевидением – незавершенная экранизация раннего рассказа Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью». Интересно было познакомить зрителей с малоизвестным Достоевским. С Достоевским-абсурдистом. Любвеобильная жена престарелого генерала прячет под кроватью любовника. Происходит путаница, в результате которой под кроватью оказывается еще один претендент на сердце дамы, а впоследствии и третий – благонамеренный подчиненный обманутого мужа. Эта абсурдная карусель длится на экране больше часа.

Я пригласил сниматься Олега Ефремова и Табакова, Стаса Сададьского, Бурляева и Марину Неелову. Мы быстро

и с удовольствием разыграли эту историю. Трудность заключалась только в том, что Сададьскому пришлось провести большую часть съемочного времени под кроватью. Потом туда же поместили и Табакова. В перерывах между съемками они там засыпали и просыпались, репетировали и даже вступали с нами в творческие дискуссии. Вылезать из-под кровати было сложно. Это отнимало много времени. Не хотелось беспокоить и Неелову, которая на кровати с удобствами возлежала. Кроме того, кровать была антикварная и могла рухнуть в любой момент.

Чтобы поучаствовать в нашей забаве, Юра Богатырев специально приехал на один день в Питер. Он сам придумал себе грим-костюм и для быстроты переделался прямо в поезде. На платформу, к удивлению толпы, он вступил в цилиндре и бобровой шубе прошлого века. На этой маленькой картинке работалось весело и споро. Такие радости редко выпадают в жизни.

Мы с матерью, в конце концов, получили официальный ответ из омского архива. В нем сообщалось, что Мельников Вячеслав Владимирович приговорен за контрреволюционную деятельность к высшей мере наказания. Прилагалась и медицинская справка. В ней указывалось, что Мельников В. В. умер, а причина смерти – расстрел. В конверте была еще одна бумажка. Нас извещали, что амурская прокуратура, повторно рассмотрев дело Мельникова В. В., оправдала его за отсутствием состава преступления и потому гр. Мельников В. В. посмертно реабилитирован. Таким образом, мы с советской властью оказались теперь в полном бумажном расчете.

Мать не плакала и не жаловалась. Она словно застыла, выключилась из жизни. Все силы и время она теперь отдавала внукам. Когда собиралась вся семья, а это было теперь нечасто, она тщательно одевалась, садилась во главе стола и слушала наши разговоры, которые год от года становились для нее все менее понятными. Она слушала нас и оглядывала, словно пересчитывая. Словно боялась, что кто-то из нас вдруг исчезнет. Она как бы взяла на себя бремя ответственности за всех нас.

Теперь, помимо основной работы на «Ленфильме», я занимался общественными делами в Союзе кинематографистов, был даже депутатом Ленсовета. Много времени отнимали бесконечные, бессмысленные заседания. Чем хуже шли дела в стране, тем длиннее становились заседания. Причем заседавшие постоянно жаловались на «заорганизованность». Появилось словечко «стабильность». Чтобы сохранить «стабильность», годами не меняли и не переизбирали дураков и бездельников. Мнительная бдительность достигла анекдотических пределов. На пленумах обкома КПСС справа и слева от проверенных и перепроверенных членов теперь сидели плечистые молодцы. Они первыми начинали аплодировать в нужных местах. Участники прений читали заранее утвержденные тексты по бумажкам. В Смольном строго блюли «наш моральный кодекс».

Однажды я пришел в Смольный на заседание, посвященное работе с творческой молодежью. Навстречу мне из дверей выбежала толпа перепуганных девчонок – балерин и актрис. Они наперебой рассказывали, что в брюках женщин теперь в Смольный не пускают и велют всем переодеться. Балетные девчонки постоянно привозили журналы мод из-за границы. Партийные руководители не успевали среагировать на быстро меняющиеся веяния. Велено было девиц переодеть так, чтобы «все было «женственно»». И вот, после часового ожидания распахнулись двери и в зал вошли юные представительницы искусств и культуры. Все они были одеты «женственно», то есть были не в брюках, а в юбках. Но в каких! Руководствуясь партийными указаниями, модницы укоротили юбки до крайнего предела. Эффект был грандиозный!

Григорий Романов, возглавлявший президиум, встал в немом изумлении. Он как-то деревянно махнул рукой и пригласил творческую молодежь в президиум. Девушки грациозно вспорхнули на возвышение и уселись по обе стороны от председателя. Поскольку возвышение было значительное, участники заседания увидели снизу, из-под стола, ослепительный ряд балетных ножек, едва прикрытых «ультра-мини». В центре соблазнительного ряда красовались единственные, идейно выдержанные штаны первого секретаря ленинградского обкома КПСС. Заседание пошло вкривь и вкось, с нарушениями регламента и прочих норм. Участники постоянно отвлекались и невпопад аплодировали, похоже, не речам вождя, а девичьим ножкам.

Многие партийные и другие начальники давно уже понимали, что все мы живем по правилам какой-то большой и бесплодной лжи. Самые умные и порядочные из них трудились, как тот телередактор, который советовал: «А вы меня обманите!» Когда приходилось выезжать за рубеж, наше униженное состояние было особенно наглядным. Издалека уже можно было определить, что это наши, это мы.

Если кучка одинаково одетых людей напряженно косится на витрины, это – наши. Это мы в данный момент лихорадочно подсчитываем пенсы и пфенниги, чтобы купить для родных какую-нибудь пустяшную тряпку. Когда наши вернутся в отель, служители будут с тревогой ждать, когда перегорят пробки и задымятся трансформаторы. Ведь по возвращении в номер, наши будут включать лучшие в мире советские кипятильники и варить в туалетных раковинах лучшие в мире гороховые концентраты. Причем они будут еще и шутить и немного даже гордиться своей российской смекалкой.

В Париже я встретился с Киселевым. В огромном чужом городе русские почему-то обязательно встречаются.

– Идем, – сказал Киселев, – ты мне поможешь. Сувениры нужно купить для госкиновских дам!

Мы зашли в галантерейный магазинчик. Среди всего прочего здесь красовалась большая корзина с дамскими

лифчиками.

– Самое то! – обрадовался Киселев.

Он вытянул из кармана вместительную советскую авоську и стал набивать ее лифчиками. Испуганная француженка что-то залопотала.

– Нужны все размеры, – упредил Киселев продавщицу, – каждая советская женщина хороша по-своему!

Потом, при мне, он вручал «сувениры» госкиновским секретаршам и редакторшам.

– С размерами сами разберетесь, – говорил Киселев, и дамы благодарно кивали.

Нищета непременно ведет к утрате чувства собственного достоинства. В этом, по-моему, корень многих российских бед. Теперь иные времена, но привычка к нищете и неустроенности так никуда и не делась. Мало того, привычка эта у нас странным образом служит поводом для чванства: «Мы великие, мы необыкновенные».

Три попытки

Между тем, в кино бестолковщина и перестраховки постепенно становились нормой жизни. Проекты будущих фильмов оценивали теперь по степени «проходимости», а эзопов язык стал, можно сказать, государственным языком не только в кино, но и по всей стране. Тут уж логики не жди! Надейся только на количество попыток – а вдруг проскочишь!

Попытка номер один!

Когда-то, еще на съемках фильма «Здравствуй и прощай», Боря Брондуков рассказал нам смешную историю про своего отца. Отец его был деревенским чудаком и вечно что-нибудь изобретал. Однажды он заперся в сарае и взялся что-то соорудить. Односельчанам он сообщил, что делает машину, которая будет вечно и безостановочно крутиться и крутить общественную мельницу, а та будет бесплатно молоть муку для всего села. Селяне про перпетуум-мобиле ничего не знали и Брондуковскому отцу поверили. По приказанию Брондукова-старшего, жители стаскивали в сарай железяки и колеса. Он потребовал для полного завершения машины все имеющиеся в наличии колеса, и деревня разъезжала летом на санях. В ожидании грядущего благополучия, жители бездельничали и пьянствовали. Местный мироед, владелец собственной мельницы, тоже не знал про перпетуум-мобиле и в борьбе с конкурентом на всякий случай брондуковский сарай спалил. Старший Брондуков едва спасся. Вот такая грустная и смешная история. Мы попытались и написали сценарий. Сценарий у нас с Мережко получился хороший, но затея была пресечена в корне. Нам приписали «пародию на революционный процесс переустройства села». Такое сразу и не выговоришь! Покойный Боря Брондуков часто с горечью вспоминал потом о нашей затее. Для него это была бы звездная роль!

Попытка номер два!

Я предложил экранизировать повесть А. Житинского «Снюсь». В ней рассказывалось о некоем младшем научном сотруднике, который обнаружил у себя способность транслировать другим собственные сновидения. Узнав об этом, знакомые и коллеги стали просить от него красивых и увлекательных снов, чтобы отвлечься от прозы жизни. Каждый требовал свое, но часто герой непроизвольно видел сны обличительные и, так сказать, нелицеприятные. Отношения с окружающими у него осложнились. Объявился деловой человек и стал использовать способности героя в корыстных целях. В конце концов, герой свою фантастическую способность потерял.

В Госкино долго уклонялись от моего предложения. Особенно сопротивлялся замминистра Борис Павленок. Он был просто неуловим. Я решил его все-таки накрыть на приближавшемся съезде кинематографистов. Съезд должен был собраться в Кремле, и я надеялся, что там непременно объявятся все кинематографические начальники.

Несмотря на то, что жили мы все беднее, кремлевские мероприятия становились все пышнее. Каждого из участников съезда снабдили красивым именованным портфельчиком для деловых бумаг, и, преодолев охрану у Спасских ворот, мы проникали в Большой Кремлевский дворец. В ожидании начала заседаний мы солидно прогуливались по кремлевским палатам, помахивая своими портфельчиками. Постепенно портфельчики тяжелели. Вместо документов там уже лежала дефицитная парфюмерия, а у семейных и многодетных кинематографистов там покоились длинные розовые сосиски, вкусно пахнувшие настоящим мясом. Всем этим запасались преимущественно москвичи, хорошо знавшие разные кремлевские киоски и буфетики. Провинциалы же только таращили глаза на позолоту, им было и так хорошо – они чувствовали себя приобщенными к высшим сферам. Ведь здесь прогуливался и помахивал портфельчиками цвет советского кинематографа. Небожители, увешанные медалями, как наш пудель Дарик, шумно приветствовали друг друга.

Виктор Мережко, с которым мы теперь встречались только на съездах, пожаловался мне, что нынешний съезд неудачный – сосиски уже раскуплены. Из черкасского парубка Витя уже преобразился в известного столичного драматурга. На открывшемся заседании все, как всегда, читали по бумажкам свои речи, а остальная публика ожидала следующего перерыва, чтобы опять ринуться к лоточкам-закуточкам. Во время чьего-то выступления, посвященного проблемам кинокомедии, я подсел к Борису Павленку и молча положил перед ним заявку на комедию по книге Житинского. Отказывать в таком священном месте было как-то неуместно, и Павленок сердито

завизировал бумагу. Свирепым шепотом он честно предупредил меня, что за мной будут присматривать. В перерыве я вышел из зала с драгоценным грузом. Не сосиски лежали в моем портфельчике и даже не дефицитная колбаса твердого копчения, а разрешение на съемку новой комедии! Я с нетерпением ждал конца съезда и, соответственно, банкета, чтобы похвастаться и отпраздновать с друзьями свою победу. Не возвращаясь больше в зал, я неторопливо прогуливался в кулуарах. Из приоткрытых дверей медпункта видны были развешенные на спинках стульев, поникшие под тяжестью звезд и орденов пиджаки ветеранов кино. Здесь отпаивали тех, кто на съезде был обделен и не приглашен в президиум. Бедные! Они теперь не попадут и на банкет!

О кремлевских банкетах следовало бы рассказать отдельно. Многие мои коллеги очень серьезно относились к этой процедуре. Задолго до начала они вроде бы случайно прогуливались у входа в Георгиевский зал. При первых же звуках торжественного марша нужно было быстренько, но в пределах приличия, пересечь огромный зал и устроиться поближе к заветной перекладине пэ-образного банкетного стола. Именно здесь, у этой перекладины размещалось политбюро и другие вип-персоны. Важно было, чтобы они тебя заметили или хотя кивнули головой. Когда подвыпившие вожди расслабятся, появится возможность пообщаться с ними накоротке, чего-нибудь попросить или просто напомнить о себе. «Рядовые» киношники, наоборот, выбирали уголки поукромнее, чтобы, как следует, выпить и закусить. Нужно было проделать это быстро, потому что через краткое время опять прозвучит бодрый марш. Под эти звуки цепь официантов ловко вытеснит гостей из зала и мгновенно очистит столы. Торжественно угаснут люстры. Ярмарка тщеславия и праздник жизни на этом закончится.

Борис Павленок сдержал слово – за мной хорошо присматривали! Только названий у нового фильма сменилось четыре: «Снюсь» – не годится – «народу будет непонятно». «Байньки» – как-то игриво. «ЧП в НИИ» – этого нам только не хватало! На названии «Уникум» редакторы утомились и остановились. Изголодавшиеся по смешному артисты снимались с удовольствием. В картине играли: Волчек и Смоктуновский, Богатырев и Леонов, Садальский и Брондуков. Но дела шли со скрипом. Больше всего редакторы боялись снов. Они беспокоились о том, что зрители будут толковать эти сны вкривь и вкось, что они будут искать намеки на всякую антисоветчину и потом клеветать на нашу действительность. Словом, к снам они были беспощадны и удаляли их под всякими предлогами. В результате получился фильм про сны, но без снов. Картину попросту замучили.

В такие дни особо ценишь верность и взаимопонимание своих товарищей. У Леонова была крохотная роль. Даже не роль, а эпизодик. Я часто вызывал его на многочисленные досъемки и пересъемки. При огромной занятости Леонов прилетал издалека, и мы делали в картине всякие заплатки и переозвучания. Он временами уже чувствовал себя неважно, но уговорить его отложить работу было невозможно. Никогда не забуду очень характерный для него эпизод. В «Утиной охоте», в сцене новоселья, мы придумали персонажу Леонова Кушаку длинный танец, в котором он демонстрирует молоденькой партнерше, что он еще мужчина – о-го-го!

– Цыганочку! – закричал Леонов. – Только цыганочку!

В этом танце подвыпившего, бодрящегося Кушака было столько наивной бравады, столько отчаянного желания «выглядеть», что сердце сжималось от жалости, а этому леоновскому танцу не было конца! Я несколько раз пытался остановить съемку, но не решался. И нас, и самого Евгения Павловича остановила какая-то техническая погрешность.

– Дубль? – спросил Леонов.

– Стоп! Это самоистязание! – крикнула Ира Купченко.

– А может быть, все-таки дубль? – повторял Леонов.

Таким же фанатом был и Юра Богатырев. При своей богатырской фамилии и росте он был человеком мягким и даже застенчивым. Он был не только хорошим артистом, но и художником. Об этом мало кто знал. Кажется, жизнь его всегда была заполнена мыслями о работе. Он мог позвонить ночью и спросить о предстоящей сцене или рассказать о чужой роли в чужом спектакле, который его чем-то поразил. На каждую премьеру он обязательно дарил что-нибудь «соответствующее». Вот и сейчас передо мной на столе стоит деревянный утенок, раскрашенный его рукой.

Замученная комедия – уже не комедия. Это уже другой жанр! Многие зрители все-таки что-то поняли тогда в нашем «Уникуме». Я получал хорошие, умные письма. Конечно, мне следовало быть дальновиднее. Пытаться сделать в те времена картину с элементами сатиры – это верх наивности! Так завершилась моя попытка номер два.

Попытка номер три!

Валентин Черных, автор сценария к фильму «Москва слезам не верит» предложил мне поставить его новый сценарий. В нем рассказывалось о любви независимой «свободной художницы» и педантичного офицера-пограничника. Процесс сближения столь разных людей и являлся основой картины. Это была скромная человеческая история, которую можно было сделать с юмором и сочувствием. Я уже упоминал об этой работе. Фильм назывался «Выйти замуж за капитана». На главные роли я пригласил хороших, опытных артистов Веру Глаголеву и Виктора Проскурина, и мы отправились в Днепрпетровск.

Почему в Днепрпетровск? Потому что это вотчина нашего генсека Брежнева и там, по уверению наших

администраторов, было «чуть получше со снабжением». Аргумент, по тем временам, серьезный. Действительно, Днепропетровск был чище и благополучнее многих иных городов. От Днепропетровска вела к столице современная, многополосная автострада. Вдоль нее тянулись ухоженные поля. На полях красовались плакаты с тщательно изображенной кукурузой, подсолнухами, помидорами и т. п. Это было сделано, видимо, для того чтобы проезжающий мимо великий земляк не перепутал божий дар с яичницей, а подсолнух с брюквой. Никак не можем мы все-таки обойтись без вождя, хоть нам кол на голове теши!

Выбирая натуру, я увидел и «образцовый райцентр». На главной площади сиял под солнцем беломраморный райком, беломраморный, но полупустой раймаг и нежилая райгостиница. Никто сюда не заглядывал, потому что незачем – командированные здесь были редкостью. На беломраморной площади золотился бюст генсека. Он был вновь вызолоченный, но почему-то казался полузабытым и никому не нужным. Вернуть «золотое время», видимо, никто уже был не силах.

С Украины мы полетели в Батуми. Здесь к группе присоединился и мой вгиковский однокашник Коля Рыбников. До сих пор его еще узнавали поклонники, но иной раз узнавали с трудом. Коля здорово постарел. Постарел он, главным образом, от тоски по работе. Социальные герои, которых он с блеском играл, ушли в прошлое. Счастлив артист, не потерявший связи с театром. Он всегда в работе и тренаже. Он играет разновозрастные роли и меняет амплуа. Иное дело – киноактер, такой как Рыбников. Он – раб обстоятельств и меняющихся режиссерских пристрастий. Сколько их, моих талантливых современников и сокурсников, осталось невостребованными! Я пригласил Николая на небольшую роль пенсионера-склочника. Он буквально накинулся на работу: что-то без устали придумывал, предлагал и очень переживал за результат. Результат получился отличный. Рыбников – есть Рыбников. Ему очень не хотелось расставаться с ролью, с привычной киношной суетой, со своей жизнью. Николай скончался вскоре после завершения нашей картины.

Батуми мне показался каким-то поникшим, не курортным. В гостинице «Медея» разворовано было все, что можно: ручки от дверей, выключатели, электропроводка. В загаженном номере от пола по стене шли следы от кроссовок. Они поднимались все выше, достигали потолка и шли уже по потолку. Для этого автору затеи пришлось, видимо, проделать гигантскую работу. Зачем и почему он так трудолюбиво гадил? От безделья? В знак протеста? По крохам накапливалось впечатление, что вся страна живет спустя рукава, только сегодняшним днем, словно чего-то ожидая.

Пограничная застава, которую мы должны были снимать, находилась далеко в горах, на границе с Турцией. Добраться до нее можно было только на вертолете. Зимой она вообще недоступна. Там шла своя особенная жизнь. Нужно было служивым и границу охранять, и самим выживать, потому что помощи ждать было неоткуда. Нищала не только страна, но и армия. Пограничники разводили свиней, выращивали овощи и кукурузу – жили натуральным хозяйством. Но независимо от того, что делалось далеко внизу, в оцепеневшей брежневской державе, пограничники регулярно уходили в дозоры, а часовой у символического пограничного столба заступал на пост, как стойкий оловянный солдатик. Хотелось сделать фильм об этих людях с уважением и сочувствием.

Когда мы завершили картину, я был приглашен в политуправление погранвойск. Многозвездный генерал долго благодарил меня за «образ типичного боевого капитана», но попросил, чтобы капитан еще и не пил и не курил.

– Исправьте нам это дело, – важно сказал генерал, – с помощью комбинированных съемок!

Я сказал ему, что это глупость. Генерал замолчал, грубость стерпел и больше не командовал. Все-таки, в стране что-то определенно происходило: не то изменялось, не то разваливалось. Во всяком случае, моей «третьей попыткой» – этим последним нашим фильмом я был доволен. Вера Глаголева в своей воинственной беззащитности была в фильме очень достоверна и мила. Таким образом, к моей серии женских персонажей прибавился еще один симпатичный фигурант.

Не счесть алмазов

Я приехал в Останкино и предложил сделать серию фильмов, посвященных российской истории. Фильмы эти должна была объединять общая тема: становление российской государственности. Снимать их могли разные режиссеры и в разных жанрах. Это мог быть и фильм о государственном деятеле, и фильм, рассказывающий о каком-то ключевом, переломном моменте истории. Это могли быть и приключенческие картины, и мелодрамы, и трагедии, и даже комедии. Из такого калейдоскопа должна была складываться некая общая эпическая картина. Такой подход давал возможность объединить для решения общей задачи многих питерских кинематографистов, предложить им на будущее ясную творческую перспективу. Дворцы, музеи, сам облик Питера – это уже готовая универсальная декорация. Сначала на ТВ воодушевились, а потом побоялись «неуместных параллелей» и «аллюзий». Мы долго спорили и даже ругались.

Всякая скандальная информация распространяется по Москве мгновенно. В тот же вечер мне позвонил сценарист Вадим Трунин – автор сценария «Белорусский вокзал».

– Слушай, – мне понравилась твоя затея с историческим сериалом. Надо бы встретиться, – сказал Вадим.

– Когда? – спросил я.

– Сегодня.

– А где?

– В ресторане, конечно! – удивился Вадим.

Время было уже позднее, но я жил в гостинице «Пекин», рядом с Домом кино, и мы встретились. Наш ресторан в то время являл собою удивительную картину. По случаю очередной антиалкогольной компании спиртное было запрещено, но весь ресторан к вечеру был уже фундаментально пьян. Спиртного на столах, конечно, не было, но на каждом стояли бутылочки с напитком «Байкал». Напиток этот был изобретен в разгар холодной войны для сокрушения конкурента – американской компании «Кока-кола». Враждебный напиток мы не победили, но «Байкал» все же пригодился – по цвету он походил на коньяк. В бутылочках из-под «Байкала» именно коньяк теперь и маскировали.

– Мне «байкальчика» и лимончик, – заказывали официанту, и официант исправно выполнял заказ. Если спрашивали «чего-нибудь попить», официант приносил фужер водки-«андроповки». Мы с Вадимом чокнулись «байкальчиком», и беседа началась. Чтобы заинтересовать сериалом, Трунин предложил для почина снять одну подлинную, но завлекательную историю.

– Ты про Василия Лебедева что-нибудь знаешь? – спросил Вадим.

Я сказал, что не знаю. Тогда, путая екатерининские времена и елизаветинские, перевирая имена вельмож, Вадим с энтузиазмом рассказал следующее.

В середине восемнадцатого века, в Ярославле, в знаменитом театре Волкова служил артист Василий Лебедев. Особыми талантами он не отличался, но был импозантен, красив и хорошо пел. Не добившись в Ярославле успеха, Василий отправился в Петербург и стал певчим в хоре графа Разумовского. Пользуясь особым вниманием дам, он быстро продвинулся и стал у Разумовского кем-то вроде затейника – шоумена.

Впоследствии Разумовский почему-то отослал Василия в Лондон, в русское посольство. Это «почему-то» объяснялось тем, что Россия давно уже подумывала о том, как бы омыть русские сапоги в Индийском океане. Для этого посольство пыталось подослать лазутчиков в Ост-Индскую компанию и разведать об Индии побольше. Ост-Индская компания, между тем, действовала замкнуто и чужаков к себе не допускала. Василий Лебедев приехал и сразу же очаровал ост-индских дам. Потребовалось некоторое время, но Василий все же был приглашен в компанию уже в качестве служащего с функцией затейника. Англичанам в Индии жилось скучновато.

Лебедев получил секретные инструкции у нашего посольства и отбыл на место службы. В Петербурге стали ждать с нетерпением вестей от лазутчика. Но Василий вдруг повел себя странно и несуразно. Он до беспамятства влюбился в Индию, в ее музыку и танцы. Он на собственные деньги организовал театр, где, к ужасу англичан, туземцы разыгрывали пьесы Шекспира, а новый служащий братался с населением и, в конце концов, скандально женился на туземке. Ост-Индская компания была разочарована. Разочарованы были и в Петербурге. От несуразного лазутчика, вместо сведений о торговом обороте англичан и количестве судов на рейде, поступил черновик русско-санскритского словаря и ноты с какими-то дикарскими напевами. Британия была оскорблена, а Россия возмущена.

Лебедева быстренько выперли из Индии. Он тут же был препровожден в Петербург, посажен, было, в Петропавловку, но по причине слабоумия и безвредности прощен и умер в нищете и забвении где-то на Голодае. Там он бредил в беспамятстве «далекой Индией чудес». Все было в этой истории: и экзотика, и любовь, и российский характер с его неизбывной тоской о прекрасном. Не было только денег и благословения начальства.

– Вот в том-то и дело! – кричал Трунин. – Будет и благословение, и деньги!

Он, оказывается, уже побывал в индийском посольстве и получил «добро». Как раз в это время мы крепили дружбу с Индией.

Через неделю я получил приглашение от индийского посольства с предложением посетить и т. д.

До Калькутты лететь долго и всю дорогу мы прорабатывали с Труниным фантазмагорические планы, касательно исторического сериала и его реализации.

– Ну, о деньгах для «Лебедева» я не беспокоюсь, – уверял Вадим, – «не счесть алмазов в каменных пещерах»!

Мы прилетели в Калькутту втроем. К нам присоединился новый директор «Ленфильма» Виталий Аксенов. В тот же день состоялась и встреча с будущими партнерами. Это был руководитель одного из местных театров и его труппа. Руководитель сказал, что в нашем распоряжении все его актеры. Это будет их вклад в общее дело, а за финансами дело не станет. «Помогут коммунисты», – доверительно добавил наш партнер, и при этом заговорщицки понизил голос. В переводчики нам определили некоего Джо. Это был не тот Джо, с которым я общался на Маврикии, а другой, калькуттский, но такой же бестолковый. Он недоучился в университете имени Лумумбы, потому что его быстренько женила на себе бойкая девушка Надя. Джо без акцента ругался по-русски, но в остальном, запас слов у него был скудный.

Выяснилось, что компартий в Индии целых пять и нам с ними предстоит поочередно наводить контакты. Наутро мы поехали по компартиям. От компартии до компартии добирались часами. На улицах Калькутты царило

столпотворение и бестолковщина. Рядом с водителем всегда сидел специальный человек, который должен был отгонять священных коров и ругаться в пробках на перекрестках. Джо нам объяснил, что такое безобразие происходит оттого, что Советский Союз до сих пор не построил в Калькутте метро. В первой компартии нас крепко обняли и попросили денег на укрепление дружбы. Во второй произошло то же самое. О сериале и о «Лебедеве» даже речи не было.

Тогда мы поехали в «Совэкспортфильм». В особнячке «Совэкспортфильма» проживал гостеприимный паренек с военной выправкой. О кинематографическом уклоне этой организации напоминал только засиженный индийскими мухами плакат с Бондарчуком в роли Пьера Безухова. Зато жена паренька накормила нас огненным украинским борщом и напоила горилкой с перцем. Обед происходил при сорока градусах в тени. Паренек объяснил нам, что это очень полезно, и поставил нам в пример англичан, которые с утра начинают выравнивать температуру тела и температуру внешней индийской среды.

О «Лебедеве» и сериале он сразу сказал, что ни черта не получится, и поддержал Аксенова в том, что нужно нажимать на «культурную программу».

– Индусы будут вольтить, пока у вас не кончатся суточные, – предрек наш хозяин.

Из чувства долга мы съездили в третью компартию и опять получили фигу с маслом.

– Наконец-то начнется культурная программа, – облегченно вздохнул Аксенов, и мы поехали в зоопарк.

Аксенов пришел на «Ленфильм» с научно-популярной студии, и у него был какой-то нездоровый интерес к животному миру вообще и к пресмыкающимся, в частности. Весь день он бродил по зоопарку и искал серпентарий. Попутно выяснилось, что калькутцы никогда слонов не видели и разглядывали их с большим интересом. Надпись: «Осторожно, слоны!» нужно здесь понимать буквально, потому что первый же слон ловко вытянул хоботом из аксеновского пиджака десятидолларовую бумажку.

– Я же говорил, что нужно идти в серпентарий! – рассердился Аксенов.

На следующий день, после бесплодного посещения четвертой компартии, мы снова отвлеклись на «культурную программу». На этот раз командовал парадом Джо. Они долго шептались с Труниным, и в машину был загружен вместительный рюкзак. Планировалась поездка к Гангу и последующая речная прогулка. На берегу Джо разогнал нищих, которые принялись было выклянчивать у Трунина рупии – он здорово походил на белого саиба и от него, как от настоящего саиба, пахло спиртным. Потом нас загрузили в утлую лодчонку и выгрузили на отмель посреди Ганга. Джо торжественно извлек из рюкзака кастрюлю, обмотанную для сохранения тепла толстым пледом, а Трунин извлек раскаленную на здешнем солнце бутылку водки. Начался пикник.

В качестве сюрприза русская жена Джо приготовила тушеную картошку с мясом.

А откуда мясо? – с подозрением спросил Трунин. – Священных коров у вас не едят.

– Эта не священная, – заверил Джо.

Выпили и закусили коровой. Мясо было совершенно несъедобное, но уточнять его происхождение как-то не хотелось. Заговорили о наших проблемах. Джо подтвердил, что все коммунисты нищие и ничего хорошего ждать от них не приходится. Отхлебнув теплой водки, Джо взял инициативу в свои руки.

– К магарадже надо ехать, – сказал Джо, – я знаю одного богатого магараджу.

– Магараджей не бывает! – заявил Аксенов.

– Нет, бывает, – настаивал Джо, – я сам повезу вас к магарадже! Все равно компартии у вас уже кончатся!

И тут я почувствовал, как снизу подбирается ко мне какая-то влажная прохлада. Оказывается, мы давно уже сидели чуть ли не по пояс в воде. К нам подобрался океанский прилив, и теперь мы оказались, практически, посреди Ганга. Вода быстро прибывала, и на нас с интересом глядели с берега многочисленные ротозои. Помогать нам никто не собирался. Видимо, считалось, что белые саибы знают, что делают.

Джо кинулся спасать кастрюлю, Трунин водку, а мы с Аксеновым удерживали рвущуюся в океан лодку. С трудом погрузившись, мы принялись грести какой-то палкой к берегу. Вспомнив, что он когда-то служил на флоте, Трунин закричал: «Табань!» Но Джо подумал, что это незнакомое русское ругательство и упорно греб в противоположную сторону. Наконец, мы кое-как добрались до берега, хозяин, как ни в чем не бывало, привязал лодку и попросил на чай.

Таким образом, мы сохранили свои драгоценные жизни для посещения магараджи.

Магараджа действительно существовал, и у него был огромный мрачный дворец. На ступеньках дворца сидело множество людей в рваных хламидах. Они слизывали с банановых листьев какую-то еду.

– Это у них час ланча, – пояснил Джо.<

> Потом мы вошли во дворец. В сумрачных огромных залах стояли каменные чудовища и звери. По ранжиру, как русские матрешки, выстроились Будды. Джо перешел на шепот.

– У магараджи тоже час ланча, – почтительно пояснил он и удалился. Через некоторое время, распугивая летучих мышей, он явился снова. Джо отворил маленькую, незаметную дверцу, и мы вошли. В каморке на потертом коврик сидел красивый седой человек в белоснежной чалме и выжидательно на нас смотрел.

– Поклонитесь, – шепнул Джо.

Мы неуклюже поклонились и плюхнулись на коврик. Магараджа отодвинул банановый лист с ланчем и заговорил. Джо переводил. Выяснилось, что род этого магараджи уже полтора столетия находится в несколько стесненных обстоятельствах. Глава рода некогда чудом выжил после какой-то эпидемии и дал обет раз в месяц кормить всех сырых и голодных. Но условия обета были не точные – неизвестно было, скольких страждущих он берет на прокорм и на какой срок. Это привело к быстрому разорению рода. Магараджа, конечно, честно выполняет завет предка, но наличных у него давно уже нет. Есть только дворец и бесценная скульптура. Он сдает дворец киностудиям как декорацию для съемок и продает кое-что из семейных реликвий.

– Когда у вас будут съемки, – пообещал старец, – вы сможете снимать здесь бесплатно. Пусть это будет мой вклад в совместную постановку.

Джо был прав. Магараджи в Индии все-таки есть, но безденежные. Вскоре и у нас тоже кончились суточные.

Я прилетел в Москву в морозный солнечный день и явился в Госкино. Там сменился главный редактор. Им стал гвиговец, толковый киновед и критик Армен Медведев.

По правде говоря, я не очень надеялся на успех. В кино все чаще прекращалось финансирование, возникали долгие простои. По всей стране не хватало простейших товаров первой необходимости. Останавливались заводы и шахты. Было не до кинематографа. Новый главный редактор сидел в своем кабинете в полном одиночестве. Я рассказал Медведеву, не вдаваясь в подробности, о нашем плане касательно исторических фильмов. Он поддержал его, но заметил, что, конечно же, в телевизионном исполнении это интересно и правильно, но что касается кинематографа...

Каждый исторический фильм – это тяжелый труд и огромные деньги. Замахиваться сейчас на серию фильмов – просто безумие. Я решил, было, что разговор окончен, но Медведев меня остановил.

– Вот если попробовать сделать какой-нибудь пилотный фильм, – сказал он, – проверить, что сейчас возможно, что невозможно экономически и организационно. Тогда, в случае удачи, можно наращивать постепенно вокруг этой картины фильма-продолжения, как растут солевые кристаллы.

Я поблагодарил и сказал, что подумаю. Новый редактор мне понравился. Он был сдержан и деловит.

В объединении мы принялись искать тот первый кристалл, для серии будущих фильмов. Прежде всего, нужна была крепкая, уже готовая сценарная основа. Подготовка оригинального сценария отняла бы много времени. Решили остановиться на пьесе Леонида Зорина «Царская охота». В основе действия – борьба Екатерины Великой за власть и похищение графом Алексеем Орловым возможной претендентки на трон, княжны Таракановой. Пьеса с успехом шла в театре Моссовета. Зорин был известным драматургом, имевшим опыт работы и в кино. Я подумал, что необходимо сразу же сориентироваться и по поводу соседствующих «кристаллов». Так появилась идея постепенно и параллельно готовить сценарии еще для двух картин. Мы решили, что одна будет экранизацией романа Мережковского «Петр и Алексей», а другая – пьесы того же Мережковского «Бедный Павел». Таким образом, замаячил проект трилогии, которую можно объединить названием: «Империя. Начало». Пугать перспективой такой трилогии никого пока не следовало – дай бог разобраться хотя бы с «Царской охотой»!

С Леонидом Зориным мы быстро нашли общий язык. Если объединяющей темой трилогии становится «человек и власть», то и в пьесе нужно сделать некоторые изменения и иначе расставить акценты. Зорин согласился и на это. Но как решать финансовые проблемы? Кто-то из московских плановиков, чтобы увеличить смету, предложил искусственно раздуть метраж картины. Надежда на съемки как появилась, так и пропала. Многие успокаивали меня, что это даже к лучшему. Виданное ли дело: в смутное, переходное время ввязываться в такую работу? Да и кому это сейчас нужно? И тут, в который раз, мне помог случай. Даже два!

Первым можно считать появление в Госкино Армена Медведева, а вторым – то самое «смутное, переходное» время. К параксизмам нашей перестройки за рубежом присматривались и приценивались. Все-таки, происходило в России нечто невиданное. О затее с «Царской охотой» узнали через «Совэкспортфильм» в Праге, на студии «Баррандов», и в Риме, на студии «Чина-чита». На сближение будущие партнеры пошли с большой осторожностью. Итальянцы поглядели «Женитьбу», пошушукались и пригласили нас в Рим для продолжения переговоров. Но дело вдруг неожиданно и быстро наладилось как в Риме, так и в Праге. Приятно было увидеть, как изменились отношения с чешскими коллегами на «Баррандо-ве». Если в прежние приезды, я всегда чувствовал затаенную недоброжелательность, то теперь нам помогали искренне и по-товарищески. Сложнее и смешнее все происходило в Италии.

Основная съемочная группа была у нас все та же: оператор Векслер, художник Белла Маневич и замечательный художник по костюмам Лариса Конникова. Фильм получался дорогостоящий, и мне предложили на картину неизвестного мне директора Беню Путикова. Его рекомендовали, кажется, в студийном профкоме.

– По сегодняшним перестроечным временам, – сказал наш профсоюзный вождь, – Путиков самый честный человек на «Ленфильме»! Вождь так говорил не зря, потому что на студии уже начались первые лукавые «приватизации»: бесследно исчезали реквизит, аппаратура, костюмы. Все это прикрывалось самими

прогрессивными и красивыми лозунгами. Беня, видимо, был честным человеком, но директором он оказался никаким. Сказывалось и то, что работать ему пришлось в непривычной обстановке. Перед нашим отъездом в Италию Бене вручили в банке сорок тысяч долларов наличными – никто не знал толком, как оформлять чеки и вообще, что это такое. Беня сложил иностранные тыщи в старую женину сумочку, положил сумочку в полиэтиленовый пакет с портретом Че Гевары и прибыл в Шереметьево. Ознакомившись с содержимым сумочки, таможенники лишились дара речи и поспешно отпустили Беню – на заре перестройки они тоже не знали, как поступать в этих случаях. Их потрясла еще и беспечность, с которой Беня разгуливал по воровской перестроенной Москве. Так, помахивая Че Геварой, Беня Путиков прибыл в аэропорт имени Леонарда да Винчи. Начались сложности. Во всех банках и обменных пунктах служители пугались странного человека с советским паспортом и портретом вооруженного до зубов Че Гевары. Ни одного итальянского слова Беня, конечно, не знал.

Даже когда Беня явился в банк уже в сопровождении переводчицы, его все равно отказались обслуживать. Что происходит в России, никто не знал, и, на всякий случай, его отфутболивали. Ситуация оказалась неожиданной и для итальянцев, которые взялись нам помогать. Теперь им пришлось, до выяснения обстоятельств, платить за нас в гостиницах и, в целях экономии, кормить нас макаронами в своем офисе. Эти итальянцы когда-то работали с Никитой Михалковым на картине «Очи черные» и привыкли уже, что с русскими всегда что-то случается. Они окружили нас трогательной заботой.

Помреж Анита передавала нам новости с родины. Анита сообщала то, что узнавала из газет, но пересказывала по-своему.

– У вас очень плохо! – сообщала Анита. – Ваш толстый Пабло отнял у вас все деньги!

Речь, оказывается, шла о денежных реформах премьер-министра Павлова. Однажды она пришла в слезах:

– У вас отобрали всю водку! Что вы теперь будете кушать? – видимо, до Аниты дошли слухи об очередной антиалкогольной кампании.

После общения с русскими кинематографистами Анита считала, что водка – наш основной пищевой продукт. Путиков похудел и спал на ходу. По ночам он стерег пакет с Че Геварой. Оказывается, сорок тысяч долларов – смехотворная сумма, вскоре уже и охранять-то стало нечего. Не советуясь с итальянцами, Беня часто совершал разорительные ошибки. Для съемок на рынке он заказал искусственные морепродукты. Рыбу и всяких каракатиц сделали очень похожих, но во много раз дешевле было просто купить все это живьем в супермаркете.

На съемках потребовался артист, изображающий кучера. Платить нужно было, конечно, валютой. Тогда вызвали артиста-кучера из Москвы, чтобы все расходы были в рублях. Прилетел Стас Сададьский, но выяснилось, что лошадь понимает только по-итальянски – Стаса она не слушается. Когда Стас выучил два необходимых итальянских ругательства, лошадь его поняла, но стала шархаться от кинокамеры. Оказывается, Беня подрядил по дешевке тупую крестьянскую лошадедку, предназначенную для перевозки навоза. Пришлось гнать из Рима дорогостоящую коневозку с учеными лошадьми и важным, как профессор, конюхом. Снимали в Пизе около знаменитой башни. Стас Сададьский предупредил Путикова, что если башня повалится, то платить придется ему. Путиков испугался. Он теперь был уже опытным финансистом и понимал, что оставшихся долларов на ремонт башни не хватит.

Съемки в Италии были хоть и дорогостоящими, но кратковременными. Нам предстояла еще Прага, Крым и Ленинград. Здесь, в ленфильмовских павильонах, мы должны были снять основные, сюжетообразующие сцены. В главных ролях снимались: Анна Самохина, Николай Еременко-младший и Светлана Крючкова. Еще на пробах к «Женитьбе» я в шутку пообещал Светлане, что когда-нибудь сниму ее в роли Екатерины Великой. Прошло каких-то десять лет, и я сдержал слово. Бывает в кино и такое. Роль Екатерины, формально не главная, была по сути ключевой, несущей основной смысл и конфликт картины. По-моему, Светлана справилась с этой работой блестяще.

Декорации для нас строили долго – не хватало материалов, тканей и всяких неожиданных мелочей. Дворцовые фактуры наши художники имитировали только за счет изобретательности и всякого шаманства. «Ленфильм» постепенно, но неуклонно разваливался. Приватизированные цеха гонялись только за прибылью, аппаратура выходила из строя. Поскольку у нас реформы обязательно начинают с переименований, Первое творческое объединение теперь называлось: «Голос». Я был назначен худруком, но руководил только самим собой и нашей съемочной группой. Потом кинопроизводство вообще прекратилось – не было пленки. Я взялся было монтировать картину, но выяснилось, что искусственно завышенные метражи я теперь не имею права сокращать. Это сработала прежняя плановая система.

Итальянцы просили сделать фильм покороче, а Госкино – подлиннее, «чтоб совпали отчетные плановые показатели». Я пытался сокращать картину с упорством и остервенением. Я был убежден, что из фильма нужно убрать двадцать три минуты и картина станет значительно лучше, динамичнее, но плановики и бухгалтеры только улыбались. Неожиданно фильм пригласили на международный фестиваль и меня вытолкнули с несокращенной копией в Монреаль. «Потом сократите!» – пообещали в Госкино.

Когда-то мои приезды в Москву постоянно сопровождалась всякими политическими неприятностями – то Брежнев умирал, то Сталин. На этот раз я сработал по-крупному – развалился Советский Союз! Я прибыл в столицу

девятнадцатого августа девяносто первого года. Никаких признаков катастрофы не было видно. Люди шли по своим делам, работали магазины. Мимо покрытого утренней росой Маяковского ползли по улице Горького автобусы и троллейбусы. Перефразируя этого поэта, можно было сказать: «по Горького дули авто и трамы уже при капитализме». Никто этого не замечал, только где-то на Пресне погромыхивали танковые моторы. Самолеты тоже летали. Без всяких приключений я улетел в Монреаль.

Здесь все были увлечены фестивалем, шла своя жизнь. Только группки канадских украинцев требовали от кого-то «незалежности», да иногда по улицам Монреаля проносились вереницы машин, украшенных литовскими флагами. Литовская диаспора уже праздновала свою независимость. Около фестивального центра слонялись безработные русско-еврейские эмигранты. Не зная никаких языков, они предлагали себя в переводчики и гиды. Таковы были далекие отзвуки наших потрясений. Фильм собрал полный зал – сказывался все-таки возросший интерес к российским делам. Иностранные коллеги картину хвалили, но при этом добавляли, что хорошо бы покороче. Тем самым, они нечаянно, но густо посыпали мою рану солью.

Дома меня ждали новые неприятности. Хейфиц отошел от дел Союза кинематографистов, и я снова попал в начальники. Положение здесь было ужасающим. Безработные, обнищавшие кинематографисты по привычке приходили в Союз за помощью, а помочь было нечем. Гордо голодали в одиночестве всенародно любимые, известные артисты. Заходили сюда и коллеги, из тех, кто быстро адаптировался к перестроечной конъюнктуре. Они выясняли, нельзя ли тут что-нибудь «приватизировать». От этих посещений становилось еще паршивее на душе.

Разваливался лучший в стране репинский дом творчества кинематографистов. Я приехал в занесенное снегами Репино, чтобы ознакомиться с обстановкой. Обстановка была блокадная – тишина, темнота и холод. Старенькая библиотечка, которую я знал много лет, сопровождала меня в моем печальном походе по комнатам, холлам и закоулкам. Она привела меня в библиотеку, в единственное помещение, где еще было тепло и светло. Аккуратными рядами стояли там книги с аккуратно подклеенными корешками, лежали позапрошлогодние журналы про кино. Библиотечка ждала своих постоянных читателей, которые долго теперь сюда не придут, а может, не придут и никогда. У нас с ней получился стихийный вечер воспоминаний. Библиотечка знала всех своих великих и не великих абонентов.

– А помните этот шеститомник? – спрашивала библиотечка и смеялась.

Я смеялся тоже, потому что хорошо помнил историю с шеститомником. Владимир Венгеров, известный питерский режиссер, был постоянным жителем дома творчества, а библиотечный шеститомник Пушкина Володя переселил к себе в комнату на постоянное жительство. Без преувеличения можно утверждать, что Пушкина он знал наизусть. Особенно Володя любил читать Пушкина вслух и с выражением в дни студенческих каникул, когда в Репино приезжали молоденькие девочки-студентки. Володя приглашал их к себе в комнату, угощал сладостями, сам угощался коньяком и вдохновенно декламировал любимого поэта. Девочки с восторгом внимали. Мужская половина студенчества была Венгеровым очень недовольна.

Однажды, пока Володя витийствовал в одном из холлов, студенты похитили из соседнего дома отдыха огромную гипсовую девушку с веслом, перенесли ее за три километра в Репино и поместили в комнату Венгерова. Поздно вечером не очень трезвый режиссер пришел в свой номер и увидел в ванне хладное обнаженное тело. Боюсь описывать первую реакцию режиссера. Вторую я увидел сам утром. Венгеров спозаранку будил всех знакомых и умолял вынести сообща гипсовую девушку и спасти его от позора. Но девушка была невероятно тяжелой и очень мешало намертво закрепленное весло. Девушка была отвратительна еще и потому, что была синяя – экономный завхоз дома отдыха покрасил ее синькой. Ночью, с помощью автокрана, Володю от девушки освободили, но уже утром перед входом красовалась вылепленная из снега точно такая же девушка и тоже синяя. Студенты поддерживали стацию в сохранности до самой весны.

Прежде в воскресные дни дом творчества «Репино» был всегда переполнен, потому что съезжались родственники и знакомые из соседних дач. Постоянно за одним и тем же угловым столиком появлялась Анна Ахматова в сопровождении Алексея и Гитаны Баталовых. Бывали питерские поэты и писатели: Орлов, Дудин, Берггольц, Гранин. Я помню и тот мрачный день, когда Алеша Баталов своими руками мастерил здесь крест для Ахматовой, потому что никто не знал, где и как вздумают начальники похоронить великую поэтессу.

Москвичи тоже любили наше Репино, здесь было написано и придумано немало прославленных, замечательных картин. Я помню здесь Тарковского, Кулиджанова, Визбора, Гребнева и Габриловича. Помню Николая Крючкова, Окуневскую, Ладынину и многих, многих. Это было дружное, веселое сообщество – можно сказать, семья. Здесь проходили и казенные мероприятия, но они почему-то не удавались или оканчивались не так, как задумывало начальство. Помню семинар, организованный горкомом партии. Семинар был посвящен проблемам кинокомедии. В Репино согнали всех прославленных комедиографов. Приехал и Райкин. Секретарь горкома сделал доклад с призывами и указаниями. Потом дали слово Райкину. Райкин подошел к трибуне и вдруг напялил на себя парик, пенсне и произнес пародию на оратора из какого-то своего эстрадного номера. Это было настолько смешно и похоже на повадки секретаря, что зал онемел. Потом все мы сделали вид, что ничего не произошло, и стали дружно

аплодировать. Секретарю ничего не оставалось делать. Он тоже аплодировал и криво улыбался.

Поворот «Все вдруг»

Насколько мы прежде были общительны и доброжелательны, настолько же в дни перестройки все вдруг преобразились. Одни чего-то выжидали, другие бурно выражали приверженность новым веяньям. Собственную страну называли уже «этой страной», а слово «патриот» брали в кавычки. Начались поспешные коллективные переоценки с точностью до наоборот.

Мы с Валуцким написали сценарий «Первая встреча, последняя встреча». Картина задумывалась как стилизованный детектив. По сути, он был предтечей акунинских романов: тринадцатый год, красавица шпионка, юный сыщик (почти Фандорин) и т. д. Мои коллеги дружно обвинили картину во всех смертных грехах.

– Стало быть, «православие, самодержавие и народность»? – иронически вопрошал один.

– Ты, кажется, взялся за «патриотическую» тему! – вторил другой.

Это было очень похоже на проработки, которых я немало повидал во времена оны. Очень уж угнетали меня в эти дни разные метаморфозы, происходившие с хорошо знакомыми людьми. Самыми нетерпимыми борцами за демократию оказывались почему-то именно те, кто еще недавно бегал наперегонки через Георгиевский зал к заветному политбюровскому столу.

На экранах появились фильмы о благородных бандитах и загадочных, романтических *censored*тках. Они чередовались с фильмами, живописующими полную безнадегу и чернуху. Понять и объяснить это было можно. Всем хотелось замахнуть на прежде недозволенное, говорить о том, что так долго было под запретом.

Когда я заговаривал в те дни о сокращении «Царской охоты» или о постановке «Царевича Алексея», на меня глядели, как на помешанного, но я ничего не мог с собой поделать. Мне казалось, что во времена исторических потрясений, как раз и следует напоминать о прошлом. Но ответ был всегда один: «А деньги где?» Тогда я решил, в ожидании «Царевича», снять современную комедию – скромную малобюджетную картину о нынешних российских людях, которые, не будучи бандитами и *censored*тками, пытаются выжить в трудное время. Сценарий написал молодой сценарист Владимир Вардунас, а снимали мы в реальной «перестроечной среде»: в палаточном городке у Кремля, на фоне подлинных демонстраций, митингов, рынков и криминальных ларьков. Снималась Нина Усатова и Михаил Дорофеев. В последний раз приехал из Киева и снялся у меня Боря Брондуков. Он был уже тяжело болен.

В нашем новом фильме «Чича» рассказывалось о том, как солист военного ансамбля по прозвищу Чича, всю жизнь певший тенором, обнаружил у себя бас. Отсюда начались с Чичей всяческие приключения и злоключения. Съемки картины шли в параллель с реальными перестроечными событиями. Начались они в Крыму, где в то время митинговали и делили землю крымские татары, а последние эпизоды мы снимали уже под Сиверской, где псковские десантники шли усмирять Питер, а студенты строили баррикады у Мариинского дворца.

Картина, по-моему, получилась смешная и грустная, но неуместная. На первом же «Кинотавре», в Сочи, коллеги обвинили меня в «антиперестроечных тенденциях».

– Ты защищаешь эту армию? – удивлялась моя однокурсница.

– А какую армию мне защищать? – интересовался я. Впрочем, ответов от меня никто и не ждал. В то время эффективнее и прогрессивнее было только задавать вопросы.

На просмотре «Чичи» в Госкино, я, конечно, спрашивал и о своем будущем. Там знали уже, что «Царская охота» прошла на зрителе успешно, несмотря на развал проката и киносети. Я объяснял это прежде всего тем, что люди устали от бесконечных чернушных ужасиков и предпочли глядеть на завитые парики и парчу. Отчасти, так оно и было.

– Зачем вам сокращать «Охоту», если ее и так смотрят? – спрашивали прокатчики.

– Она должна вписаться в будущую трилогию, – объяснял я.

Знакомые прокатчики крутили пальцем у виска и больше вопросов не задавали. Тем не менее, прокатный успех «Охоты» как-то повлиял на дальнейшее развитие событий. Впервые о проекте «Царевич Алексей» заговорил всерьез и конкретно тогдашний директор «Ленфильма» Александр Голутва. Нужно сказать, что эти два человека – Медведев и Голутва в самое тяжелое для российского кино время, без шума и лишней болтовни, терпеливо снося наши нападки и упреки, удержали-таки на плаву киношный корабль. За это им нижайшее спасибо.

Что же касается «Царевича», то я, несмотря ни на что, исподволь делал сценарные заготовки к фильму. Отвлекаясь от религиозно-философских построений Мережковского, я хотел перенести акцент на нравственную, человеческую суть конфликта между Петром и Алексеем. Взвалив на свои плечи всю тяжесть единоличной власти, Петр столкнулся и с нравственным аспектом властвования, с трагически неразрешимой проблемой выбора между казенной надобностью и христианскими понятиями о справедливости и милосердии. Вечный оппонент всякого властителя – его совесть. Этим вечным оппонентом для Петра стал его собственный сын. Хотелось рассказать эту общеизвестную историю, ничего не упрощая и не соблазняясь злободневностями.

По мере того как возрастали шансы на постановку «Царевича», множились и проблемы. Возник, например, передо мной вопрос: как быть с привычным для зрителей обликом Петра? Менять его рискованно, как рискованно было бы, наверное, снять в роли Чапаева какого-нибудь лысого толстяка. Так же неколебимо сложился у зрителей и «единственно правильный» образ Петра-Симонова. Стареющий, страдающий Петр – это и так уже непривычно, это нужно еще зрителю осмыслить и в это поверить. Перед актером Виктором Степановым пришлось поставить неблагоприятную задачу: деликатно подражать. На роль Алексея я утвердил «необстрелянного» еще выпускника мхатовского училища Алексея Зуева.

Все зарубежные сцены скитаний царевича Алексея мы снимали в Польше, совместно со студией режиссера Ежи Гофмана «Зодиак». Для основных интерьерных съемок поляки нашли под Вроцлавом старинный немецкий замок. Замок хорошо сохранился, потому что оказался вдали от военных действий. Сначала его берегли немцы, а после войны он стал чем-то вроде дома отдыха для офицеров Войска польского. Прекрасно сохранилась вся мебель, картины, посуда и предметы быта. Мы работали в идеальных условиях, потому что и жили мы здесь же, в помещениях замка.

Вернувшись в Питер, группа продолжила съемки в подлинных исторических интерьерах Летнего и Меншиковского дворца. Нам помогали и, одновременно, от нас охраняли свои сокровища самоотверженные служители петербургских музеев. Их преданность делу в условиях перестроечной нищеты и неразберихи еще никто по-настоящему не оценил.

Говорят, что стены и предметы хранят энергетику прежних владельцев и обитателей. Не знаю, правда ли это, но что-то все-таки есть. Сознание или подсознание, но что-то влияет на поведение людей вообще и артистов в частности, когда они действуют в окружении подлинных предметов старины. Видимо, обостряется чувство сопричастности, перекидывается какой-то мостик между прошлым и настоящим.

По слухам, Алексей Толстой во время съемок «Петра Первого» нередко заставлял Симонова ночевать в Летнем дворце. Он верил в таинственную связь времен, людей и предметов. А бывает и так: киновымысел рядом с чем-то подлинным жестоко себя разоблачает. Режиссер Эрмлер в шестидесятых годах задумал снять фильм «Перед судом истории». Предполагалось, что это будет фильм-интервью с известным монархистом, членом государственной Думы Шульгиным. По ходу этого интервью-полемики предполагалось разоблачить и обезоружить идейно этого ярого антисоветчика.

На роль историка, в оппоненты Шульгину, назначили вальяжного артиста, часто игравшего мудрых ученых. Для артиста написали и текст – перечень вопросов, которые должны были сразить и опозорить Шульгина перед кинокамерами и всем прогрессивным человечеством. Эрмлер, зная, что он будет иметь дело с девяностолетним стариком, вызвал в павильон врачей скорой помощи с грелками и шприцами.

– Вы правильно сделали, – сказал Шульгин, – этот старикашка, – показал он на Эрмлера, – так волнуется, что долго не протянет.

«Старикашке»-Эрмлеру в это время было около пятидесяти. Шульгин и дальше продолжал вести себя нештатно. В ответ на команду Эрмлера «камера», Шульгин крикнул «стоп» и попросил больше никогда при нем слова «камера» не произносить – в большевицких камерах он уже, дескать, насиделся и слышать этого слова не может.

– Если есть у вас другое подходящее слово, то вы его и говорите, – разрешил Шульгин.

На съемках у Эрмлера постоянно толпились ленфильмовцы – слушали Шульгина. Все аргументы противника он опровергал с легкостью. Он и его визави представляли два разных мира и времени. Шульгин попросился из Парижа в Россию, чтобы здесь умереть. Сейчас он был весел и внутренне свободен. Нанятый же артист был воплощением несвободы. Шульгин ощущал себя независимым, потому что таковым был всю жизнь, а «историк» мучительно «делал вид». Фальшь была вопиющая! В итоге, сначала запретили появляться на этих съемках посторонним, а потом тихо свернули картину и никому ее не показывали. Картина и этот «историк» сами себя разоблачили.

«Царевича» приняли, в общем, хорошо. Нашим фильмом закрылся Московский международный фестиваль. Фильм поехал в Париж, потом – в Канны, на неделю российской культуры. Кое-какие прибавки по нашему внутреннему счету тоже были. Дебютант Алеша Зуев обратил на себя общее внимание. У него получилась серьезная роль – правдивая и лирическая. Дебют, можно сказать, состоялся. В новом качестве показалась и Людмила Зайцева. После «Здравствуй и прощай» ее, как у нас бывает, постоянно приглашали на роли уже сыгранных ею разнообразных «Шурок». В роли Евдокии Лопухиной она открылась как трагическая актриса. После простоватого Федора – любимого мужа Ксении – Любшин замечательно сыграл вельможного интригана графа Петра Толстого. Любшинский Толстой – ой, как был не прост! Предавая, он плакал над жертвой. Убивая, он жертву утешал. Всегда, с каждой работой, в Любшине открываются какие-то новые грани. Вернее, он сам в себе их открывает необыкновенным трудолюбием и одержимостью.

После «Царевича», прогуливаясь в Каннах по набережной Круазет, я строил планы. Во-первых, сократить «Охоту» на злосчастные двадцать три минуты. Во-вторых, поразмышлять над заключительной частью трилогии – над «Бедным Павлом». Я даже нашел эпиграф, объединяющий все три картины. Это будут слова Фридриха Шиллера:

«Проклятье злого дела в том, что вновь и вновь оно рождает зло».

И вправду: убийство царевича Алексея, уничтожение Петром преемственности во власти привело к цепи переворотов. Смута привела, в конце концов, к незаконному воцарению Екатерины. А постоянный страх за власть и трон заставлял незаконную императрицу вступать в борьбу даже с несчастной Таракановой. Все тот же страх и ее ненависть к сопернику – родному сыну сделали и Павла тем, чем он стал – неуравновешенным, мнительным властелином, который в деяниях своих руководствовался лишь ненавистью к покойной матери. Причины и следствия тут разорваны временем, но они едины. И вообще, история – это бесконечный, полный драматизма процесс преодоления человечеством собственного варварства, тяжкий процесс самопознания и самосовершенствования человека. Задача трилогии – сочувственно следить за этим процессом и за людьми, которые, не ведая того, эту самую историю творят.

Так, самонадеянно философствуя, я прогуливался по набережной Круазет до тех пор, пока на меня не свалился полновесный исторический факт. Я обнаружил, что мои соотечественники – новые русские – ведут себя как-то странно, собираются кучками, размахивают руками и что-то бурно обсуждают. Они почему-то не пьют, не едят и не фотографируются. Ветер доносит только слово «дефолт», произносимое с разными интонациями. Я не знал слова «дефолт», но на следующий день в Москве сразу с ним познакомился. «Дефолт» означал, что моих скромных сбережений уже нет и что мои далеко идущие планы, мягко говоря, несвоевременны. Был август тысяча девятьсот девяносто восьмого года.

Новые времена

В нашей студии «Голос» денег не было и быть не могло, даже если бы мы придумали суперзавлекательный проект. По случаю дефолта запрещено было затевать новые проекты. Деньги давали только на завершение уже начатых, а начать нельзя было, потому что... и т. д. Разорвать этот замкнутый круг мог только невероятный случай. Если б, например, к нам в студию пришел вдруг сумасшедший или пьяный миллионер и сказал: «Ребята! Берите денежки и начинайте!» Пьяные миллионеры уже иногда попадались, но денег они не предлагали.

Оставалось только бродить по пустынному «Ленфильму» и мечтать о чудесной случайности.

– Ну, вот поступил же я диким образом во ВГИК? Это же чистая случайность! – утешал себя я. – А встреча с товарищем Кузаквым?

Я стал вспоминать всякие счастливые случайности – свои и чужие. Вот, например, был невероятный случай с Володей Басовым. В сорок четвертом году он ехал с фронта по ранению в Москву и по дороге узнал, что его мать эвакуировалась, а где ее искать неизвестно. На какой-то узловой станции Басов вышел в ожидании пересадки. Он бродил по переполненному залу ожидания, перешагивая через спящих, и вдруг обнаружил, что чуть не наступил на собственную мать – измученная скитаниями, она спала прямо на бетонном полу. Возможна ли такая встреча в многомиллионной воюющей стране? Оказывается, возможна!

С тем же Басовым был и другой случай. Вдвоем с нашим однокурсником Славой Корчагиным они снимали фильм «Школа» – по Гайдару. Ежедневно один из них летал из Киева в Москву с отснятой пленкой. Пришел черед лететь Басову. В аэропорту они пообедали, но Басов выпил лишнего. У трапа его в самолет не пустили.

– Этого я не впущу! Пусть вон тот летит! – показала стюардесса на Корчагина.

Самолет разбежался, набрал высоту и на глазах у Басова разбился. Володя всерьез поверил в могущество случая и потом частенько выпивал больше, чем нужно, «на всякий случай».

Басов часто и бурно влюблялся, взалхлеб рассказывал о своих невестах и о каждой обязательно говорил, что это его «счастливый случай». Таких случаев у него было четыре или пять – точно не помню.

Потом я вспомнил еще счастливый случай с одним монгольским студентом, случившийся у нас в институте. Его все звали Лувсаншарап, но никто не знал, имя это или фамилия. Монгол не знал ни слова по-русски. Его только что привезли во ВГИК, и он бесцельно брел по коридору, потому что заблудился. Девочки из приемной комиссии подбирали таких приبلудных иностранцев и сортировали их по аудиториям. На вопросы девочек Лувсаншарап только кричал слово «монгол» и бил себя кулаком в грудь. Девочки поняли, откуда родом человек, и принялись выяснять, у кого он должен учиться. Из вежливости, монгол на все вопросы кивал утвердительно.

– Герасимов? – спрашивали девочки, и Лувсаншарап кивал.

– Юткевич? – и монгол снова кивал.

У девочек было много еще неотсортированных иностранцев, поэтому они прицепили к монголу записку: «Я монгол, хочу к Юткевичу» и отправили его дальше бродить по коридорам. «Кому надо, те найдут», – рассудили девочки. Лувсаншарапа подобрали и посадили в нашей аудитории. В это время Юткевич зачитывал список принятых на курс. Все поочередно вставали и говорили «я!». Лувсаншарап тоже вскочил, ударил себя в грудь и крикнул: «монгол». Юткевич ответил, что ему это очень приятно, и Лувсаншарапа внесли в список принятых под условной кличкой «Монгол» до уточнения его правильного имени. Полгода Лувсаншарап посещал лекции и писал

кисточкой какие-то письма в толстой тетради. В конце семестра выяснилось, что монгол учился не там. Ему нужно было учиться в тимирязевской академии. Лувсаншарапа отозвали на родину и сделали там заместителем министра культуры. Все-таки человек учился в Москве и во ВГИКе, а Монголии позарез нужны культурные кадры. Это ли не фарт! Это ли не случай!

В студию «Голос» счастливый случай явился не в монгольском облике, а в кавказском. Сулико отрекомендовался как «абхазский беженец». Для беженца он выглядел вполне благополучно – прибыл на иномарке, часто взглядывал на дорогие часы и вынимал мобильник, что было тогда еще редкостью. Он сказал, что давно уже любит кино, снимался однажды в массовке у Гайдая и намерен внести посильный вклад в дело возрождения кинематографа. Это слово он выговорил не сразу.

Мы навели справки у другого абхаза, которого мы знали по «Ленфильму». Тот сказал, что, кажется, этого Сулико припоминает и что у Сулико, кажется, большая мандариновая плантация.

– Он просил денег? – спросил ленфильмовец.

– Нет, он предлагает! – сказали мы.

– Так берите! – посоветовал коллега.

Я вспомнил, что у меня уже был один такой случай и тоже на Кавказе. В Марнеули, в Грузии, я снимал большую сцену с массовой. На съемочной площадке, как полагается, расположилась наша кассирша с ведомостями и сейфом-ящичком для денег. Мгновенно перед кассиршей выстроилась длинная очередь. Потом прибежал взволнованный директор. Оказывается, очередь выстроилась не для того, чтобы деньги у нас получать, а чтобы платить за возможность сниматься.

– Сколько? – спросили в массовке.

– Двадцать пять за съемочный день! – ответила кассирша, и в ее сейф посыпались четвертные бумажки. На Кавказе все бывает!

Сулико установил странный порядок расчетов – он платил еженедельно одинаковые суммы, независимо от того, какие именно расходы производились за неделю на картину. Мы работали вслепую, но дареному коню в зубы не смотрят. По желанию Сулико, мы снимали «дефетив». Сценарий написал молодой сценарист Зайкин. Это была шутовская кинопародия под названием «Последнее дело Вареного». Сулико объяснял странный порядок расчетов тем, что так к нему «поступают поступления».

Мы установили режим строжайшей экономии: снимали по ночам во всяких закоулочках «Ленфильма», во дворе, в цехах, одевали артистов в принесенную из дому одежду и обставляли интерьеры собственной, домашней мебелью. За какие-то гроши, больше по знакомству, снималась Оля Машная и привлекла в качестве партнера своего знакомого музыканта. Главную роль исполнял Виктор Степанов. Он был переквалифицирован мною из Петра Великого в бандита Вареного. Виктор из экономии приезжал на съемки из Киева в Питер на своей машине.

Однажды у нас было совещание с большими милицейскими чинами по поводу наших съемок. На совещание пригласили и Сулико. Сулико вошел и, увидев такое количество милицейских начальников, словно окаменел. Я представил его как нашего спонсора. Начальники и Сулико некоторое время молча глядели друг на друга. Наконец, наш благодетель смущенно улыбнулся, взглянул на дорогие часы, сказал «мне пора» и исчез за дверью. Милиционеры переглянулись, а один сказал, что этого спонсора, кажется, где-то уже видел. Получалось, что все нашего Сулико, «кажется», вспоминают, но никто толком его не знает.

Между тем, еженедельные взносы продолжали поступать. Сюжет у нашей будущей картины был такой: жуткий наркоторговец обманным способом заставляет безработного младшего научного сотрудника перевозить наркотики и богатеет не по дням, а по часам. Возмущенная жена мэнэса нанимает рецидивиста по кличке Вареный, чтобы тот отнял богатства у наркоторговца. Однако Вареный во время бандитской разборки получает черепно-мозговую травму и у него возникают приступы честности. Днем он наркоторговца грабит, а ночью в беспамятстве все ему возвращает.

Когда мы сняли второе возвращение Вареного, Сулико внезапно исчез и взносы прекратились. Поиски не дали результата. Мы позвонили нашим милиционерам, и они сообщили, что все в порядке – Сулико уже в тюрьме. Где-то, как-то он жульничал и что-то «отмывал», но неудачно. А нам теперь какво? Мы попросили было отпустить спонсора на поруки, чтобы он еще наотмывал нам «поступлений» до конца съемок, но милиционеры не согласились.

И все-таки, появление Сулико я считаю случайностью счастливой! К этому времени мы уже отсняли достаточно для того, чтобы попросить у Госкино денег «на завершение». Я приехал к Медведеву и показал снятый материал.

– Сколько вам нужно? – спросил Медведев.

Я назвал сумму, которую выдавал еженедельно наш Сулико.

– И вы так сняли уже полкартины? – поразился Медведев.

В тот же день я возвратился в Питер уже официально профинансированным из государственных средств.

Как это ни странно, но возникшая из ничего картина широко и успешно прошла в прокате, а мне она даже понравилась своей полной раскрепощенностью и, я бы сказал, здоровой бездумностью. На премьеру пришел

главный милиционер. Я сказал, что всем нам очень жаль Сулико. Ведь он, можно сказать, наш соавтор!

– Нет! – уточнил милиционер. – Вы, скорее, его соучастники! Вот Сулико, – добавил он, – поумнее некоторых. Он утверждает, что никаких денег вам не давал. На этом «Дело Вареного» и закрылось.

Была еще одна премьера «Вареного», которую я запомнил. Она прошла в киноцентре, в Москве, на нее пригласили и других артистов, которые у меня снимались на протяжении многих лет. Получилось что-то вроде моего творческого вечера. Его взялся вести Виктор Мережко, который за это время уже прославился и как шоумен. Пришел Миша Кононов, Людмила Зайцева, Светлана Крючкова, Наталья Егорова, Люсьена Овчинникова, Николай Караченцов.

Мы толпились за кулисами и обменивались накопившимися за годы новостями. Видно было, кто преуспел, а кто не очень. Одни обсуждали премьеры и роли, постоянно хватались за мобильники. Другие – Миша Кононов и Люсьена, например, молча стояли в сторонке, взявшись за руки, как потерявшиеся дети. Кононов заявил, что будет куда-то баллотироваться, чтобы «навести порядок», а Люсьена засмеялась и сказала, что у нее все замечательно. Пришло время выходить на сцену. Люсьена стояла, закутавшись в какую-то цветастую шаль.

– Тебе холодно? – спросил я у Люсьены.

– Мне замечательно, – снова засмеялась она.

– Давай, поддержку твою шаль, – предложил я.

– А у меня ничего больше нет, – ответила Люсьена.

– Как нет?

– А вот! – Люсьена приоткрыла шаль – под ней был какой-то застиранный домашний халатик.

Воспитанная только отцом-офицером, Люсьена с детства кочевала с ним по гарнизонам. Была добра, наивна и беззащитна перед жизнью. Суровые перестроечные времена совсем ее доконали.

Вечер прошел даже трогательно. Мы вспоминали фильмы и годы, недавно скончавшегося Евгения Павловича и Юру Богатырева. И тут наступил для меня момент истины. Я вдруг почувствовал себя не то чтобы старым, но уже крепко «пожившим». Слушая приятные слова, я с грустью сознавал, что жить, не спеша, – для меня уже, наверное, большая роскошь. Следует поспешать!

Между тем, мои творческие дела отодвинулись в какую-то туманную даль. Перспектива работы над Павлом и трилогией казалась теперь почти несбыточной. Во время одной из фестивальных поездок я разговорился с актером и продюсером Сергеем Жигуновым. Он передал мне дипломную работу молодой сценаристки Юлии Дамскер. Сценарий был далек от совершенства, но подкупала наблюдательность автора и чувство юмора. В основе истории – взаимоотношения пожилых людей, фактически, моих сверстников. Это классический треугольник с поправкой на возраст. Отношения между героями в сценарии складываются и основаны не только на человеческих характерах. Давно пережитое продолжает жить в их памяти, порою толкает героев к поступкам неуместным и смешным в их возрасте. Смешным и грустным. В этом была правда, это привлекало.

Если до сих пор в паузах между историческими фильмами мне удавалось протиснуться с камерной современной картиной, то почему бы не попробовать еще раз? Тем более, что актерский треугольник словно сам напрашивался. Замечательно могли бы сыграть Зинаида Шарко, Олег Ефремов и Лев Дуров. Я позвонил Олегу Николаевичу. Он лежал в больнице, но приободрился и даже стал фантазировать вокруг роли и планировать время для съемок.

– Важно в дело влезть, а дальше уж пойду на автопилоте! – шутил Олег. – Может, и оклемаюсь!

Музыку к фильму согласился написать Андрей Петров. Мы уже работали вместе на «Царевиче» и рассчитывали продолжить работу над «Павлом».

Скромно профинансировать новую картину согласилось правительство Москвы. Началась знакомая «малобюджетная» жизнь: вместо декораций – квартиры сотрудников нашей же группы, офисы приятелей, казенные интерьеры, арендованные на ночь или даже на обеденный перерыв. Большая часть природы снималась прямо в городской толпе, без всяких ограждений и предварительных репетиций. Я долго тянул с началом съемок, требовавших участия Олега Ефремова. И сам Олег, и я надеялись на улучшение, но этого не произошло. Олега Ефремова вскоре не стало. Для меня это было личное горе. Многие счастливые, плодотворные минуты жизни были связаны у меня с Олегом. Одно только присутствие Олега на съемочной площадке, его демократизм, юмор, спокойный, профессиональный подход к возникающим сложностям заражал всех уверенностью в успехе. Какие бы роли ни играл Олег Ефремов, всей жизнью своей и человеческой сутью он утверждал самоценность человека и человеческого достоинства. Он был героем нашего времени в прямом смысле этого слова.

Вместо Олега в картине снимался Николай Волков. Мы с ним встречались впервые. Правда, когда-то давно, у меня снимался еще его отец Николай Николаевич Волков. Было это во времена «Начальника Чукотки». Все чаще мне теперь приходится встречаться в работе с дочерьми и сыновьями моих прежних коллег – представителями следующих поколений актеров и кинематографистов. Обнаружилось, например, что моя давняя ассистентка Маша Грачова приходится бабушкой нынешнему, вполне солидному режиссеру Сергею Снежкину. Ничего себе!

Впрочем, на новой картине общение с артистами-сверстниками и накопившиеся общие воспоминания очень

помогали делу. Все сибирские ретроспекции в картине «Луной был полон сад» украдены мною, например, из моей же собственной цынгалинской жизни. Нашу неистовую литераторшу по кличке «Роньжа» смешно сыграла Вера Карпова.

Закончилась эта скромная картина вполне достойно. На московском международном фестивале она получила приз зрительских симпатий. За лучшую женскую роль Зинаида Максимовна Шарко получила «Нику». Сыграла она с блеском. За нею открывалась целая эпоха, трагические судьбы многих российских женщин.

Мои планы на дальнейшее по-прежнему оставались неясными, но я нет-нет, да и возвращался к материалам по Павлу. К этому времени в кино сложилась забавная ситуация. Для того чтобы картину кто-то профинансировал, нужен сценарий. Исторический сценарий – работа трудоемкая, требующая кропотливой возни с первоисточниками и документами. Следовательно, за сценарий нужно хорошо уплатить. А кто будет платить? Из каких средств? Замкнутый круг можно разорвать, если некто длительную и тяжелую работу согласится проделать бесплатно и без всяких гарантий, что фильм будет когда-нибудь поставлен. У меня была только одна подходящая кандидатура, и я пригласил писать сценарий на этих кабальных условиях самого себя.

Я работал почти год и сгоряча написал три сценария. Все три были про Павла и все три – разные. Сама по себе история заговора против Павла с участием английского посла Уитворта и братьев Зубовых – это занимательный исторический детектив, и он меня поначалу увлек. Взаимоотношения Екатерины Великой и юного Павла – это уже почти готовая семейная драма. Тоже интересно. И, наконец, трагедия – краткое царствование и гибель самого Павла. Но для того, чтобы решиться писать этот последний сценарий, нужно было еще созреть и убедиться в том, что и сценарий номер один, и сценарий номер два – всего лишь увлекательные частности. И только третий – трагедия царствования и гибели самого героя – давал возможность серьезно завершить всю трилогию – от Петра до Павла.

Общеизвестно, что доступ к государственным архивам, где хранились документы, связанные с гибелью Павла, был под запретом. Даже авторитет Льва Толстого не помог, и великий старец получил от ворот поворот. Все факты и сведения о происшедшем в ту мартовскую ночь 1801 года и ныне основаны на сообщениях заинтересованных и пристрастных современников или же на исследованиях историков, пишущих часто в угоду чему-нибудь политически злободневному. Затевая это дело, нужно было готовиться морально к опровержениям, возражениям и выдвижению всяческих контрверсий. Либо рассказать историю Павла следовало так, чтобы она взволновала не столько фактической, сколько человеческой, а правильное, общечеловеческой сутью этой трагедии. Сформулировать это как задачу было бы, с моей стороны, самоуверенно. Разве что, как попытку или надежду.

Обращение к литературному первоисточнику – к пьесе Мережковского «Бедный Павел» тоже не облегчило задачу. Пьеса была написана в 1905 году, во времена революционных потрясений и поспешных переоценок. Она тоже была не свободна от некоторой политизации. Диалоги являли собою стилизацию текстов, написанных в веке девятнадцатом, но под век восемнадцатый. Они многословны и тяжеловесны. Произносить и слышать это в кино было бы затруднительно. С другой стороны, любая пьеса предполагает свободу трактовки. Так уж принято. Это отчасти развязывало мне руки в обращении со словом, да и в общем подходе. Я решил сконцентрировать действие, заострить основной конфликт на противостоянии: Павел – Пален. Если предположить, что Пален не просто расчетливый интриган, как это иногда прочтывают в пьесе, а умный, честный человек, пытающийся привычными для его века средствами предотвратить последствия царствования непредсказуемого, неуравновешенного властителя, то поединок предстает уже в ином свете.

У каждого из героев своя правота, своя логика и убежденность, но они антиподы в нравственном, эмоциональном смысле. Холодная логика, целесообразность, даже цинизм – со стороны Палена. Душевный порыв, интуиция, непосредственность – со стороны Павла. Это две непримиримые стихии. Их столкновение всегда трагично и неоднозначно. Мне с самого начала казалось, что идеальным исполнителем роли Палена может стать Олег Янковский. Не только потому, что он хороший актер. В нем, в его манере общения с окружающими была некая человеческая закрытость, которую не сыграешь. Более того, последний вариант сценария я и писал из расчета на его исполнение.

А вот как быть с ролью Павла, я долго не знал. Дело в том, что много лет назад мы обсуждали с Олегом Борисовым возможность постановки «Бедного Павла». (В то время он уже блистательно играл эту роль в театре.) Но мои планы по трилогии затягивались и откладывались. Не стало Олега, а я долго еще не мог себе представить иного исполнителя. У меня даже вариантов не возникало. Рисовался некий туманный антипод Янковского-Палена. Наконец, я решил попробовать на эту роль Виктора Сухорукова. Я знал Виктора по его работам в кино, но побаивался, что появление такого Павла опростит историю. Криминальный «шлейф» его ролей меня не пугал нисколько. Выбор «от противного» не раз оказывался плодотворным даже и в моей практике. Личное знакомство с Сухоруковым окончательно рассеяло мои сомнения. Передо мной оказался тонкий, думающий человек, прекрасно сознающий меру ответственности, которую нам предстояло на себя взять.

Не без содействия Александра Голутвы, открылось, наконец, финансирование «Павла». И тут я столкнулся с новой для меня ситуацией. Снимая камерные картины, я многого не замечал. Но сейчас, вернувшись к сложно-

постановочной работе, столкнулся с постоянным сопротивлением среды. Многие на студии привыкли уже к скороспелым криминальным сериалам. Понизился уровень требовательности к важным мелочам в костюме, гриме, реквизите. В работе над историческим фильмом необходима ведь и общая культура, и подлинная самоотверженность. Кое-кто утратил эти свойства, а многие никогда их и не имели. Приходилось теперь постоянно доказывать необходимость совершенно очевидных работ или трат. Зачастую, организаторы, сэкономив копейки, теряли при этом рубли – сводили на нет художественный результат.

По большей части, мы работали в музейных интерьерах – преимущественно, в Павловском дворце. Любопытно было наблюдать, как музейщики – хранители и знатоки павловской эпохи, реагировали на появление во дворце воскресших его хозяев: Павла, Марии Федоровны, Александра и прочих. Вначале музейщики были насторожены и даже враждебны – не все их представления совпадали с нашими. И только, когда артисты заговорили, и началось действие, они постепенно оттаяли. За многие годы работы в Павловске они сжились с этими стенами и предметами, а императора по-домашнему называли только Павлом Петровичем.

Произошло чуть ли не мистическое включение императорского семейства в музейный коллектив. Павел был окружен не поклонением, а человеческой любовью. Его содействием объясняли, например, чудесное спасение многих экспонатов музея в начале войны, хотя это чудо совершили сами хранители и служители музея, вывозившие свои сокровища под бомбежкой. Усатый охранник в камуфляже приватно сообщил мне, что по ночам, он часто слышит в тишине шаги Павла.

– Он больше по комнатам Марии Федоровны гуляет, – сообщил охранник, – здесь почти все сохранилось – ему здесь привычней. Да и любил он ее, – вздохнул стражник.

Култ Павла экспансивно поддерживал Виктор Сухоруков.

– Недооцениваете вы Павла Петровича! – укорял он меня. – Обратите внимание: как только мы снимаем в Екатерининском дворце, идет брак за браком! Это все Катькины штучки! Ненавидит родного сына! А вот у нас в Павловском, тьфу-тьфу, – все слава богу! Погодите! То ли еще будет! – наступал Виктор. – Павел Петрович себя еще покажет!

Действительно, многие случайности, происходившие на наших съемках, я до сих пор объяснить не могу.

Одними из самых сложных, многолюдных и дорогостоящих были съемки плац-парада перед гатчинским дворцом. Военные поставили условие – снять парад в течение одного светового дня. За это время нужно было доставить из Питера несколько сот человек, одеть их в причудливую форму павловских времен, наклеить им усы и косички, тщательно отрепетировать все построения и маршировку, а потом на фоне общих солдатских перестроений успеть еще и снять игровые сцены с артистами. Дело было зимой, но плац перед дворцом был бесснежным и невыразительным. С этим мы уже смирились – что есть – то есть. Затемно началась подготовка, потом репетиция-построение. Уже светало. Я увидел вдруг, как через площадь ко мне бежит Виктор Сухоруков.

– Вот! Что я вам говорил? – кричал еще недогримированный Виктор и показывал на черную снежную тучу, которая надвигалась на плац. – Павел Петрович свое дело знает! – кричал Сухоруков.

Повалил снег, пушистыми киношными хлопьями. Через полчаса плац преобразился. Перед камерой возникла живая картина, достойная кисти Бенуа. Возбужденные внезапным преображением плаца, музыкой, развевающимися штандартами, чудесно воскресшим зрелищем прошлого, все действовали с особым подъемом и ответственностью. После заключительной команды «стоп» снег прекратился. Если бы это была единственная странность, ее можно было как-то объяснить!

Но вот еще одно совпадение. Мы долго не знали, как нам снять строящийся Михайловский замок. Предлагали и макеты, и дорогостоящую компьютерную графику, но как убедительно показать грандиозное по тем временам строительство, да еще по этапам, мы не понимали. Питер готовился в то время к своему трехсотлетию. В один прекрасный день мы обнаружили, что фасад дворца обстраивают лесами. Потом, по какой-то причине, реставраторы обнажили фундамент, и вокруг дворца возник котлован. Так перед нами явился «строящийся» Михайловский замок. Осталось только населить леса строителями, а котлован заполнить землекопами. Это уже было в наших силах. И опять в эту ночь съемок шел обильный, медленно падающий снег. Он, как символ времени, торжественно укрывал прошлое. Когда через неделю в залах дворца начались росписи потолков, мы уже и не удивились, а просто переделали современных маляров и реставраторов в соответствующую одежду.

Мои взаимоотношения с Янковским складывались непросто. Нам до этого никогда не приходилось работать вместе, и он осторожно ко мне приглядывался. К роли своей он тоже еще приспосабливался. Янковский придирчиво искал мотивации поведения своего персонажа. Ведь если Пален готовит заговор на жизнь императора, то знает, ради чего он рискует. И зритель тоже должен это понимать. Словесные аргументы и декларации тут не убедительны – нужны конкретные, человеческие мотивы, а они рождаются у Палена только из наблюдений за Павлом, только в процессе оценки противника. Следовательно, чем больше компрометирует себя Павел в глазах Палена, тем понятнее и справедливее выглядят намерения и поступки самого Палена.

Янковскому как актеру важно было «накопить негатив» на Павла, а для меня – и тот, и другой герой, по-своему,

правы. И чем убедительнее правота каждого, тем сложнее, трагичнее действие. Янковскому предпочтительнее было фиксировать отношения с Павлом в каждом отдельном случае – эпизоде. Мне же важно было выстроить процесс во времени и добиться того, чтобы отношения между Паленом и Павлом как бы пульсировали: доверие – сомнение, агрессия – жалость. Только к заключительным сценам фильма мы, можно сказать, выстрадали взаимопонимание. Там у нас все вроде бы получилось.

Работа в кино хороша тем, что после всех тягот и неприятностей, в памяти сохраняется только хорошее и уже через месяц даже самые тяжелые съемки кажутся веселым праздником. Начались премьеры, дальние и ближние поездки, встречи со зрителями. Была хорошая пресса, премии и награды актерам, членам группы. Сухоруков на каждом фестивале трогательно благодарил лично Павла Петровича Романова за содействие и поддержку. Меня больше всего радовало то, что завершение трилогии тоже приближается.

На фестиваль «Амурская осень» я приехал с «Павлом» и в мой родной город Благовещенск. Странно было увидеть эти дома и улицы семьдесят лет спустя. Центр был перестроен и неузнаваем, кроме некоторых зданий, а вот «частный сектор» – дома и улицы, расположенные подальше, я узнавал. Это был мой город! Вот школа номер четыре, где я учился, и откуда когда-то уволили мою мать как жену «врага народа». Вот улица Октябрьская, по которой шествовали по утрам к базару китайцы и китайки с овощной поклажей на коромыслах. А где-то рядом и дом номер тридцать семь. Мне велел когда-то отец хорошенько запомнить этот номер, чтобы я не заблудился. Вот я и помню! Уже долгие семьдесят лет!

Дом я сразу узнал, хоть номер и сменился. Я узнал ворота, через которые ушел навсегда отец. И останки лавочки, на которой под пение лягушек сиживали мы по вечерам с подружкой Веркой. Я вошел во двор. Он оказался маленьким и тесным, а наш флигелек совсем врос в землю. Странно, но он был по-украински выбелен и ставни у него были голубые, как семьдесят лет назад. На крыльцо вышла молодая женщина с младенцем на руках. Она удивленно разглядывала толпу чужаков с фотоаппаратами. Я извинился и объяснил, что я жил здесь когда-то и вот зашел взглянуть на мой бывший дом. Женщина ушла и вскоре вернулась с пухлым потрепанным фолиантом.

– Домовая книга, – пояснила она.

На одной из страниц со списком жильцов я сразу узнал четкий учительский почерк матери. Там было выведено ее рукой: «Мельников Вячеслав Владимирович, Мельникова Августа Даниловна». По малости лет, я в книге еще не числился. Потом меня повезли в село Мазаново на Зее. Здесь когда-то учительствовала мать, и был лесничим отец. Здесь меня встретили с трогательным радушием. Мне даже показали дом, где я родился. Я знал, что тот дом на самом деле много лет назад снесло наводнением, но все равно было приятно. Я не мог, конечно, узнавать здесь улицы и дома, но поговору, по каким-то неуловимым признакам я словно бы узнавал людей, среди которых вырос. Вот это, наверное, и есть «родина», про которую отдельные неуравновешенные люди складывают песни. Родина – это не какое-то конкретное место. Это скорее, самочувствие – здесь мне хорошо и комфортно, а почему? Не знаю!

Примерно так же я вдруг почувствовал себя, когда меня пригласили на фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийск. Волею обстоятельств я не бывал здесь с весны 1945 года, с тех пор, как легкомысленно отправился на пароходе «Карл Либкнехт» во «взрослую» жизнь.

– Так ты же наш! – удивились организаторы фестиваля.

– Конечно, – подтвердил я с уверенностью и даже с некоторой незаслуженной гордостью.

Здесь все так же высилась Чугас-гора и все так же расстилалась безбрежная даль на слиянии Оби и Иртыша. Мне даже показали останки конторы, в которую мы с матерью и ссыльные являлись отмечаться раз в месяц. Но это уже был и другой, неузнаваемый Ханты-Мансийск. Современный город с отелями, дворцами культуры, музеями, спортивными комплексами международного класса и, соответственно – с автомобильными пробками. Вот уж этакое мне не грезилось даже в самых причудливых юношеских фантазиях. Ханты-Мансийск стал крупным центром нефтеперерабатывающей промышленности.

Когда я, растревоженный собственными воспоминаниями, затеял сценарий о людях, которых знал здесь в военные годы, меня сразу поддержали земляки, особенно губернатор Югры Александр Васильевич Филиппенко. Так, нежданно-негаданно, я принялся за новую картину. Теперь она называется «Агитбригада "Бей врага"». На съемках прошлое и настоящее у меня забавно перемешалось. Цынгалинскую Устинью Гавриловну в фильме сыграла Людмила Зайцева, милиционера из агитбригады – Виктор Сухоруков, а учительницу по прозвищу Роньжа смешно изобразила Оксана Мысина, сыгравшая в «Павле» императрицу Марию Федоровну.

За консультациями по поводу некоторых бытовых подробностей приходилось обращаться в местный музей. Да и сам я стал уже чем-то вроде экспоната. Во всяком случае, мой аттестат об окончании Цынгалинской школы-семилетки числится в экспонатах. Смешно, но и грустновато. Прямо скажем!

Дома меня, как всегда, с нетерпением поджидала мать. Ей шел уже девяносто седьмой год, но она сохранила ясный ум и память. Передвигалась по комнатам она с некоторым трудом, но решительно отказывалась пользоваться палочкой или чьей-нибудь поддержкой – демонстрировала самостоятельность. Я долго рассказывал ей про ее родные места и вручил бутылку с каким-то особенным мазановским медом, которую мне подарили специально для

нее. С тех пор она часто пила чай с этим медом, бережно облизывая ложечку. Она отхлебывала чай и глядела куда-то вдаль. Что она вспоминала, что виделось ей? Ведь у нас есть и общие воспоминания. Я помню, как мы с ней долго ехали в телеге из Мазанова на дальнюю зейскую пристань. Вокруг цвела саранками степь, а вдалеке синели сопки. День был жаркий. Мы устроились передохнуть в тени под мостиком. Неподалеку храпел под телегой возчик и монотонно гудели пчелы. Мы с матерью за ними наблюдали. Пчелы то зависали над самым ручьем, то улетали в жаркую степь за взятками. Вот тогда мать и рассказывала мне про особенный мазановский мед. В чем его особенность, я тогда не запомнил.

Мне снова нужно было ехать с фильмом далеко. На этот раз – в Нью-Йорк. Мать чувствовала себя неважно.

– Ты поторопись, – попросила она.

Я пообещал, хоть от меня это не зависело. Уже в Америке я узнал, что матери стало хуже. Не дожидаясь просмотра в Линкольн – центре, я вернулся в Питер. Мать была очень плохо. Извинилась, что «отрывает меня от дел». Следующая ночь прошла беспокойно. Наутро мать позвала меня и попросила помочь ей встать на ноги. Ноги подгибались.

– Не слушаются, – снова извинилась она.

– Ты мало ешь, – сказал я.

– Мне чаю с медом и потом я лягу, – пообещала мать.

Она опустила на подушки и вдруг снова приподнялась. Мать посмотрела куда-то перед собой и четко сказала: «Вячеслав, я ждала. Возьми меня к себе».

– Что? – переспросил я.

– Теперь я лягу, – сказала мать, откинувшись на подушку и закрыла глаза. Я вышел, чтобы ее не беспокоить. Вскоре пришел врач, он пробыл в комнате больной всего несколько минут, а выйдя, сказал, что мать умерла. Говорят, что любви до гроба не бывает. Оказывается – бывает.

Я сидел один в безжизненной, неубранной комнате. Мать уже увезли. У изголовья постели стояло блюдо с мазановским медом. Я вдруг понял, что на свете нет больше ни одного человека, который знает и помнит то, что помню я.

Впрочем, мои воспоминания тоже сами собой завершаются. Говорят, в таких случаях необходимо мудрое напутствие. Но напутствия не будет. Все равно, внуки мои – Настя с Темкой – будут делать собственные глупости, изобретать собственные велосипеды и наступать на собственные эксклюзивные грабли. И это правильно!

Под конец я хотел бы рассказать одну правдивую историю.

Замечательный киносценарист Евгений Габрилович, достигнув преклонного возраста, решил на годовом собрании кинематографистов произнести это самое напутствие. Он написал красивый, мудрый текст, тщательно его отредактировал и с чувством произнес. Особенно трогательной была концовка, в которой содержался намек на то, что напутствие это последнее. Всем очень понравилась речь Габриловича, и на следующем годовом собрании его снова попросили выступить. Пришлось Габриловичу текст подредактировать, сделать его пободрее, а траурную концовку несколько смягчить. Когда еще через год Габрилович снова пришел на собрание, его встретили аплодисментами и веселым смехом. Поспешишь – людей насмешишь! Великий драматург и режиссер Жизнь лучше нас знает, когда и чей будет выход и когда уход.

Тем не менее, кой-какие итоги подводить приходится. На всякий случай! Я закончил, например, многолетнюю возню с исторической трилогией. Все «юридические лица» благополучно разобрались, кто кому должен и кто имеет больше прав на этот проект, который выжил, преодолев перестройку, дефолты, кризисы. Я победоносно сократил и «Царскую охоту», а все три фильма воссоединились, наконец, в единую трилогию «Империя. Начало». На эту затею, оказывается, ушло десять лет жизни. Сейчас я снимаю фильм под названием «Львы, орлы и куропатки» о нежной и тихой любви Антона Чехова. О ней мало кто знал и мало кто знает. Снимаю. Поживем – увидим.

Санкт-Петербург

24.09.10

Виталий Мельников

Призы и награды

31 декабря 1976 – заслуженный деятель искусств РСФСР.

27 июня 1981 – орден Трудового Красного Знамени.

18 июня 1987 – народный артист РСФСР.

3 апреля 2002 – орден Почета.

30 июля 2010 – орден За заслуги перед Отечеством IV степени.

2003 — XI Всероссийский фестиваль «Виват, кино России!»: (СПб)
Юбилейный приз дирекции фестиваля «Немеркнущая зрительская любовь».

2003 — I Открытый кинофорум «Амурская осень»: (Благовещенск)
Приз губернатора Амурской области «За выдающийся вклад в российский кинематограф».

2003 — XIV Открытый российский кинофестиваль в г. Сочи:
Орден за кинематографическое Событие.

2003 — X кинофестиваль «Литература и кино»: (Гатчина)
Приз гильдии киноведов и кинокритиков.

2004 — XII кинофестиваль «Виват, кино России!»: (СПб)
Приз Признание «За духовность в культуре».

2004 — IV кинофестиваль «Новое кино России»: (Вологда)
Приз оргкомитета.

2005 — XIV Всероссийский кинофестиваль «Виват, кино России!»: (СПб)
Приз «Выдающийся режиссер XX века».

2007 — V фестиваль «Дух огня»: на торжественной церемонии открытия фестиваля Виталию Мельникову был вручен приз «Золотая тайга» за вклад в мировое кинематографическое искусство.

СТАРШИЙ СЫН

1976 — XIII Международный фестиваль телевизионных фильмов (Прага)
Премия за лучший сценарий; Приз Интервидения.

1977 — IV Заводской смотр-конкурс произведений ленинградских кинематографистов:
Диплом и знак лауреата;
Приз комитетов ВЛКСМ промышленных объединений г. Ленинграда.

НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ

1968 – Приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика».

ВЫЙТИ ЗАМУЖЗАКАПИТАНА

1987 – Ежегодный конкурс журнала «Советский экран»:
Лучшая актриса года – Вера Глаголева;
Лучший актер эпизода – Николай Рыбников.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА

1987 — Премия «Медный всадник»: (СПб)
За лучшую операторскую работу – Юрий Векслер.

ЦАРСКАЯ ОХОТА

1991 – Высшая профессиональная премия Союза Кинематографистов СССР «НИКА» за 1990:
Приз за лучшую роль второго плана – Светлана Крючкова;
Приз за лучшую работу художника по костюмам – Лариса Конникова.

1991 – Третий фестиваль «Созвездие»: (Тверь)
Приз за лучшую роль второго плана – Светлана Крючкова.

1991 – Премия 1990 года киностудии «Ленфильм» и Ленинградской организации Союза Кинематографистов СССР:
Бэлла Маневич и Лариса Конникова – за лучшую работу художника;
Светлана Крючкова – за лучшую актерскую работу.

ЧИЧА

1992 – Четвертый кинофестиваль «Созвездие»: (Смоленск)
Приз за лучшую женскую роль второго плана – Нина Усатова;
Приз за лучший дебют – Михаил Дорощев.

1995 – Премия за общий вклад в развитие российского кинематографа «Золотой овен»:
Нине Усатовой за воплощение на экране истинно народных характеров в картинах «Ой, вы, гуси!», «Чича», «Окно в Париж».

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛОВАРЕНОГО

1994 – Премия мэра Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области литературы, искусства и архитектуры:

Владимиру Зайкину, автору сценария;

Виктору Степанову, актеру.

1994 – Шестой фестиваль актеров кино «Созвездие»:

Приз за лучшее исполнение мужской роли – Виктор Степанов.

1994 – Ежегодная премия Союза кинематографистов Санкт-Петербурга и киностудии «Ленфильм»: (СПб)

Премия имени Григория Козинцева – за лучшую режиссуру.

ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ

1997 – Фестиваль «Виват, кино России!»:

Гран-при за лучший фильм;

Приз за лучшую режиссуру; Приз «Признание».

1997 – Кинофестиваль «Окно в Европу» (Выборг): Гран-при; Приз за лучшую мужскую роль.

1997 – V Фестиваль русского кино в г. Онфлер (Франция): Гран-при.

1997 – Премия НИКА за достижения в кино:

Лучшая работа художника – Сергей Коковкин и Валерий Юркевич;

Лучшая работа художника по костюмам – Лариса Конникова;

Лучшая работа звукорежиссера – Ася Зверева.

1997 – VI Российский фестиваль «Литература и кино» (Гатчина):

Большой приз жюри;

Приз Телевидения С.-Петербурга.

ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД

2000 – Одиннадцатый фестиваль актеров кино «Созвездие»: (Архангельск)

Приз за лучшую мужскую роль – Лев Дуров, Николай Волков;

Приз за лучшую женскую роль – Зинаида Шарко, Вера Карпова.

2000 – Международный кинофестиваль стран СНГ и Балтии «Листопад»: (Минск)

Гран-при «Бронзовый кленовый лист».

2000 – XXII Международный кинофестиваль в Москве:

Специальный приз жюри – «За лучший актерский ансамбль»;

Приз зрительских симпатий.

2000 – IX фестиваль кино стран СНГ и Балтии «Киношок»:

Приз за лучший сценарий – Юлия Дамскер;

Приз за лучшую женскую роль – Зинаида Шарко;

Приз за лучшую мужскую роль – Николай Волков.

2000 – VI городской кинофестиваль «Московский Пегас»:

Приз жюри «Золотой Пегас» – «За высокое чувство первого свидания в Москве».

2001 – Премия НИКА за достижения в кино:

Лучшая женская роль – Зинаида Шарко.

2001 – Премия за общий вклад в развитие российского кинематографа «Золотой овен»:

Лучшая женская роль – Зинаида Шарко.

2001 – Второй Фестиваль «Новое кино России»: (Челябинск)

Гран-при – «За гуманизм искусства и нравственные императивы жизни».

2001 – Кинофестиваль «Подмосковные вечера»: Приз за лучший актерский ансамбль.

2001 – XI российский кинофестиваль «Женщины кино»:

Приз и диплом «Самой юной» Кристине Будыхо – «За удачный дебют в фильме».

2001 – X кинофорум «Золотой витязь»:

Приз «Золотой витязь» конкурса игровых фильмов;

Диплом «Золотой витязь» «За лучший актерский ансамбль» – Зинаида Шарко, Николай Волков, Лев Дуров.

2001 – Фестивальный смотр российских фильмов – «Любить по-русски!»:

Приз зрительских симпатий «Золотая подкова» – Зинаиде Шарко.

2001 – Международный кинофестиваль фильмов стран СНГ и Балтии «Листопад»:

Приз за лучшую режиссуру;

Приз жюри кинопрессы и кинокритиков «За лучшую женскую роль» – Зинаиде Шарко.

2001 – IX Фестиваль русского кино в г. Онфлер (Франция):

Приз за лучшую женскую роль – Зинаиде Шарко;
Приз зрительских симпатий;
Приз за лучший сценарий – Юлии Дамскер.
2001 — XXXXI Международный фестиваль телевизионных фильмов в Монте-Карло (Монако):
Приз «Золотая нимфа» – Николаю Волкову «За лучшую мужскую роль».
Приз «Золотая нимфа» – Зинаиде Шарко «За лучшую женскую роль».
2001 — Приз «Медный всадник»: За лучшую режиссуру.

БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ

2003 — Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Золотой Овен»:
Лучшая мужская роль – Виктор Сухоруков.
2004 — Премия национальной академии кинематографических Искусств и наук «Золотой орел»:
За лучшую работу художника – Александр Загоскин;
За лучшую мужскую роль второго плана – Олег Янковский;
За лучшую музыку к фильму – Андрей Петров;
За лучшую работу художника по костюмам – Лариса Конникова.
2004 — I Открытый российский кинофорум «Амурская осень» (Благовещенск):
Приз «За лучшую режиссерскую работу»;
За лучшую мужскую роль – Виктор Сухоруков.
2004 — Национальная кинематографическая премия «НИКА»:
За лучшую мужскую роль – Виктор Сухоруков.
2004 — XIV российский кинофестиваль в Сочи:
За лучшую музыку к фильму Приз имени Микаэла Таривердиева – Андрею Петрову.
2004 — Фестиваль продюсерского кино России и Украины в Ялте: Гран-при.
2004 — XI фестиваль «Окно в Европу» (Выборг):
Приз конкурса зрительских симпатий «Выборгский счет».
2004 — XII кинофестиваль «Виват, кино в России!»: (СПб)
Лучшая женская роль – Оксана Мысина.
2004 — XII Международный детский кинофестиваль в Международный Детский центр «Артек»: (Крым)
Лучший актер – Виктор Сухоруков;
Лучшая актриса – Оксана Мысина;
Приз «Самый мудрый фильм».
2004 — X кинофестиваль «Литература и кино» (Гатчина):
Лучшая мужская роль – Виктор Сухоруков;
Гран-При «Гранатовый Браслет».
2004 — IV кинофестиваль «Новое кино России»: (Челябинск)
Приз жюри творческих союзов.
2004 — IV Фестиваль-смотр «Любить по-русски» в кинотеатре «Дом Ханжонкова»: (Москва)
За лучшую мужскую роль Приз «Золотая подкова» – Виктор Сухоруков.
2006 – Первая церемония вручения премии молодых кинематографистов (Москва):
В номинации «Актер года» – Оксана Мысина.

АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»

2007 — XV фестиваль российского кино в Онфлере (Франция) Главный приз фильму.
2007 – Фестиваль «Листопад» (Минск, Беларусь). Бронза
Также – приз за лучшую женскую роль 2-го плана.
2007 – К/ф «Амурская осень» в Благовещенске
Приз за лучший сценарий Виталию Мельникову.
2007 – Московский фестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж» им. Сергея Бондарчука
Диплом «За оригинальный подход к теме Великой Отечественной войны».
2007 – К/ф «Улыбнись, Россия!» (Астрахань) Приз за самую народную комедию.

Фильмография

БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА

1964, 20 мин., цв., «Ленфильм».

жанр: комедия.

реж. Виталий Мельников, Михаил Шамкович, сц. Николай Носов, опер. Александр Дибривный, худ. Исаак Каплан, комп. Мурад Кажлаев, зв. Лев Вальтер.

В ролях: лхасский терьер Мишка, дворняга Люкс, болонка Амишка, боксер Эро, сиамская кошка Тау.

НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ

1966, 91 мин., ч/б, ш/э, «Ленфильм».

жанр: комедия.

реж. Виталий Мельников, сц. Владимир Валущий, Виктор Викторов, опер. Эдуард Розовский, худ. Марксэн Гаухман-Свердлов, комп. Надежда Симонян, зв. Лев Вальтер.

В ролях: Михаил Кононов, Алексей Грибов, Николай Волков-ст., Павел Винник, Иосиф Конопацкий, Алексей Кожевников.

МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ

1969, 85 мин., цв., «Ленфильм».

жанр: мелодрама.

реж. Виталий Мельников, сц. Юрий Клепиков, опер. Дмитрий Долинин, худ. Исаак Каплан, комп. Олег Каравайчук, зв. Константин Лашков.

В ролях: Люсьена Овчинникова, Олег Ефремов, Николай Бурляев, Виктор Ильичев, Людмила Аринина, Лариса Буркова, Аркадий Трусов.

СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА

1970, 97 мин., цв., «Ленфильм».

жанр: комедия.

реж. Виталий Мельников, сц. Владимир Валущий, опер. Дмитрий Долинин, Юрий Векслер, худ. Белла Маневич, комп. Георгий Портнов, зв. Ася Зверева.

В ролях: Семен Морозов, Наталья Четверикова, Марианна Вергинская, Елена Соловей, Наталья Варлей, Леонид Куравлев, Василий Меркурьев, Ирина Куберская, Любовь Тищенко.

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ

1972, 95 мин., цв., «Ленфильм».

жанр: комедия.

реж. Виталий Мельников, сц. Виктор Мережко, опер. Юрий Векслер, худ. Белла Маневич, комп. Владлен Чистяков, зв. Константин Лашков.

В ролях: Людмила Зайцева, Олег Ефремов, Михаил Кононов, Александр Демьяненко, Наталья Гундарева, Виктор Павлов, Борислав Брондуков, Тая Доронина, Саша Ведерников, Жанна Блинова.

КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА

1974, 82 мин., цв., «Ленфильм».

жанр: мелодрама.

реж. Виталий Мельников, сц. Александр Гельман, Татьяна Калецкая, опер. Юрий Векслер, худ. Белла Маневич, Римма Наринян, комп. Олег Каравайчук, зв. Константин Лашков.

В ролях: Алла Мещерякова, Станислав Любшин, Лев Дуров, Людмила Зайцева, Василий Меркурьев, Владимир Татосов, Кира Крейлис-Петрова, Лоренц Арушанян, Армен Хостикян, Олег Белов.

СТАРШИЙ СЫН

1975, 2 серии, 140 мин., цв., «Ленфильм».

жанр: мелодрама.

реж. Виталий Мельников, сц. Виталий Мельников (по одноименной пьесе Александра Вампилова), опер. Юрий Векслер, худ. Белла Маневич, зв. Константин Лашков, муз. Сергей Рахманинов.

В ролях: Евгений Леонов, Наталья Егорова, Владимир Изотов, Николай Караченцов, Михаил Боярский, Светлана Крючкова.

ЖЕНИТЬБА

1977, 99 мин., цв., «Ленфильм».

жанр: комедия.

реж. Виталий Мельников, сц. Виталий Мельников (по одноименной комедии Николая Гоголя), опер. Юрий Векслер, худ. Белла Маневич, комп. Олег Каравайчук, зв. Константин Лашков.

В ролях: Светлана Крючкова, Алексей Петренко, Олег Борисов, Владислав Стржельчик, Борислав Брондуков, Евгений Леонов, Майя Булгакова, Валентина Талызина.

ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ

1979, 2 серии, 145 мин., цв., «Ленфильм».

жанр: трагикомедия.

реж. Виталий Мельников, сц. Виталий Мельников (по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота»), опер. Юрий Векслер, худ. Белла Маневич, зв. Константин Лашков.

В ролях: Олег Даль, Ирина Купченко, Ирина Резникова, Наталья Гундарева, Наталья Миколышина, Юрий Богатырев, Геннадий Богачев, Николай Бурляев, Евгений Леонов.

ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ ШРИФТОМ

1981, 96 мин., цв., совм. с «ДЕФА» (ГДР), «Ленфильм».

жанр: драма.

реж. Виталий Мельников, сц. Михаил Шатров, Владлен Логинов, Виталий Мельников, опер. Константин Рыжов, худ. Владимир Светозаров, Йохан Келлер, комп. Надежда Симонян, зв. Константин Лашков.

В ролях: Сергей Шакуров, Ян Шпицер, Нина Русланова, Лидия Константинова, Павел Кадочников, Софья Гаррель, Анатолий Ромашин, Евгений Гуров, Сергей Курилов, Олег Борисов, Юрий Богатырев, Валерий Барин, Хорст Дринда, Клаус-Петер Тиле, Владлен Бирюков.

УНИКУМ

1983, 90 мин., цв., «Ленфильм».

жанр: фантастическая комедия.

реж. Виталий Мельников, сц. Александр Житинский при участии Виталия Мельникова (по повести Александра Житинского «Снюсь»), опер. Константин Рыжов, худ. Белла Маневич, комп. Виктор Кисин, зв. Ася Зверева.

В ролях: Василий Бочкарев, Евгения Глушенко, Оля Старостина, Татьяна Плотникова, Станислав Садальский, Галина Волчек, Иннокентий Смоктуновский, Светлана Крючкова, Михаил Козаков, Евгений Леонов, Юрий Богатырев, Баадур Цуладзе, Зинаида Шарко.

ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ

1984, 67 мин., цв., «Ленфильм».

жанр: трагикомедия.

реж. Виталий Мельников, сц. Владимир Валущий, опер. Юрий Векслер, худ. Исаак Каплан, комп. Тимур Коган, зв. Ася Зверева.

В ролях: Олег Табаков, Олег Ефремов, Марина Неелова, Николай Бурляев, Станислав Садальский, Марина Шиманская, Юрий Богатырев.

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА

1985, 90 мин., цв., «Ленфильм».

жанр: лирическая комедия.

реж. Виталий Мельников, сц. Валентин Черных, опер. Борис Лизнев, худ. Белла Маневич, комп. Исаак Шварц, зв. Ася Зверева.

В ролях: Вера Глаголева, Виктор Проскурин, Вера Васильева, Николай Рыбников, Юрий Демич, Татьяна Рудина, Светлана Крючкова, Федор Одинок.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

1987, 92 мин., цв., «Ленфильм».

жанр: трагифарс.

реж. Виталий Мельников, сц. Владимир Валущий, опер. Юрий Векслер, худ. Исаак Каплан, комп. Тимур Коган, зв. Ася Зверева.

В ролях: Михаил Морозов, Гражина Шаполовска, Олег Ефремов, Борис Плотников, Юрий Богатырев, Сергей Шакуров, Михаил Кононов, Николай Крючков, Иннокентий Смоктуновский, Леонид Куравлев, Ольга Машная, Сергей Мигицко, Станислав Соколов, Гали Абайдулов.

ЦАРСКАЯ ОХОТА

1990, 121 мин., цв., ТПО «Голос», «Ленфильм» при участии ПО «Союзкиносервис», «Баррандов» (Чехословакия), «Эксцельсиорфильм» (Италия).

жанр: историческая драма.

реж. Виталий Мельников, сц. Леонид Зорин, опер. Юрий Векслер, худ. Белла Маневич, комп. Эдисон Денисов, зв. Ася Зверева.

В ролях: Николай Еременко, Светлана Крючкова, Анна Самохина, Михаил Кононов, Олег Табаков, Александр Романцов, Александр Голобородько, Анатолий Шведерский, Светлана Смирнова, Александр Новиков.

ЧИЧА

1991, 88 мин., цв., «Голос» при участии Киноцентра «Росич».

жанр: комедия.

реж. Виталий Мельников, сц. Владимир Вардунас, опер. Валерий Мюльгаут, худ. Андрей Васин, комп. Вадим Биберган, зв. Ася Зверева.

В ролях: Михаил Дорофеев, Нина Усатова, Сергей Сазонтьев, Борислав Брондуков, Лера Мулакевич, Миша Кабатов, Ваня Смирнов.

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО

1993, 77 мин., цв., «Голос», «Ленфильм», совместно с «Кранцфильм» при участии Роскомкино.

жанр: приключенческая комедия.

реж. Виталий Мельников, сц. Владимир Зайкин, опер. Валерий Миронов, худ. Андрей Васин, комп. Андрей Сигле, зв. Ася Зверева.

В ролях: Виктор Степанов, Виталий Скворкин, Ольга Машная, Андрей Ургант, Елена Драпеко, Ольга Самошина, Галина Баранова, Галина Зудова, Ира Дерягина, Эра Зиганшина, Лев Елисеев, Евгений Каль, Рома Калинин.

ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ

1997, 80 мин., цв., студия «Голос», Госкино РФ, «Ленфильм».

жанр: историческая драма.

реж. Виталий Мельников, сц. Виталий Мельников, опер. Иван Багаев, худ. Сергей Коковкин, Валерий Юркевич, комп. Андрей Петров, зв. Ася Зверева.

В ролях: Алексей Зуев, Виктор Степанов, Наталья Егорова, Станислав Любшин, Владимир Меньшов, Михаил Кононов, Федор Стуков, Людмила Зайцева, Екатерина Кулакова.

БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ

2003, 104 мин., цв., «Ленфильм», Министерство культуры РФ

жанр: историческая драма

реж. Виталий Мельников, сц. Виталий Мельников (по мотивам произведений Дмитрия Мережковского), опер. Сергей Астахов, зв. Ася Зверева.

худ. Александр Загоскин, худ. по кост. Лариса Конникова.

В ролях: Виктор Сухоруков, Олег Янковский, Оксана Мысина, Вадим Лобанов, Анна Молчанова, Алексей Барабаш.

АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»<

> 2007, 123 мин., цв., «Ленфильм», Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ, Кинокомпания «Югра-фильм»

жанр: трагикомедия

реж. Виталий Мельников, сц. Виталий Мельников, опер. Сергей Астахов, худ. Сергей Дятленко, комп. Сергей Баневич, зв. Ася Зверева.

В ролях: Виктор Сухоруков, Кирилл Пирогов, Наталья Ткаченко, Анна Данилова, Никита Лейтланд, Алексей Девотченко, Людмила Зайцева, Оксана Мысина.

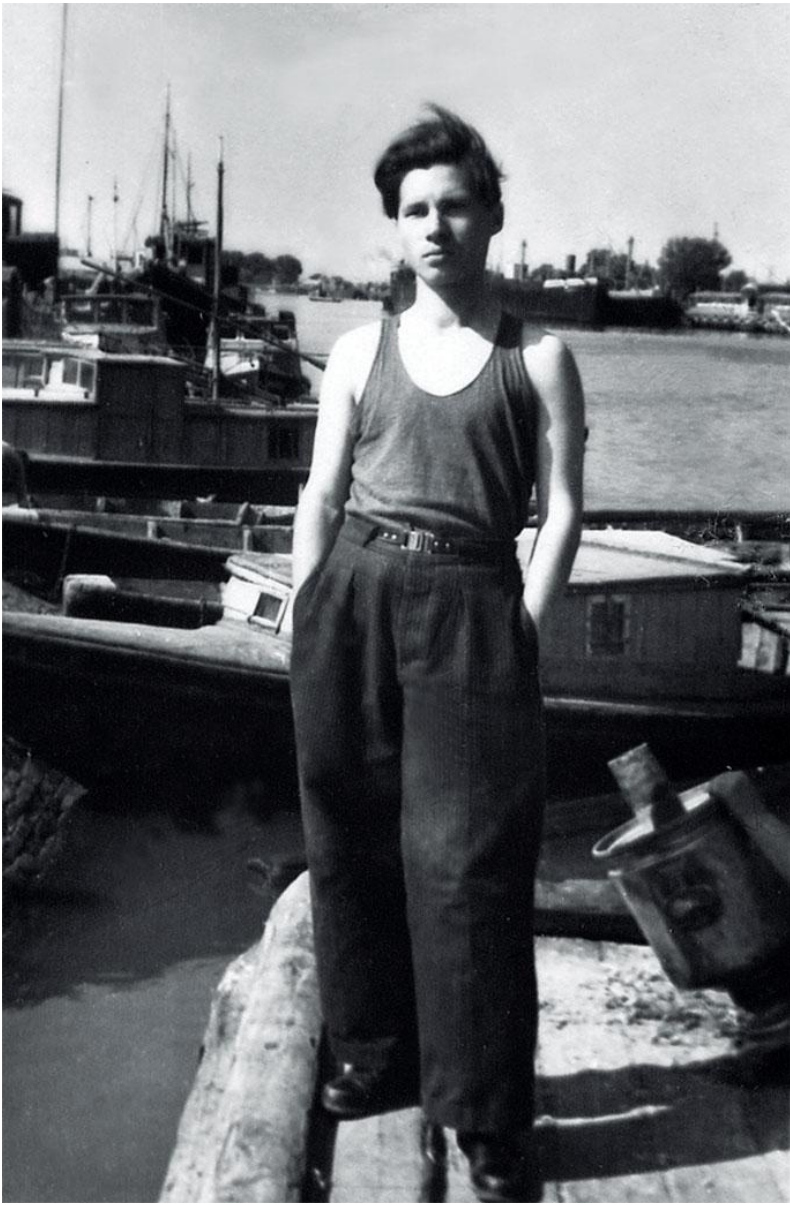




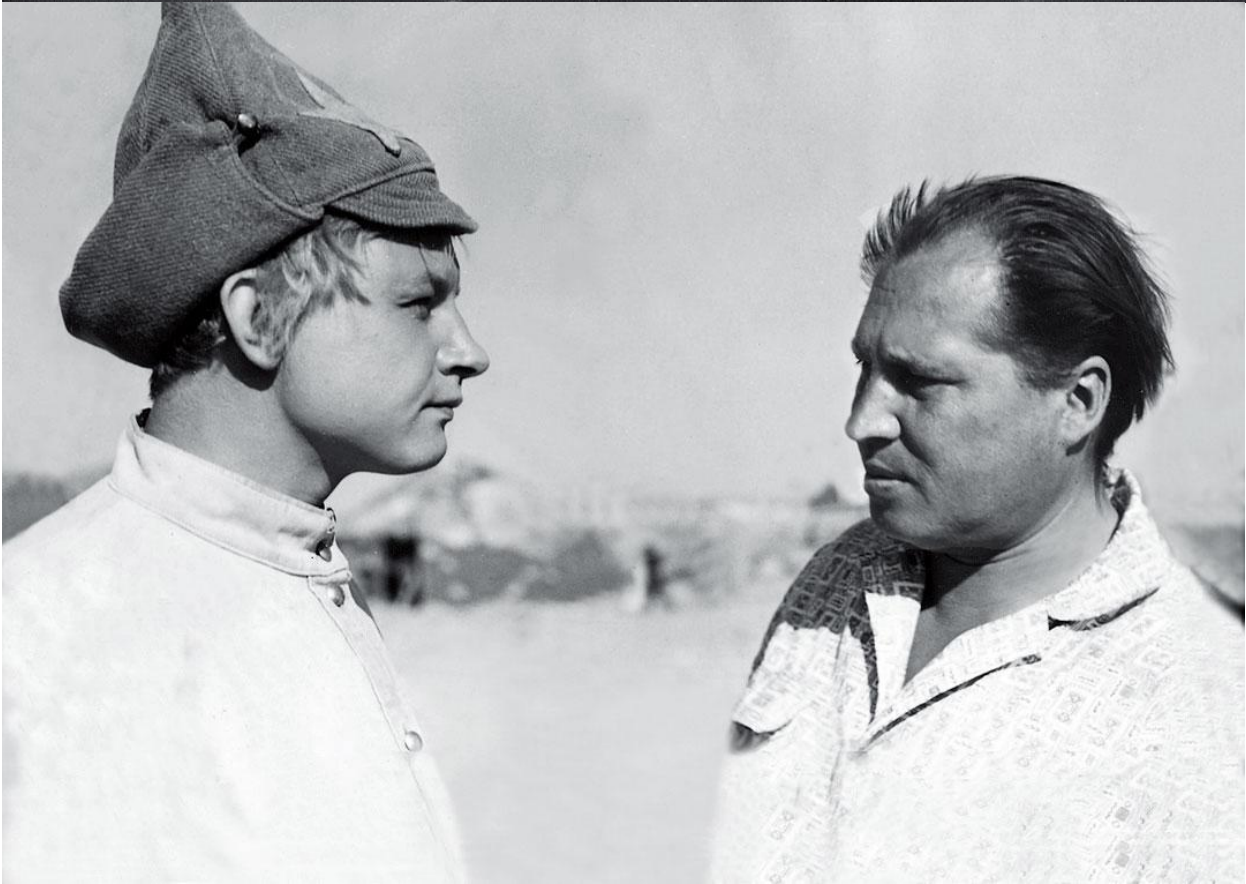






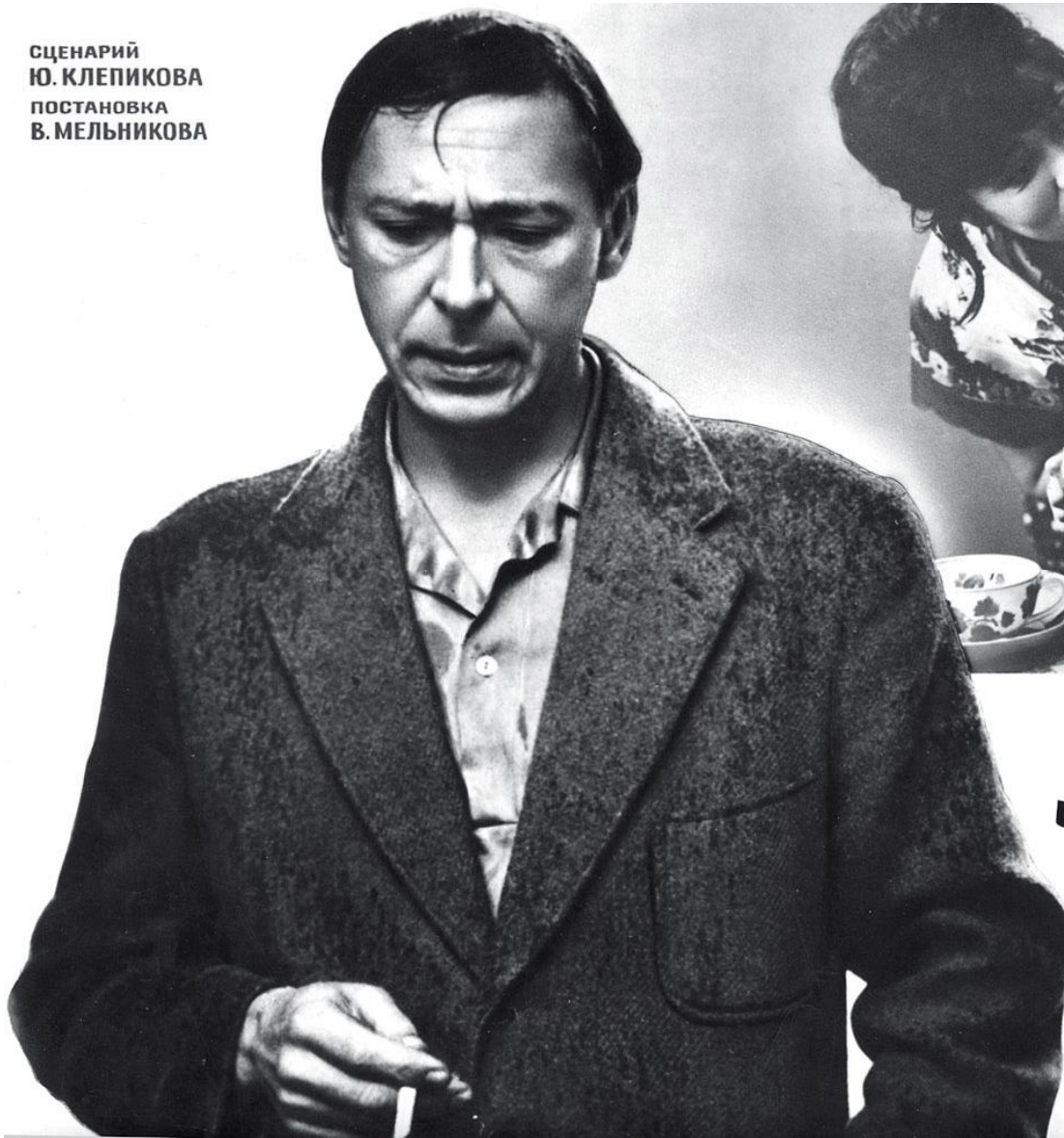








СЦЕНАРИЙ
Ю. КЛЕПИКОВА
ПОСТАНОВКА
В. МЕЛЬНИКОВА



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
**МАМА
ВЫШЛА
ЗАМУЖ**

ПРОИЗВОДСТВО
КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»





СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕИТОРА ЗБРУЕВА

ГЛАВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ: А. ДОЛЖИКИН, П. ВЕКСЛЕР

НАТАЛИИ ЧЕТВЕРКОВОЙ

ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВОЙ

ЕЛЕНА СОЛОВЕВ

ИРИНЫ КУБЕРСКОЙ

МАРИАНЫ ВЕРТИСКОЙ

НАТАЛИИ ВАРЬЕВ

СЕНЕА МОРОЗОВА

КИРИЛЛА
ИВАНОВИЧ
ИВАНОВИЧ

С. ИВАНОВИЧ

ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК

В. ИВАНОВИЧ

ПОСЛАНИЕ

С. ИВАНОВИЧ

ПРОИЗВОДСТВО КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»

*В.В. Мухоморов
в духе традиции
в духе традиции
Киев 1977
и много
1977*

Художник В.Остроумов. Редактор Н.Новосильцев. «Ленфильм», Москва, Гривасовская, 29. Под в пещ. ЛШ. 71г. Цена 10 ш. - 33 коп. Заказ 241. Тираж 99 000



























СЦЕНАРИЙ А. ЖИТИНСКОГО,
ПРИ УЧАСТИИ В. МЕЛЬНИКОВА
ПОСТАНОВКА
ВИТАЛИЯ МЕЛЬНИКОВА
ГЛАВНЫЙ ОПЕРАТОР К. РЫЖОВ
ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК
Б. МАНЕВИЧ

А. СМОКТУНОВСКАЯ,

Е. ЛЕОНОВ,

В. РОДИК.

С. САДЛЮЖНИКОВ, С. КРОУЧОВА, Э. ШАРКО, Г. ВОЛЧЕК, Ю. БОГАТЫРЕВ, Н. РУСЛАНОВА,

КИНОКОМЕДИЯ

В. БОРЧАРОВ,
М. КОЗЛАКОВ, Е. ГЛУШЕНКО,
Т. ПЛОТНИКОВА,

Б. БРОНДУКОВ,
Б. ЧУРАДZE, А. МЕЩЕРКОВА и др.

УНИКУМ

Литературный редактор: И. КИЗЮ
Редактор: И. БИШКО
Режиссер-постановщик: Виталий Мельников
План: 1000 09.04.84 Тираж: 100 000 Цена: 331 10 коп. - 50 экз.

ПРОИЗВОДСТВО
КИНОСТУДИИ
«ЛЕНФИЛЬМ»

























Сияла но
Луной
был полон сад...

Лежали сад наши у ног
в гостиной без огня...

*А жизни нет конца и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Твоя любовь, няте и плакаты над тобой.*
А.Фет

**Николай
Волков**

**Зинаида
Шарко**

**Лев
Дуров**

киностудия «СЕНТЕНА» кинокомпания «СЛОВО» презентация ЗИНАИДА ШАРКО ЛЕВ ДУРОВ НИКОЛАЙ ВОЛКОВ в фильме ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД... ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ
художник ВЛАДИМИР СВЕТОЗАРОВ композитор АНДРЕЙ БЕЗРОВ оператор АСИ ЗВЕРЕВА художник по костюмам НАРИСА КОПЫКОВА фотограф ВЛАДИМИР ЕГОРОВ
оператор ВИКТОР БАТАЕВ исполнительный продюсер БОРИС МОЛОЧНИК продюсер СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ сценарий ЮЛИЯ ДАМСКЕР режиссер-постановщик ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ

